



ГОЛДА МЕИР
МОЯ ЖИЗНЬ

I
110



ГОЛДА МЕИР МОЯ ЖИЗНЬ

Голда Меир

МОЯ ЖИЗНЬ

I



Голда Меир, министр иностранных дел Израиля, член Кнесета от партии Мапай. Сентябрь 1956 года.

ГОЛДА МЕИР

МОЯ ЖИЗНЬ

Автобиография

Книга I



Библиотека-Алия

1985

Printed in Israel

גולדה מאיר

חיי

Golda Meir
My Life

Перевела с иврита Руфь Зернова
Под общей редакцией Якова Цура

עיריית חיפה/מנהל ח.ת.ר.

אנף לתרבות היג'לה ואמנות, המח' לספריות
הספריה העירונית ע"ש ש. פזנור

מס'

70120/1

©

All rights reserved

כל הזכויות שמורות
לספריה-עליה

ת.ד. 7422, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

OCR Давид Титиевский, август 2021 г., Хайфа

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ИСТОРИЯ О НЕЗАБВЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ

"Вдохновенно... страстно... захватывающе... читается как авантюрный роман".

"Чикаго Трибьюн"

"Глубоко трогательное, полностью откровенное... повествование г-жи Меир очень личное и в то же время затрагивает общественные проблемы".

"Лос Анджелес Таймс"

"Г-жа Меир с глубокой искренностью рассказывает о себе как жене и матери, считая, что не была достаточно хороша в этих ролях, и о своей стране, которой посвятила себя в такой мере, в какой можно было посвятить себя собственной семье... ее народ может быть благодарен этой замечательной женщине, сочетание в которой силы и сострадания, мудрости и мужества так отчетливо отобразилось на этих страницах".

Обозрение Джона Баркхема

"Ради того, чтобы добиться мира, я готова ехать куда угодно, в любое время, встретиться с любым официальным руководителем любого арабского государства", — из выступления главы правительства Израиля, г-жи Голды Меир в Кнесете 26 мая 1970 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга I

Предисловие. Яков Цур	11
1. Детство	19
2. Политическое отрочество	37
3. Я выбираю Палестину	62
4. Начало новой жизни	86
5. Пионеры и проблемы	113
6. "Мы будем бороться против Гитлера"	146
7. Борьба против британцев	182
8. У нас есть свое государство	225

Моим сестрам Шейне и Кларе, нашим детям и детям наших детей.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга, опубликованная в последние годы жизни Голды Меир (1898–1978), не только верно отражает ее личность, но и точно передает ее индивидуальный стиль. Голда не писала книгу, а диктовала ее, причем, как обычно в разговоре, перескакивала с одной темы на другую, то пускаясь в воспоминания, то набрасывая образы запомнившихся ей людей — и все это вплета-лось в канву очередной главы. Все, кто работал с Голдой и близко знал ее, помнят, что она крайне редко собственноручно писала письма и никогда (за исключением официальных речей на Генеральной Ассамблее ООН или в Совете Безопасности) не читала речей "по бумажке". Когда Голда обращалась с трибуны к аудитории, перед ее глазами не было ни клочка бумаги. И несмотря на это — а, может быть, благодаря этому — она была одним из самых замечательных ораторов своего времени.

Голда Меир являлась одной из первых в мире женщин, достигших положения главы правительства. До нее лишь на Цейлоне и в Индии правительства возглавляли женщины — Сиримаво Бандаранаике и Индира Ганди. Но между ними и Голдой Меир было принципиальное различие. Сиримаво Бандаранаике и Индира Ганди, став лидерами своих стран, изо всех сил, доходя порой до жестокости, стремились удержать единоличную власть. Голда же считала себя представительницей своей партии — сионистской рабочей партии Израиля, к которой принадлежала с юности. Она никогда не требовала от народа верности себе лично, призывая лишь сохранять верность идеям, в которые верила сама. И тут Голда не признавала никаких компромиссов. Мир

для нее делился на черное и белое; любой, кто не принимал ее мировоззрения, был противником, идеологическим и личным.

В этой уверенности коренилась непримиримость Голды, характеризовавшая весь ее политический путь. Голда никогда не боролась за посты и почетные звания. Но раз взяв на себя ответственность за жизнь народа и страны, она фанатично оберегала свои prerogatives.

Голда не принадлежала к феминисткам. Она достигла своего высокого положения не потому, что была женщиной. На страницах этой книги Голда вспоминает поговорку, бытовавшую в ее времена: "Голда — единственный мужчина в правительстве", — говорили тогда. С характерным для нее сарказмом Голда замечает по этому поводу: "А если бы про одного из членов правительства сказали, что он — единственная женщина в его составе — как бы вы посмотрели на это?"

И вместе с тем Голда была женщиной в полном смысле этого слова. Она никогда не скрывала свою женственность, а напротив, гордилась ею. Она была преданной, любящей матерью и бабушкой. Нередко даже в разгар тяжелейших политических передышек Голда срывалась на день или полдня в кибуц Ревивим в южном Негеве, где жила ее дочь и внуки. Она любила готовить и не упускала случая заняться стряпней. Политическая "кухня Голды", которую столь часто склоняли ее политические противники, имея в виду место, где в узком кругу решаются важные политические дела, представляла собой самую доподлинную кухню, где Голда обыкновенно пила кофе, курила одну сигарету за другой, беседовала и советовалась с друзьями.

И по отношению к людям Голда зачастую вела себя типично по-женски. Ее оценка людей нередко основывалась на иррациональных ощущениях, на природной интуиции — и опять-таки, раз вынесши суждение о том или ином человеке, она меняла его с колоссальным трудом. Голда умела завоевывать сердца. Общавшиеся с нею люди быстро попадали под обаяние ее естественности и простоты, ее таланта ясно и понятно

излагать свои позиции. Журналисты любили встречаться с нею. Она никогда не пряталась за спасительную формулировку — "на этот вопрос ответа не последует". Если же Голда не хотела или не могла ответить на определенный вопрос, она всегда находила способ изменить направление беседы или рассказывала анекдот, обрывавший нежелательный для нее разговор.

Мне вспоминаются два случая, когда Голде, исполнявшей тогда обязанности министра иностранных дел, удалось привлечь на свою сторону политических деятелей, отнюдь не являвшихся сторонниками сионизма и государства Израиль.

В шестидесятые годы, в продолжение одной из ее поездок в Рим, Голде нанес визит ветеран итальянского социалистического движения Пьетро Ненни. Он в тот период сблизился с коммунистической партией и относился к сионизму весьма прохладно. Я служил переводчиком во время их беседы — Пьетро Ненни говорил по-французски, а Голда не знала других иностранных языков, кроме английского. В начале беседы Ненни держался холодно и сдержанно. А по прошествии двух часов, выходя из отеля, где остановилась Голда, Ненни уже был убежденным другом Израиля — таким он и остался до конца своих дней.

Другой аналогичный случай произошел с французским министром иностранных дел при президенте де Голле — Кувом де Мюрвилем. Голда в своей книге определяет его как самого истого "англичанина" из всех политических деятелей Франции. Это был холодный, умный и закрытый человек, сделавший карьеру главным образом в арабских странах, особенно в Египте. Как Голде удалось "разморозить" его, я никогда не мог понять. Но факт остается фактом — встречаясь с Голдой, он раз от разу проявлял все большее понимание ее позиций и в конце концов между ними установились почти дружеские отношения.

* * *

В душе Голды жили воспоминания о погромах, виденных ею в детстве на юге России, о нищенском су-

ществовании, которое влачила ее семья после эмиграции в Америку в Милуоки. Отправляясь на встречу с папой римским, Голда испытывала гордость от того, что она, дочь простого еврейского плотника, представляет еврейский народ перед главой могущественной католической церкви. Голда всегда гордилась своей принадлежностью к еврейству, и чувство еврейской гордости оказало заметное влияние на ее политический курс, когда она возглавляла правительство Израиля. Ни за что на свете не соглашалась она на какие бы то ни было компромиссы, способные нанести урон чести государства. Пожалуй, именно этим можно объяснить ее недостаточную гибкость, недоверие, проявленное ею по отношению к намекам на возможность мирного решения египетско-израильского конфликта, которые щедро разбрасывал Ануар Садат в первые годы своего правления после смерти откровенно враждебного Израилю честолюбивого и популярного в народе Гамалы Абдель Насера. Теми же мотивами было продиктовано и отношение Голды к специальному представителю Организации Объединенных Наций на Ближнем Востоке послу Яррингу, который считал для себя позволительным пренебрегать честью Израиля ради того, чтобы завоевать расположение египтян. Все подобные попытки Голда решительно пресекала. По этой же причине Голда стала резкой противницей австрийского канцлера Бруно Крайского, являвшегося ее коллегой по Социалистическому Интернационалу. Крайский унаследовал антиссионистские взгляды от своих предшественников по руководству социал-демократической партией Австрии, подавляющее большинство которых также было евреями, отрицавших сионизм и еврейский национализм.

Чрезвычайно характерно для Голды ее отношение к африканцам. Произошедшее при Голде сближение Израиля с черной Африкой не было только политическим шагом. Голда симпатизировала африканским неграм, считая, что они, как жертвы империалистической эксплуатации и расовой дискриминации, яв-

ляются для евреев братьями по несчастью: ведь евреи — единственный белый народ, подвергавшийся расовой дискриминации. В 1957 году, будучи израильским послом в Париже, я сопровождал министра иностранных дел государства Израиль Голду Меир в ее первой поездке по французской Западной Африке. Некоторые из тогдашних африканских лидеров, в особенности Уфуэ-Буаньи из Берега Слоновой Кости, остались в тесных дружественных отношениях с Голдой до конца ее жизни. Правда, частые государственные перевороты в молодых африканских государствах причинили Голде немало разочарований.

В тот период имя Голды стало легендарным на африканском континенте. Мне привелось однажды ехать в сопровождении одного лишь шофера-африканца от столицы Мали Бамако до столицы Гвинеи Конакри. По дороге мы несколько раз оказывались на примитивных паромных переправах через реку Нигер. Африканцы, встречавшиеся нам на этих переправах, спрашивали моего шофера, кто я такой и откуда. Я не понимал разговора, который велся на местном наречии, но стоило моему спутнику сказать, что я из Израиля, как тут же раздавались восклицания: "А, Голда Меир!" Устный африканский телеграф быстро передавал сообщения.

В бытность свою министром иностранных дел Голда успела создать мощную систему помощи африканским странам, в первую очередь, в деле образования и земледелия. Частично эта система функционирует и по сей день, несмотря на разрыв дипломатических отношений, но прежде она действовала с большим размахом. Африканцы видели в израильянах не высокомерных белых специалистов, а друзей, приехавших помогать им. Иерусалимские старожилы помнят вечера песни и танца, которые устраивала у себя дома Голда, когда приезжали делегации из стран черной Африки; там африканцы и израильяне плясали вместе, да и сама Голда вступала в хоровод.

В отношении Голды к жителям черной Африки

было немало наивности. В примитивном образе жизни африканцев Голда винила лишь колониальные державы, забывая о силе местных предрассудков, которые предстали во всем безобразии после того, как большинство народов Африки добились независимости. Голда ждала от африканских лидеров самоотверженности, предельной самоотдачи, преданности своему делу, а качества эти были большой редкостью в узком кругу образованных африканцев, в руки которых попала власть в молодых государствах. Трудно было убедить Голду в том, что там иные условия и иные люди, что африканцы не скоро станут походить на пионеров-халуцим, пожертвовавших личной жизнью ради строительства Эрец.

Во время первой встречи Голды с президентом Берега Слоновой Кости Уфуэ-Буаньи африканский государственный деятель сказал ей: "Я принадлежу к племени, которым по традиции управляют женщины. Этот тип общества вы, белые, называете матриархатом. Все мое имущество записано на имя моих теток. Даже когда я был министром французского правительства, я время от времени приезжал в свою деревню, чтобы отчитаться перед двумя старейшими женщинами племени. Поэтому я счастлив, что удостоился чести принимать в моей стране женщину, занимающую столь высокий политический пост".

* * *

Последние годы Голды Меир, когда она достигла вершины своей карьеры и стала главой правительства, были самыми трудными годами ее жизни. Дело тут не только в ее возрасте — ей было уже за семьдесят — и не в состоянии ее здоровья. Наоборот, казалось подчас, что колоссальная ответственность работы излечила ее. Но — и страницы этой книги свидетельствуют тому — Голда тяжело переживала трещину, пролегшую между нею и Бен-Гурионом. Всю жизнь она преклонялась перед ним, считала его великим вождем еврейского народа. Даже если она не соглашалась с ним, довольно было одной откровенной беседы, чтобы положить конец

всем разногласиям. Но когда Бен-Гурион, вследствие "дела Лавона", пошел на раскол партии Авода, Голда резко выступила против него и на долгие годы между ними прервалась всякая связь. Только в глубокой старости они помирились, и престарелый Бен-Гурион приехал в кибуц Ревивим на празднование пятидесятилетия приезда Голды в Эрец.

Другой трагедией, омрачившей последние годы Голды, была Война Судного дня. Как известно, война началась с провала израильской военной разведки, не сумевшей распознать признаков готовящегося египетско-сирийского наступления. Война завершилась блестящей военной победой Израиля; к концу войны Армия Обороны Израиля находилась на расстоянии 35 км от Дамаска и 101 км от Каира. Но война эта стоила больших человеческих жертв, и Голда — как политический деятель, как мать и женщина — не могла простить себе крови павших на поле боя.

Голда являлась главой правительства, министром обороны, отвечавшим за армию, был Моше Даян. В правительство Голды входили, как она любила повторять, два бывших начальника Генштаба, но она винила себя за то, что не настояла на своем, не подготовилась к войне. Во время войны Голда проявила твердость, взяв на себя ответственность за ход военных действий и поддерживая на исключительно высоком уровне боевой дух народа. Но едва война миновала, она снова начала терзать себя — как она могла не знать, не почувствовать того, что должно было свершиться. Когда Даян подал ей заявление об отставке, Голда отказалась принять его, утверждая, что ответственность за все лежит на ней, так как она являлась главой правительства. В конце концов Голда сама ушла в отставку и снова зажила обычной жизнью — старая больная женщина. Но по единодушному мнению товарищей и противников — одна из самых крупных личностей, которые выдвинула история независимого еврейского государства.

Яков Цур

1. ДЕТСТВО

Вероятно, то немногое, что я помню о своем раннем детстве в России — первые восемь лет — и есть мое начало, то, что теперь называют "формирующими годами". Но если это так, то жаль, что радостных, или хотя бы просто приятных воспоминаний об этом времени у меня очень мало. Эпизоды, которые я помнила все последующие семьдесят лет, связаны большей частью с мучительной нуждой, в которой жила наша семья; я помню бедность, холод, голод и страх. Со страхом связано одно из самых отчетливых моих воспоминаний. Вероятно, мне было тогда года три с половиной-четыре. Мы жили тогда в Киеве, в маленьком доме, на первом этаже. Ясно помню разговор о погроме, который вот-вот должен обрушиться на нас. Конечно, я тогда не знала, что такое погром, но мне уже было известно, что это как-то связано с тем, что мы евреи, и с тем, что толпа подонков с ножами и палками ходит по городу и кричит "Христа распяли!". Они ищут евреев и сделают что-то ужасное со мной и с моей семьей.

Потом я стою на лестнице, ведущей на второй этаж, где живет другая еврейская семья; мы с их дочкой держимся за руки и смотрим, как наши папы стараются забаррикадировать досками входную дверь. Погром не произошло, но я до сих пор помню, как сильно я была напугана и как сердилась, что отец, для того, чтобы меня защитить, может только сколотить несколько досок и что мы все должны покорно ожидать прихода хулиганов. Но больше всего помню, что все это происходит со мной потому, что я еврейка и оттого не такая, как другие дети во дворе. Много раз в жизни мне при-

шлось испытать те ощущения: страх, чувство, что все рушится, что я не такая, как другие. И — инстинктивная глубокая уверенность: если хочешь выжить, ты должен что-то предпринять сам.

И еще я помню, слишком даже хорошо, до чего мы были бедны. Никогда у нас ничего не было вволю — ни еды, ни теплой одежды, ни дров. Я всегда немножко мерзла и всегда у меня в животе было пустовато. В моей памяти ничуть не потускнела одна картина: я сижу на кухне и плачу, глядя, как мама скармливает моей сестре Ципке несколько ложек каши — моей каши, принадлежащей мне по праву! Каша была для нас настоящей роскошью в те дни, и мне обидно было делиться ею даже с младенцем. Спустя годы я узнала, что это значит, когда голодают собственные дети, и каково матери решать, который из детей должен получить больше; но тогда, на кухне в Киеве, я знала только, что жизнь тяжела и что справедливости на свете не существует. Теперь я рада, что никто не рассказал мне, как часто моя старшая сестра Шейна падала в обморок от голода в своей школе.

Мои родители были в Киеве приезжими. Они встретились и обвенчались в Пинске, где жила семья моей матери, и в Пинск мы все через несколько лет вернулись — это было в 1903 году, когда мне было пять лет. Мама очень гордилась своим романом с нашим отцом, часто нам о нем рассказывала, и мне никогда не надоедало слушать, хотя я его знала наизусть. Мои родители поженились не по обычаю, а без всякой выгоды для "шадхена" — традиционного свата.

Не знаю, как получилось, что мой отец, родившийся на Украине, должен был проходить призыв в Пинске, но именно там мама однажды увидела его на улице. Он был высоким и красивым молодым человеком; она влюбилась в него сразу же и даже отважилась рассказать о нем родителям. Послали за сватом — но роль его, как мы сказали бы теперь, была чисто техническая. Для нее — и для нас тоже — было гораздо важнее, что ей удалось убедить родителей, что достаточно любви с

первого взгляда; между тем у жениха не было отца, не было денег, да и семья его не принадлежала к числу особо уважаемых. Одно говорило в его пользу: он не был невеждой. Некоторое время, когда ему было лет тринадцать-четырнадцать, он учился в иешиве и знал Тору. Мой дед учел это обстоятельство; но, полагаю, он вероятно учел и то, что моя мать, как уже тогда было известно, никогда не меняла своих решений и по мало-мальски важным вопросам.

Мои родители были очень непохожи друг на друга. Отец, Моше Ицхак Мабович, стройный, с тонкими чертами лица, был по природе оптимистом и во что бы то ни стало хотел верить людям — пока не будет доказано, что этого делать нельзя. Вот почему в житейском смысле его можно было считать неудачником. В общем, он был скорее простодушным человеком, из тех, кто мог бы добиться большего, если бы обстоятельства хоть когда-нибудь сложились чуть более благоприятно. Блюма, моя медноволосая мать, была хорошенькая, энергичная, умная, далеко не такая простодушная, и куда более предприимчивая, чем мой отец; но, как и он, она была прирожденная оптимистка, к тому же весьма общительная. Несмотря ни на что, по вечерам в пятницу у нас дома было полно народу, как правило, родственников: двоюродных и троюродных братьев и сестер, теток, дядей. Никто из них не остался в живых после Катастрофы, но они живы в моей памяти и я вижу, как все они сидят вокруг кухонного стола, пьют чай из стаканов, и, если это суббота или праздник — поют, целыми часами поют, и нежные голоса моих родителей выделяются на общем фоне.

Наша семья не отличалась особой религиозностью. Конечно, родители соблюдали еврейский образ жизни: и кошер, и все еврейские праздники. Но религия сама по себе — в той мере, в которой она отделяется от традиции, — играла в нашей жизни очень небольшую роль. Не помню, чтобы я ребенком много думала о Боге или молилась личному божеству, хотя, когда я стала старше — уже в Америке — я иногда спорила с

мамой о религии. Помню, однажды она захотела доказать мне, что Бог существует. Она сказала: "Почему, например, идет дождь или снег?" Я ответила ей то, чему меня научили в школе, и она сказала: "Ну, Голделе, раз ты такая умная, сделай, чтобы пошел дождь". Поскольку никто в те дни не слыхивал о возможности сеять тучи, я не нашла, что ответить. А с положением, что евреи — избранный народ, я никогда полностью не соглашалась. Мне казалось, да и сейчас кажется, правильное считать, что не Бог избрал евреев, но евреи были первым народом, избравшим Бога, первым народом в истории, совершившим нечто воистину революционное, и этот выбор и сделал еврейский народ единственным в своем роде.

Как бы то ни было, в этом — как и во всем другом — мы жили, как все евреи городов и местечек Восточной Европы. По воскресеньям и в дни поста ходили в "шул" (синагогу), благословляли субботу и держали два календаря: один русский, другой — относящийся к далекой стране, из которой мы были изгнаны 2000 лет назад и чьи смены времен года и древние обычаи мы все еще отмечали в Киеве и в Пинске.

Родители переехали в Киев, когда Шейна была еще совсем маленькая — а она старше меня на девять лет. Отец хотел улучшить свое материальное положение, и хотя Киев не входил в черту оседлости, а за ее пределами евреям, как правило, жить воспрещалось, он все же был ремесленником, и если бы ему удалось на проверке доказать, что он квалифицированный плотник, он получил бы драгоценное разрешение — перебраться в Киев. Он сделал прекрасный шахматный столик, прошел испытание, и мы набили наши мешки и покинули Пинск, полные надежд. В Киеве отец нашел казенную работу — он делал мебель для школьных библиотек — и даже получил аванс. На эти деньги, и еще на те, которые они с мамой взяли в долг, он построил маленькую столярную мастерскую. Казалось, все пойдет хорошо. Но под конец работы не стало. Может, это было потому, как он говорил, что он был еврей, а Киев сла-

вился антисемитизмом. Как бы то ни было, очень скоро не стало ни работы, ни денег, а были только долги, которые каким-то образом надо было заплатить. И эта ситуация повторялась снова и снова на всем протяжении моих детских лет.

Отец стал искать хоть какой-нибудь работы; он пропадал целыми днями и вечерами, а когда возвращался домой после хождения по темным, ледяным зимним улицам, в доме редко бывали продукты, чтобы сварить ему горячую еду. Надо было обходиться хлебом с селедкой.

Но у мамы были другие горести. Заболели дети: четыре мальчика и одна девочка. Двое умерли, не достигнув года, еще двое — через месяц. Мама рыдала над каждым, но, как большинство еврейских матерей ее поколения, она смирялась перед Божьей волей, и маленькие могилы не толкали ее на размышления о том, как надо растить детей. Но после смерти четвертого, богатая семья, жившая поблизости, предложила ей пойти в кормилицы к их новорожденному. Они поставили только одно условие: чтобы мои родители с Шейной переехали из своей жалкой и сырой каморки в более просторную и светлую комнату; опытной няньке велено было научить мою молоденькую маму основам ухода за ребенком. Благодаря этому "молочному брату" жизнь Шейны улучшилась, и я родилась в более чистой и здоровой обстановке. Наши благодетели следили за тем, чтобы маме хватало еды, и скоро у моих родителей было трое детей — Шейна, Ципке и я.

В 1903 году — мне было лет пять — мы вернулись в Пинск. У отца, который никогда не унывал, появилась новая мечта. Ничего, что ему не повезло в Киеве — он поедет в Америку. "А голдене медине" — "золотая страна" — называли ее евреи! Там он разбогатеет. Мама, Шейна, Ципке и я будем ждать его в Пинске. И он снова собрал свое убогое имущество и отправился в неведомую часть света, а мы переехали в дом бабушки и дедушки.

Не знаю, имел ли кто из них на меня влияние, хотя

в Пинске я долго проживала у маминых родителей. Конечно, мне трудно поверить, что отец отца сыграл хоть какую-то роль в моей жизни, поскольку он умер прежде, чем мои родители встретились. Но все-таки он стал одним из персонажей, населивших мое детство, и теперь, обращаясь к прошлому, я чувствую, что он имеет право на место в этой истории. Он был среди тех тысяч еврейских мальчиков в России, которых "похитили" у их семей и заставили 25 лет служить в царской армии. Плохо одетые, плохо накормленные, запуганные, эти мальчики страдали еще и от того, что их вынуждали креститься. Моего деда Мабовича угнали в армию, когда ему было тринадцать лет, — а он принадлежал к очень религиозной семье и приучен был соблюдать все тонкости еврейских обрядов. Он прослужил в русской армии тринадцать лет и ни разу, не смотря на угрозы, насмешки, а зачастую и наказания, не прикоснулся к трефному. Все годы он питался лишь хлебом и сырыми овощами. Его хотели заставить креститься; за неповиновение его наказывали — целыми часами он простаивал на коленях на каменном полу — но он не покорился. И все-таки когда он вернулся домой, его мучил страх, что по незнанию он мог нарушить Закон. Искушая возможный грех, он годами спал на скамейке в неотопливаемой синагоге, и подушкой ему служил камень. Не удивительно, что он умер молодым.

Дед Мабович был не единственным моим родственником, отличавшимся упорством, или, чтобы воспользоваться более ходовым словом, которым меня обычно характеризуют те, кому я не слишком нравлюсь — нетерпимостью. Была еще прабабка с материнской стороны, которой я не знала и чье имя ношу. Она была известна железной волей и любовью командовать. Нам говорили, что никто в семье не смел ничего предпринять, не посоветовавшись с ней. В действительности именно бабка Голда несет ответственность за то, что моим родителям разрешили пожениться. Когда мой отец пришел к моему деду Найдичу просить руки мо-

ей матери, дед только скорбно качал головой и вздыхал при мысли, что его милая Блюма выйдет замуж за простого плотника, будь он хоть красnodеревец. Но тут на помощь явилась бабка. "Самое главное, — сказала она, — чтобы это был Человек ("а менч")! Если он Человек, то сегодня он плотник, а завтра может стать коммерсантом..." Мой отец остался плотником до конца своих дней, но бабка Голда постановила — и дед дал свое благословение. Бабка Голда дожила до девяноста четырех лет и особенно меня поразила рассказ, что она клала в чай соль вместо сахара, ибо, говорила она, "хочу взять с собой на тот свет вкус галута (диаспоры)". И вот что интересно: по словам моих родителей, я поразительно на нее похожа.

Конечно, теперь все они умерли: и они, и их дети, и дети их детей, и их образ жизни. Нет и восточно-европейских местечек, погибших в огне пожаров; память о них сохраняется лишь в еврейской литературе, которую они породили и через которую себя выразили. Это местечко, возрожденное в романах и фильмах, известное теперь в местах, о которых и не слыхивали мои деды, веселое, добродушное, очаровательное местечко, на чьих крышах скрипачи вечно играют сентиментальную музыку, не имеет ничего общего с тем, что помню я: с нищими, несчастными маленькими общинами, где евреи еле-еле перебивались, поддерживая себя надеждами на то, что когда-нибудь станет лучше, и веруя, что в их нищете есть какой-то смысл. В большинстве своем это были богобоязненные, хорошие люди, но жизнь их была в сущности трагична, как и жизнь моего деда Мабовича. Я лично никогда не чувствовала никакой тоски по прошлому, несмотря на то, что оно окрасило всю мою жизнь и наложило глубокий отпечаток на мои убеждения. Именно оттуда пошло мое убеждение, что мужчины, женщины и дети, кто бы они ни были и где бы ни жили, а в частности и в особенности — евреи, должны жить производительно и свободно, а не униженно. Я нередко рассказывала своим детям, а потом и внукам, о жизни в местечке, какой я ее

смутно помню, и нет для меня большего счастья, чем сознавать, что для них это только урок истории. Очень важный урок, ибо речь идет об очень важной части их наследия, но ни с чем там они не могут себя отождествить, ибо с самого начала их жизнь была совершенно иной.

В общем, отец провел в Америке три одиноких и трудных года. С великим трудом он наскреб денег на поездку туда; как многие тысячи русских евреев, хлынувших в "золотую страну" на рубеже столетия, он верил, что Америка — единственное место, где он сможет разбогатеть, чтобы вернуться в Россию и начать там новую жизнь. Конечно, все произошло не так — и с ним, и с другими, — но мысль, что он к нам вернется, помогла нам прожить эти три года.

Киев, где я родилась, скрылся от меня в тумане времени, но образ Пинска я сохранила — возможно потому, что я столько слышала и читала о нем. Многие из тех, кого я встретила в последующей жизни, были родом из Пинска и близлежащих городков, в том числе семьи Хаима Вейцмана и Моше Шарета.

Много лет спустя я два раза чуть не попала в Пинск. В 1939 году, когда я находилась в Польше с поручением от рабочего движения, я заболела в тот самый день, когда должна была туда поехать, и поездка была отменена. Летом 1948 года, когда я была назначена послом Израиля в Советском Союзе, меня охватило внезапное желание поехать в Пинск и увидеть своими глазами, не остался ли в живых кто-нибудь из моих родственников после нацистов, но советское правительство не дало мне разрешения. Я надеялась, что со временем мне его все-таки дадут; но в начале 1949 года мне пришлось вернуться в Израиль, и поездка в Пинск была отложена на неопределенное время. Может, оно было и к лучшему; впоследствии я узнала, что из всей нашей огромной семьи в живых остался только один дальний родственник.

Пинск, который я помню, был полон евреев. Это был один из самых прославленных центров русско-ев-

рейской жизни, и в какое-то время евреи даже составляли там большинство. Он стоял на двух больших реках — Пина и Припять (притоки Днепра) — и эти-то реки и давали большинству пинских евреев средства к существованию. Они ловили рыбу, разгружали грузовые суда, работали носильщиками, а зимой кололи лед на огромные ледяные торосы и таскали этот лед в погреба богачей, берегавших его на лето. Было время, когда мой дед, который по сравнению с моими родителями был зажиточным человеком, имел такой погреб; в жару соседи ставили туда свои субботние и праздничные блюда, и оттуда же брали лед для больных. Богатые евреи вели торговлю лесом и солью; в Пинске было даже несколько фабрик — гвоздильная, фанерная и спичечная, — которыми владели евреи, дававшие, разумеется, работу десяткам еврейских рабочих.

Но больше всего я помню "Пинскер блотте", как мы их называли — болота, казавшиеся мне тогда океанами грязи, которых нас научили бояться как чумы. Для меня они навеки связаны с моим всегдашним ужасом перед казаками. Как-то зимним вечером я играла с детьми на краю запретного болота, как вдруг, откуда ни возьмись — а может, и прямо из самого болота — выскочили казаки верхом и понеслись дальше, перескакивая через наши скорчившиеся дрожащие тела. "Ну, — сказала мама, которая сама дрожала и плакала, слушая меня, — ну, что я тебе говорила?"

Но Пинск был для меня страшен не только казаками и черными бездонными болотами. Помню ряд высоких зданий на улице, ведущей к реке, а напротив них, на холме, — монастырь. Целыми днями перед монастырем сидели и лежали толпы калек, с всклокоченными волосами, с вытаращенными глазами; они громко молились и просили подаяния. Я старалась там не ходить, но если случалось мне проходить мимо, я бежала бегом, зажмурив глаза. Когда мама хотела меня понастоящему припугнуть, достаточно было заикнуться о тех нищих, и я тут же переставала капризничать.

Но не все же было так страшно! Я была ребенком, и, как все дети, и играла, и пела, и сказки придумывала для маленькой сестры. С помощью Шейны я научилась читать и писать и даже немного арифметике, хотя мне и не пришлось пойти в пинскую школу. "Про тебя все говорили — золотое дитя! — вспоминала мама. — Вечно чем-нибудь занята". Думаю, моим главным занятием в Пинске было знакомство с жизнью, опять-таки главным образом через Шейну.

Шейна, которой исполнилось четырнадцать лет, когда отец уехал в Америку, была замечательная девушка, умная и глубоко чувствующая. Ее влияние на меня было и всегда оставалось очень сильным — может быть, самым сильным, если не считать моего будущего мужа. Она и вообще-то была необычной личностью; для меня же всегда и везде она была образцом, другом и наставником. И позже, когда мы стали взрослыми, а потом старыми женщинами, бабушками, ее одобрение, ее похвала — нечасто удавалось мне это заслужить — имели для меня первостепенное значение. В сущности, Шейна — это часть моей истории. Она умерла в 1972 году, но я думаю о ней постоянно и ее дети и внуки мне так же дороги, как мои собственные.

Несмотря на то, что мы в Пинске были ужасно бедны и маме, с помощью деда, еле удавалось нас кое-как тащить, Шейна отказалась пойти работать. Возвращаться в Пинск ей было очень тяжело. В Киеве она посещала прекрасную школу; теперь ей хотелось учиться, приобретать знания, образование, и не только ради того, чтобы ее собственная жизнь стала лучше и полнее, но и для того, чтобы она смогла изменить и улучшить мир. В четырнадцать лет это была революционерка, серьезная и преданная участница сионистского социалистического движения — то есть в глазах полиции вдвойне опасная и подлежащая наказанию. Она и ее друзья были не только "заговорщиками", стремившимися свергнуть всемогущего царя, но они прямо объявляли, что их мечта — создать еврейское социалистическое государство в Палестине. В России начала 20-го

века такие взгляды считались подрывной деятельностью и за них арестовывали даже четырнадцати-пятнадцатилетних школьников. До сих пор помню крики молодых людей — девушек и юношей, — которых избивали в полицейском участке, рядом с которым мы жили.

Моя мать тоже слышала эти крики и ежедневно умоляла Шейну не иметь ничего общего с этим движением: она ведь подвергала опасности не только себя и нас, но даже отца в Америке! Но Шейна была неумолима. Мало того, что она желала перемен: она еще хотела участвовать в их осуществлении. По ночам мать не спала — ждала, когда, наконец, Шейна вернется домой с какой-то таинственной "сходки"; я лежала молча, стараясь понять все это — преданность Шейны делу, в которое она так сильно верила; материнскую отчаянную тревогу; необъяснимое — для меня — отсутствие отца — и все это на фоне топота казацких коней, то и дело раздававшегося на улице.

По субботам, когда мама ходила в синагогу, Шейна устраивала сходки у нас дома. Даже когда мама об этом узнала и стала упрашивать Шейну не рисковать всеми нами, ей ничего не оставалось, кроме как ходить по нашей улице взад и вперед, когда она возвращалась из синагоги домой. По крайней мере так она была на страже, и, если бы показался полицейский, могла предупредить молодых конспираторов. Но бедную маму больше всего пугало не то, что в любую минуту может налететь полиция и арестовать Шейну. Все эти месяцы ее сердце терзал страх (в те дни очень распространенный в России), что кто-нибудь из друзей Шейны окажется провокатором.

Конечно, я была слишком мала, чтобы понимать, что означают все эти споры, слезы и хлопанья дверью. Но в эти субботние утренние часы я забивалась на печку, встроенную в стену, и сидела там часами, слушая Шейну и ее друзей, стараясь понять, что их так волнует и почему из-за этого плачет мама. Иногда, делая вид, что я с увлечением рисую или копирую странные буквы из сидура (еврейский молитвенник) — это была

одна из немногих книг в нашем доме, — я вслушивалась, стараясь понять, что именно Шейна с таким жаром объясняет маме. Но я только и поняла, что она участвует в какой-то борьбе, которая касается не только русских, но и, в особенности, евреев.

Многое уже написано — и конечно еще больше будет написано — о сионистском движении. Теперь большинство людей имеет представление, что означает самое слово "сионизм", а также, что оно как-то связано с возвращением еврейского народа в страну их отцов — в землю Израиля, как она называется на иврите. Но, вероятно, и сегодня не все понимают, что это замечательное движение возникло спонтанно и почти одновременно в разных частях Европы в конце 19-го века. Словно драма, поставленная на разных сценах, на разных языках, по-разному, но везде разрабатывавшая одну и ту же тему: так называемый "еврейский вопрос". "Еврейский вопрос" в действительности был, конечно, "христианским вопросом" и возник в результате того, что у евреев не было своего дома; он не будет и не может быть разрешен до тех пор, пока у евреев не будет собственной страны. Очевидно, этой страной мог быть только Сион, страна, откуда евреев изгнали две тысячи лет тому назад, но которая осталась духовным центром еврейства на протяжении веков и которая в те дни, когда я жила в Пинске, и до конца Первой мировой войны, была запущенной и брошенной провинцией Османской империи под названием "Палестина".

Первые евреи, осуществившие современное возвращение в Сион, прибыли туда уже в 1878 году. Они основали первое поселение еврейских земледельцев и назвали его Петах-Тиква (Врата надежды). К 1882 году маленькие группы сионистов из России, называвшие себя "Ховевей Цион" (Возлюбленные Сиона) прибыли в страну, с решением вытребовать себе землю, чтобы возделывать ее и защищать. Но в 1882 году Теодор Герцль, будущий основатель Всемирной сионистской организации и отец государства Израиль, еще ничего

не знал ни о том, что делают с евреями в Восточной Европе, ни о существовании Ховевей Цион. Только в 1894 году, освещая в прессе дело Дрейфуса, этот утонченный и удачливый корреспондент видной венской газеты "Нойе Фрайе Прессе" заинтересовался судьбой евреев. Потрясенный несправедливостью к офицеру-еврею и открытым антисемитизмом французской армии, Герцль тоже уверовал, что для еврейского вопроса существует только одно настоящее решение. Его дальнейшие достижения и ошибки — вся поразительная история о том, как он пытался создать еврейское государство — изучается теперь всеми израильскими школьниками, и ее следовало бы изучить тем, кто хочет понять, что же такое сионизм.

Мама и Шейна знали о Герцле, но я впервые услышала его имя, когда моя тетка (жившая с Вейцманами в одном доме и часто приносившая оттуда важные новости, как дурные, так и хорошие) однажды прибежала с глазами полными слез, и сказала мне, что произошло невообразимое: Герцль умер. Никогда не забуду, какое молчание наступило вслед за ее сообщением. А Шейна — что типично для нее — решила в знак траура по Герцлю носить только черное; так она и носила траур до тех пор, пока мы не приехали в Милуоки, через долгих два года.

Тоска евреев по собственной стране не была результатом погромов (идея заселения Палестины евреями возникла у евреев и даже у некоторых неевреев задолго до того, как слово "погром" вошло в словарь европейского еврейства); однако русские погромы времен моего детства придали идее сионистов ускорение, особенно когда стало ясно, что русское правительство использует евреев как козлов отпущения в своей борьбе с революционерами.

Большинство еврейской революционной молодежи в Пинске, объединенной огромной тягой к образованию, в котором они видели орудие освобождения угнетенных масс, и решимостью покончить с царским режимом, по этому вопросу разделилось на две

основные группы. С одной стороны были члены Бунда (Союза еврейских рабочих), считавшие, что положение евреев в России и в других странах переменится, когда восторжествует социализм. Как только изменится экономическая и социальная структура еврейства — говорили бундовцы — исчезнет и антисемитизм. В этом лучшем, просветленном, социалистическом мире евреи смогут, если того пожелают, сохранять свою культуру: продолжать говорить на идиш, соблюдать традиции и обычаи, есть что захотят. Но не будет причины цепляться за отжившую идею еврейской национальности.

Поалей Цион — сионисты-социалисты, к которым принадлежала Шейна, смотрели на это по-другому. Они верили, что так называемый "еврейский вопрос" имеет и другие корни, и потому решать его надо шире и радикальнее, чем просто исправляя экономические и социальные несправедливости. Разделяя социалистические убеждения, они сохраняли верность национальной идее, основанной на концепции единого еврейского народа и восстановлении его независимости. Оба эти направления были нелегальны и находились в подполье, но по иронии судьбы, злейшими врагами сионистов были бундовцы, и большинство дебатов, гремевших над моей головой, когда Шейна устраивала сходку у нас дома, касалось конфликта между этими двумя группами.

Бывало, когда мы с Шейной ссорились и я выходила из себя, я грозилась, что расскажу про политические собрания нашему краснорожему полицейскому Максиму. Разумеется, я никогда бы этого не сделала, да и Шейна не сомневалась, что это только пустые угрозы — но она все-таки беспокоилась. "Что ты расскажешь Максиму?" — спрашивала она. "Расскажу, что ты и твои приятели хотите покончить с царем!" — кричала я.

"Знаешь, что тогда со мной сделают? Сошлют в Сибирь, и там я умру от холода и больше никогда не вернусь, — говорила она. — Так бывает с теми, кого отправляют в ссылку".

По правде говоря, я старалась не попадаться Макси-

му на глаза. Если я замечала, что его сапоги громыхают по направлению ко мне, я пускалась наутек. Много лет спустя Шейна рассказала мне, что хоть Максим никогда никого не арестовал, она не сомневалась, что он систематически докладывал властям обо всех молодых людях, с которыми она была связана.

Пожалуй, там же, на печке, я получила еще один важный неполитический урок: ничто в жизни никогда не происходит само собой. Недостаточно верить во что-нибудь; надо еще иметь запас жизненной силы, чтобы преодолевать препятствия, чтобы бороться. Теорию, лежавшую в основе всего, что делала Шейна, я стала усваивать в возрасте шести-семи лет. Что бы ты ни делал, делай это правильно! Шейна в свои пятнадцать лет уже была совершенной максималисткой: она сама жила сообразуясь с самыми высокими принципами, чего бы ей это ни стоило, и так же сурово и требовательно относилась к другим.

Мы уже много лет прожили в Палестине, а потом в Израиле, и она могла бы позволить себе какие-то приобретения, облегчающие жизнь; но она обходилась без них, находя, что жизненный уровень, которому они соответствуют, слишком высок для страны. В шестидесятые годы, старая и больная, она позволила себе единственную роскошь — холодильник. Она обходилась без духовки, всю жизнь готовила на газовой горелке, и считала, что не может позволить себе иметь в Израиле электрический миксер. Будь она менее непреклонной, менее требовательной к себе и другим, она, может быть, поняла бы, каким ужасом были для мамы те пинские сходки и, может быть, даже уступила бы ей. Но в том, что Шейна считала важным, она была неумолима — и политические сходки у нас дома продолжались, несмотря на бесконечные раздоры с мамой. Однажды Шейна ушла из дому и прожила некоторое время у тетки: но там люди оказались еще нетерпимее, так что она вынуждена была нехотя вернуться домой.

В это время Шейна встретила с Шамаем Корнгольдом, своим будущим мужем; это был сильный, умный,

одаренный юноша, отказавшийся от великого счастья учиться, -- предметом его страстного интереса была математика — чтобы примкнуть к революционному движению. Между ними расцвел почти безмолвный роман, и Шамай тоже стал навсегда частью моей жизни. Он был одним из лидеров молодых сионистов, по кличке "Коперник". Шамай был единственным внуком известного знатока Торы; в его доме он жил с родителями и все они зависели от него материально. Шамай часто бывал у нас; помню, как он перешептывался с Шейной про подъем революционного движения в городе и про казачий полк, который движется сюда и будет усмирять Пинск своими сверкающими саблями. По их разговорам я догадалась, что с кишиневскими евреями случилось что-то ужасное и что пинские евреи готовятся защищать себя оружием и самодельными бомбами.

Шейна и Шамай реагировали на ухудшение положения своеобразно: они не только продолжали устраивать и посещать тайные сходки — они вовлекали в движение других молодых людей и даже, — о, ужас! — дочку нашего седовласого шойхета — ультраправоверного ритуального резника, у которого наша семья снимала комнату. Тут тревога мамы за Шейну, за Ципке и за меня стала нестерпимой, и она стала писать отчаянные письма отцу. Она писала, что не может быть и речи о том, чтобы нам торчать в Пинске; мы должны ехать к нему в Америку.

Но, как и многое в жизни, это легче было сказать, чем сделать. Отец, который к этому времени переехал из Нью-Йорка в Милуоки, еле-еле сводил концы с концами. Он написал, что надеется получить работу на железной дороге и тогда у него будут деньги нам на билеты. Мы перебрались от шойхета к бубличнику. Бублики пекли ночью, так что в квартире всегда было тепло, и бубличник дал маме работу. А в конце 1905 года пришло письмо из Милуоки. У отца была работа, так что мы могли начинать сборы в дорогу.

Сборы были долгие и трудные. Непростое дело было в те времена женщине с тремя дочками — из них две

совсем маленькие — проделать одним весь путь от Пинска до Милуоки. Для мамы это было не только облегчение, но и новые тревоги, а для Шейны расстаться с Россией — значило расстаться с Шамаем и с тем, ради чего они так трудились и так рисковали. Помню только суету этих последних недель в Пинске, прощание с родственниками, поцелуи и слезы. В те времена уехать в Америку было почти то же самое, что отправиться на Луну. Может, мама и тетки плакали бы не так горько, если бы знали, что я вернусь в Россию как посланник еврейского государства; или что как премьер-министр Израиля я буду встречать поцелуями и слезами сотни и сотни русских евреев. Но предстоявшие годы несли нашим родственникам, оставшимся в Пинске, нечто пострашнее слез, и один Бог об этом знал. Может, и мы не так бы боялись, если бы знали, что по всей Европе тысячи семей, вроде нашей, пустились в дорогу, справедливо надеясь на лучшую жизнь в Новом Свете. Но мы знать не знали о множестве нееврейских женщин и детей из Ирландии, Италии и Польши, которые в таких же условиях, как мы, пробирались к своим мужьям и отцам в Америку, и мы были очень напуганы.

Немного я помню подробностей о нашем путешествии в Милуоки в 1906 году, и думаю, даже и то, что, как мне кажется, я помню, я знаю из рассказов мамы и Шейны. Помню только, что в Галиции мы должны были нелегально пройти границу, потому что три года назад наш отец помог своему знакомому добраться до Америки, вписав его жену и дочерей в свои собственные бумаги, как своих. Так что, когда наступил наш черед уезжать, мы тоже шли под чужими именами. И хотя мы послушно запомнили и фальшивые имена, и фальшивые подробности — Шейна отлично выдрессировала нас всех, даже Ципке — переход границы был осуществлен с помощью взятки, которую мама, каким-то образом скопившая необходимые деньги, дала полицейскому. В суматохе пропала — или была украдена — большая часть нашего "багажа". Как бы то ни было,

я помню, что в холодное весеннее утро мы, наконец, вошли в Галицию, и помню будку, в которой мы ждали поезда в порт. Мы прожили в этой неотопливаемой будке два дня и спали на холодном полу, и Ципке, помню, все время плакала, пока ее не отвлек прибывший, наконец, поезд. И мы двинулись, с остановками, которых не помню, сначала в Вену, потом в Антверпен, где мы еще 48 часов просидели в эмиграционном центре, ожидая парохода, который отвезет нас в Америку к отцу.

Четырнадцать дней на пароходе — это не была увеселительная прогулка. Нас втиснули в темную, душную каюту еще с четырьмя людьми: ночью мы спали на голых койках, а днем большей частью стояли в очереди на раздачу еды. Мама, Шейна и Ципке мучились морской болезнью; я же чувствовала себя хорошо, часами смотрела на океан и старалась представить себе Милуоки. Пароход был набит русскими эмигрантами — бледными, измученными и перепуганными, как мы. Иногда я играла с детьми, которые тоже ехали четвертым классом, и мы рассказывали друг другу, какие невообразимые богатства ожидают нас в "золотой стране". Но мне кажется, что и они сознавали, что мы едем в места, о которых ровнешенько ничего не знаем, в совершенно чужую для нас землю.

2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОТРОЧЕСТВО

Отец встретил нас в Милуоки, и он показался нам очень изменившимся: без бороды, похож на американца, в общем — чужой. Он еще не нашел для нас квартиры, поэтому мы все временно вселились в его единственную комнату, которую он снимал у недавно прибывших польских евреев. Город Милуоки — даже та малая его часть, которую я увидела в эти первые дни — меня ошеломил. Новая еда, непостижимые звуки совершенно неизвестного языка, смущение перед отцом, которого я почти забыла. Все это создавало такое сильное чувство нереальности, что я до сих пор помню, как я стою посреди улицы и спрашиваю себя, кто я и где я.

Полагаю, что и отцу было нелегко воссоединение с семьей после такого долгого перерыва. Во всяком случае он сделал удивительную вещь: не успели мы отдохнуть с дороги и привыкнуть к его новому виду, как он потащил нас всех в город за покупками. Он сказал, что наш вид приводит его в ужас. Мы были такие безвкусные, такие "старосветские", особенно Шейна в своем старческом черном платье. Он непременно хотел купить новые платья всем нам, словно можно было вот так, в двадцать четыре часа превратить нас в американок. Первая его покупка была для Шейны — блузка в оборках и широкополая соломенная шляпа, украшенная маками, незабудками и подсолнухами. "Теперь ты похожа на человека! — сказал он. — Вот так мы тут в Америке одеваемся". Шейна залилась слезами ярости и стыда. "Может, вы в Америке так одеваетесь, — кричала она, — но я так одеваться не буду!" Она наотрез отказалась надеть блузку и шляпу; может

быть, эта поездка за покупками и положила начало долгим годам их натянутых отношений.

Они были очень разные люди, да к тому же в течение трех лет отец получал письма, в которых мама жаловалась на Шейну и ее эгоистическое поведение. Может быть в глубине души он винил Шейну в том, что из-за нее он не вернулся в Россию, а семье пришлось ехать в Штаты. Не то что ему было плохо в Милуоки. Напротив, когда мы приехали, он уже врос в эмигрантскую жизнь. Он был членом синагоги, вступил в профсоюз (время от времени его использовали на работе в железнодорожных мастерских), и у него уже было много приятелей. Ему казалось, что он становится настоящим американским евреем, и это ему нравилось. Но уж никак он не мечтал о сердитой и непослушной дочке, которая требовала себе права жить и одеваться в Милуоки, как в Пинске; их первая ссора в универмаге Шустера вскоре переросла в серьезный конфликт. Я же была в восторге от красивой новой одежды, от шипучей газировки, от мороженого, от того, что нахожусь на небоскребе (это я впервые увидела пятиэтажное здание). Вообще, город Милуоки показался мне великолепным. Все было такое яркое, свежее, словно только что сотворенное; я целыми часами стояла на улице, тараща глаза на людей и на невиданное уличное движение. Автомобиль, в котором отец привез нас с вокзала, был первым в моей жизни; как зачарованная, я смотрела на нескончаемую вереницу машин, трамваев и сверкающих велосипедов, несшуюся по улице передо мной.

Мы пошли гулять. Не веря своим глазам, я заглядывала в аптеку, где рыбак из папье-маше рекламировал рыбий жир; в парикмахерскую с такими странными креслами; в табачную лавку с ее деревянным индейцем. С какой завистью я смотрела на девочку моего возраста, разряженную по-воскресному, с рукавами-буфами, в высоких ботинках на пуговках, которая гордо катила в коляске куклу, величественно покоившуюся на собственной подушечке! Как восхищалась женщинами в длинных белых юбках и мужчинами в бе-

лых рубашках и галстуках! До чего все это было непохоже на то, что я видела и знала раньше! Первые дни в Милуоки я была в каком-то трансе.

Очень скоро мы переехали в собственную квартиру на улицу Уолнат (Ореховая), в самый бедный еврейский квартал города. Теперь там живут черные, такие же бедные, как мы были тогда. Но в 1906 году эти дощатые домики, с их хорошенькими верандами и ступеньками, казались мне дворцами. Даже наша квартира, без ванной и электричества, казалась мне верхом великолепия. Там было две комнаты, крошечная кухня и — то, что особенно привлекло маму! — длинный коридор, ведущий в пустое помещение для магазина. Мама тут же решила, что откроет лавочку. Отец, без сомнения, обиженный, что мама как будто сомневается в его способности нас всех прокормить, да и не желавший бросать плотницкое ремесло, заявил, что мама вольна делать, что хочет, но он лавкой заниматься не будет. Эта лавка стала несчастьем моей жизни. Сперва это была молочная, потом — бакалейная, но она так и не стала процветающим заведением, зато отравила все мои милуокские годы.

Теперь, вспоминая все это, я только изумляюсь маминой решительности. Прошли только две недели, как мы приехали в Милуоки; по-английски она не знала не единого слова; представления не имела, какие продукты пойдут хорошо — не говоря уже о том, что у нее никогда не было собственной лавки, она и не работала там никогда. И все-таки, может быть испугавшись, что мы все так же отчаянно бедны, как и в России, она взвалила на себя эту огромную ответственность, не задумываясь о последствиях. Держать лавку — значило не только покупать товары в кредит (свободных денег у нас, разумеется, не было), но и вставать с рассветом, покупать все необходимое на базаре и тащить покупки домой. К счастью, соседки ее поддерживали. Многие из них тоже были новые иммигрантки, и для них было естественно помогать вновь прибывшей. Они обучили ее нескольким английским фразам, рассказали, как

вести себя за прилавком, как обращаться с кассой и весами, и кому можно безопасно отпускать в кредит.

Мамино поспешное решение, как и злополучный поход отца за покупками в день нашего приезда, конечно, были их реакцией на совершенно чужое окружение. К несчастью, эти необдуманные шаги имели серьезные последствия не только для Шейниной, но и для моей жизни, хотя и в разной степени. Поскольку мама каждое утро уходила, кто-нибудь должен был сидеть в лавке. Шейна, как и мой отец, наотрез отказалась помогать. Она заявила, что ей этого не позволяют ее социалистические принципы. "Не затем я приехала в Америку, чтобы превратиться в социального паразита, в лавочницу", — заявила она. Родители страшно рассердились, но она, что характерно, поступила согласно со своими принципами: нашла себе работу. Мы не успели оглянуться, как Шейна уже работала в портновской мастерской и обметывала петли вручную. Работа была трудная, она ее делала плохо и от души ненавидела, хотя и могла теперь считать себя принадлежащей к пролетариату. Через три дня, за которые она заработала целых тридцать центов, отец заставил ее бросить портновскую мастерскую и помогать маме. И все-таки она постоянно старалась куда-нибудь сбежать из лавки, и мне каждое утро приходилось стоять за прилавком, пока мама не придет с рынка. Для восьми-девятилетней девочки это было нелегко.

Я ходила в школу — в огромное, похожее на крепость, здание на Четвертой улице, около знаменитого Милуокского пивного завода Шлитца. Ходить в школу я любила. Не помню, за сколько времени я научилась говорить по-английски (дома мы, конечно, говорили на идиш — к счастью, на идиш говорили все на нашей улице), но, поскольку я не помню никаких затруднений, то, вероятно, заговорила я довольно скоро. И подруги у меня появились тоже очень скоро. Две из моих подруг по первому и второму классу остались моими друзьями на всю жизнь, и обе теперь в Израиле. Одна — Регина Гамбургер (теперь Медзини),

жила на нашей улице и уехала из Америки тогда же, когда и я; другая — Сарра Федер — стала одним из лидеров сионистов-социалистов в США. Но я опаздывала в школу ежедневно, и это было ужасно, и каждое утро, идя в школу, я плакала. Однажды в нашу лавку даже пришел полицейский — объяснить матери, как плохо прогуливать уроки. Она слушала внимательно, но вряд ли что-нибудь поняла, и я продолжала опаздывать, а иногда и пропускать школу, что было еще большим несчастьем. Маму, по-видимому, не слишком трогало то, что я ненавидела лавку. Правда, и выбора у нее не было. "Жить-то надо?" — говорила она. Если отец и Шейна — каждый по своим причинам — не помогают, это не значит, что я от этого освобождаюсь. "Ну, так станешь ребенн (ученой женщиной) немножко позже!" — добавляла она. Конечно, я так никогда и не стала ученой женщиной, но я многому научилась в этой школе.

Прошло более пятидесяти лет. Когда мне исполнился семьдесят один год, и я была премьер-министром — я вернулась в школу на несколько часов. Школа не слишком изменилась за эти годы, только подавляющее большинство учеников были негры, а не евреи, как в 1906 году. Они встретили меня как королеву. Выстроившись на скрипучей старой сцене, которую я так хорошо помнила, начищенные и отмытые до блеска, они спели в мою честь множество идишских и ивритских песен, а когда они запели израильский национальный гимн "Ха-Тиква", их голоса так загремели, что у меня навернулись слезы. Все классы были украшены рекламными афишами об Израиле и ивритским приветствием "шалом" (кто-то из учеников решил, что это моя фамилия); когда я вошла в школу, две маленькие девочки в платочках с Маген-Давидами (шестиугольными еврейскими звездами) торжественно преподнесли мне белую розу, сделанную из клинекса и ершика для трубки. Я проносила розу весь день, сберегла ее и привезла в Израиль.

В тот день 1971 года я получила от школы на Четвертой улице еще один подарок: табель за какой-то

класс. Чтение — 95, правописание — 90, арифметика — 95, музыка — 85; еще какой-то ручной труд, о котором я и вовсе ничего не помню — 90. Но когда дети попросили меня что-нибудь сказать, я решила говорить не о книжном ученье. На Четвертой улице я научилась куда большему, чем дроби или правописание; об этой-то науке я и решила рассказать энергичным и внимательным детям, с рожденья принадлежавшим, как и я, к национальному меньшинству, и живущим, как и я жила, мягко выражаясь, не в роскоши. "Не то важно, чтобы точно решить еще в детстве, кем вы станете, когда вырастаете, — сказала я им. — Гораздо важнее решить, как вы хотите прожить свою жизнь. Если вы будете честны с собой и своими друзьями, если вы будете участвовать в том, что хорошо не только для вас, но и для других, то этого, думаю, будет достаточно, а кем вы при этом станете — вероятно, вопрос случая". Мне показалось, что они меня поняли.

Но если оставить в стороне лавку, Шейну, страдавшую от того, что вынуждена жить с родителями и разлучена с Шамаем, все еще остававшимся в России и о котором она отчаянно скучала, то я вспоминаю пять лет в Милуоки с большим удовольствием. Так много можно было увидеть, и сделать, и выучить, что Пинск почти совсем стерся из памяти. Почти — но не совсем. В сентябре, когда мы уже прожили в Америке три месяца, отец велел нам непременно пойти смотреть парад по случаю "Лэйбор дэй" (Праздник труда), в котором он будет участвовать. Мама, Ципке и я, в новых платьях, стояли на том углу, который он нам указал, и с нетерпением ждали, когда начнется парад, не очень понимая, что это такое. Вдруг Ципке увидела двигавшихся во главе шествия конных полицейских. Она страшно испугалась. "Казаки! Это казаки!" — завопила она и так разрыдалась, что ее пришлось отвести домой и уложить в постель. Но для меня этот парад — толпы на улицах, медь оркестров, платформы на колесах, запах жареной кукурузы и сосисок — стал символом американской свободы. Конная полиция не разгоняла и не

давила демонстрацию, как в России, а охраняла ее. Это был толчок: я почувствовала, насколько новая жизнь отличается от прежней. Тогда, да и долгое время потом, я об этом не задумывалась, но теперь мне кажется, что в Висконсине, и в частности в Милуоки, была очень либеральная администрация. Милуоки был городом эмигрантов, в нем сильны были социалистические традиции, мэром города много лет был социалист, первый в Америке социалист-конгрессмен — Виктор Бергер. Конечно, мы бы отреагировали так же на любой парад в любом американском городе. Впрочем, может быть "Лэйбор дэй" в Милуоки и был какой-то особенный: ведь сюда съехалось такое множество немецких либералов и интеллектуалов после неудачной революции 1848 года; и в конце концов город славился своими сильными профсоюзами не меньше, чем своими пивными. В общем, когда я в этот сентябрьский день увидела отца, выступающего в праздничном шествии, мне показалось, что я вышла из темноты на свет.

Конечно, было бы лучше, если бы маме не надо было так тяжело работать, если бы Шейна ладила с родителями, если бы у нас было хоть немножко больше денег. Но даже и так, даже несмотря на мои тайные горести из-за ненавистной лавки, годы в Милуоки были для меня полными, хорошими годами. Для меня — но не для Шейны. Все у нее не ладилось, все было трудно: приспособиться, научиться английскому, найти друзей. Она была какая-то усталая, апатичная, а тут еще вечные конфликты с родителями и их неуклюжие попытки найти ей жениха, словно бы и не было на свете Шамая. Ей было восемнадцать, а жизнь ее до того сузилась, что ее как бы и не стало.

Вдруг — о, чудо! — она услышала, что в Чикаго открывается большая фабрика мужской одежды и ее туда приняли. Но почему-то и там дело не пошло; она пошла швеей на маленькую фабрику дамской одежды с настоящей потогонной системой. Через некоторое время она вернулась в Милуоки — у нее воспалился палец. Если бы она не была так подавлена, это

бы прошло скорее, но тут ей пришлось просидеть дома несколько недель. Родители торжествовали. Я же очень ее жалела, и за эти недели, когда я за ней ухаживала и помогала причесываться и одеваться, мы сблизились.

В один прекрасный день Шейна сказала мне, что получила письмо от тети из Пинска, насчет Шама. Его арестовали, но он бежал из тюрьмы и теперь находится на пути в Нью-Йорк. Тетя предусмотрительно сообщила его адрес, и Шейна тотчас же ему написала. К этому времени воспаление на пальце прошло, она нашла другую работу и стала планировать приезд Шама в Милуоки.

Надо ли говорить, как я радовалась, что она воспряла духом. Может быть теперь, когда Шама придет, Шейна будет счастлива, и атмосфера дома переменится. Я не слишком его помнила, но ждала его почти так же нетерпеливо, как Шейна. Но родители, особенно мама, встретили эту новость по-другому. "Замуж за Шама? — говорила мама. — Но у него же никаких перспектив. Нищий, неопытный молодой человек, без денег и без будущего!" Но — и не ищите логики! — он все-таки был для Шейны слишком хорош: он из богатой семьи, которая никогда не даст своего согласия! С какой стороны ни смотри, этот брак был бы несчастьем.

Шейна, как всегда, ринулась напролом и сделала то, что считала нужным. Она сняла для Шама комнату и вызвала его в Милуоки. Он приехал, угнетенный, неуверенный в себе — но Шейна не сомневалась, что вместе они преодолеют все преграды. Через некоторое время он получил работу на табачной фабрике, а по вечерам они стали вместе заниматься английским.

Но тут Шейна заболела, и на этот раз серьезно: у нее определили туберкулез. Ее надо было отправить в санаторий; неизвестно было, можно ли ей будет вообще когда-нибудь выйти замуж. Весь ее мир обрушился. Она ушла с работы, сдала свою комнату и опять нехотя вернулась домой. Родители скрывали свою тревогу за

нее под градом упреков и придировок; я по-детски не слишком успешно старалась развеселить Шейну и Шамая и заступалась за них перед родителями, когда напряжение доходило до предела.

Через несколько недель все переменялось: Шейна легла в еврейскую больницу для туберкулезных в Денвере, Шамай уехал в Чикаго со слабой надеждой найти там работу, а я на деньги для завтраков, стала покупать почтовые марки, которые посылала Шейне, чтобы она могла мне отвечать. Пару раз я "одалживала" деньги на марки из маминой кассы, но так как родители с Шейной не переписывались, и я была единственным связующим звеном между нею и семьей, то я считала это преступление оправданным.

В письмах к Шейне, которые она, к моему удивлению, сохраняла много лет, я описывала свою жизнь дома. "Я очень хорошо учусь в школе", — писала я в 1908 году. "Сейчас я в третьем старшем, а в июне перейду в четвертый младший". И еще: "Могу тебе сказать, что папа все еще не работает, в лавке дела немного, и я рада, что ты встала с постели".

Дело в том, что такой работы, которую умел делать отец, в те дни в Милуоки было мало; а когда он получал работу, то платили ему двадцать-двадцать пять центов в час. Дела в лавке тоже шли очень плохо, и, ко всему, у мамы случился выкидыш, и доктор уложил ее на несколько недель в постель. Я готовила, скребла полы, развешивала белье и присматривала за лавочкой, глотая слезы ярости от того, что мне приходилось пропускать занятия. Но мне не хотелось волновать Шейну. Ей и так нелегко приходилось в Денвере, и я старалась, чтобы мои письма были кратки и сжаты, хотя сознательно я никогда не обманывала ее насчет положения дел у нас дома.

Я очень скучала по Шейне, но годы без нее пронеслись быстро. Школа меня поглощала целиком, а в немногие минуты, свободные от лавки, от помощи по дому и от приготовления уроков с Ципке, которую мистер Финн, директор школы, переименовал в Клару,

я читала и читала. Иногда мы с Региной Гамбургер доставали (вероятно, через школу) билеты на спектакль или в кино. Это всегда был огромный праздник. До сих пор помню, как я смотрела "Хижину дяди Тома" и мучительно страдала вместе с дядей Томом и Евой. От ненависти к Симону Легри я то и дело вскакивала с места. Вероятно, это была первая пьеса, которую мне довелось увидеть на сцене, и я без конца пересказывала ее маме и Кларе. Мы чувствовали в ней какую-то особенную реальность.

Важное для меня событие произошло, когда я училась в четвертом классе: впервые я занялась "общественной работой". Хотя школа в Милуоки была бесплатная, за учебники все же полагалось платить по номиналу, что для моих соучеников было недоступно. Кто-то, разумеется, должен был что-то сделать, чтобы разрешить эту проблему. Я решила, что надо собрать деньги. Это был мой первый, но далеко не последний опыт сбора денег для создания фонда.

Мы с Региной собрали наших школьных девочек и объяснили, для чего нужно будет собирать деньги. Мы написали плакаты, где сообщалось, что Американское Общество юных сестер (мы необычайно гордились названием, которое придумали для нашей несуществующей организации) проведет публичный митинг по вопросу об учебниках. Поскольку я сама себя назначила председателем общества, то я же и сняла зал и разослала приглашения по всему нашему району. Сегодня мне кажется невероятным, что кто-то согласился сдать зал одиннадцатилетней девочке, но митинг состоялся в назначенный субботний вечер и на него пришли десятки людей. Программа была очень простая: я поговорила насчет того, что всем детям, есть у них деньги или нет, нужны учебники, а Клара, которой тогда было восемь лет, прочитала социалистические стихи на идиш. Как сейчас вижу: крошечная рыжая девочка стоит перед аудиторией Пэкен-холла и декламирует, сопровождая свою декламацию драматическими жестами. Результат был двойной: было собрано, по нашим понятиям, до-

вольно много денег, и родители осыпали нас с Кларой похвалами, когда мы все вместе возвращались с митинга домой. Я жалела только, что нет Шейны. Но все-таки я смогла послать ей вырезку из газеты с моей фотографией. Там говорилось о митинге: "Группа детей отдает весь свой досуг и все свои центы делу благотворительности, — да и благотворительную организацию они создали по собственной инициативе... Заслуживает внимания то, что самая благотворительность и есть вопиющий комментарий к интересному факту: дети, посещающие школу, не обеспечены учебниками! Подумайте, что это значит..."

Письмо, которое я написала Шейне по поводу митинга, было почти так же драматично, как Кларины стихи. "Дорогая сестра, — писала я, — могу сказать тебе, что наш успех превзошел все, что когда-либо видел Пэкенхолл. А прием был просто великолепный..."

Мама упрасивала меня предварительно написать свою речь, но мне казалось правильное сразу высказать все, что я хочу, что у меня на сердце. Учтывая, что это было мое первое публичное выступление, я думаю, что я с ним справилась. Во всяком случае и потом, не считая важных политических заявлений в Объединенных нациях или в Кнесете, я никогда не читала своих речей по бумажке и все пятьдесят следующих лет свои речи "говорила прямо из головы", как я написала Шейне летом 1909 года.

В то же лето мы с Региной получили нашу первую настоящую работу: нас приняли самыми младшими продавщицами в универмаг в центре города. В основном наше дело было заворачивать пакеты и бегать по поручениям — но мы зарабатывали по несколько долларов в неделю, и я была освобождена от каждодневного стояния в лавке. Мое место там чрезвычайно неохотно занял отец. Я себя чувствовала совершенно независимой; каждый вечер гладила свою юбку и блузку, а на рассвете отправлялась пешком к месту работы. Идти было далеко, но сбереженные мною деньги за транспорт пошли на мое зимнее пальто — это бы-

ла первая вещь, которую я купила на собственные заработки.

В четырнадцать лет я кончила начальную школу. Отметки у меня были хорошие. Мне поручили сказать от имени нашего класса прощальную речь. Будущее рисовалось мне в самых светлых красках. Очевидно, я поступлю в среднюю школу и, может быть, даже стану учительницей, чего мне хотелось больше всего. Я думала, да и сейчас думаю, что профессия учителя — самая благородная и дает самое большое удовлетворение. Хороший учитель открывает перед детьми целый мир, учит их пользоваться своими умственными способностями и всячески готовит их к жизни. Я знала, что сумею преподавать, если получу достаточное образование, и я хотела взять на себя именно такую ответственность. Регина, Сарра и я бесконечно разговаривали о том, что мы будем делать, когда вырастем. Часами в те летние вечера мы сидели на ступеньках нашего дома и рассуждали о будущем. Как и все девочки-подростки во всех частях света, мы думали, что мы принимаем сейчас самое важное в жизни решение — кроме замужества, но до замужества всем нам было еще так далеко, что и говорить о нем не стоило.

Но родители — и я должна была это понять, но не поняла! — имели на меня другие планы. Думаю, что отцу хотелось бы, чтобы я получила образование: на церемонии выдачи наших школьных аттестатов глаза у него были мокрые. Мне кажется, он понимал, как это для меня важно. Но ему самому жилось очень тяжело, и он был не в состоянии мне по-настоящему помочь. Маму же ужасные отношения с Шейной ничему не научили; она, как всегда, точно знала, что я должна делать. Теперь, когда я окончила начальную школу, хорошо и без акцента говорю по-английски и вообще, стала, по словам соседей, "эрваксене шейне мейдл" — рослой красивой девушкой — теперь я должна весь день работать в лавке и раньше или позже — но лучше раньше — подумать серьезно о замужестве, а замужест-

во, напоминала она мне, женщинам-учительницам запрещено законом штата.

”Если уж тебе так хочется иметь профессию, — говорила она, — то можно пойти на курсы секретарш и изучить стенографию. По крайней мере не останешься старой девой”.

Отец кивал. ”Не стоит быть слишком умной, — предупреждал он. — Мужчины не любят умных девушек”. Как когда-то Шейна, я всячески старалась переубедить родителей. Заливаясь слезами, я объясняла, что теперь образование необходимо даже для замужней женщины, и что я, во всяком случае, если собираюсь замуж, то очень нескоро. И вообще, рыдала я, лучше мне умереть, чем всю жизнь, или даже часть жизни, гнутья над машинкой в грязной конторе.

Но ни доводы, ни слезы не помогали. Мои родители были убеждены, что средняя школа, по крайней мере для меня, — непозволительная роскошь, к тому же нежелательная. Поддерживала меня Шейна (к тому времени она пошла на поправку и уже выписалась из санатория) из далекого Денвера да Шамай, который приехал к ней туда. Они писали мне часто, адресуя письма на адрес Регины, чтобы о нашей переписке не узнали родители; я знала, что Шамай сначала мыл посуду в санатории, а потом его взяли в маленькую химчистку, обслуживавшую один из денверских отелей. В свободное время он учился на бухгалтера. Но — самое главное — несмотря на предостережения лечившего Шейну врача, они собирались пожениться. ”Лучше мы проживем меньше, — решил Шамай, -- но вместе”. Это оказался один из самых счастливых браков, которые мне довелось видеть и, несмотря на мрачные предсказания врача, он длился сорок три года и результатом его были трое детей.

Поначалу родители наши были очень огорчены, особенно мама. ”Еще один сумасшедший с великими идеями и без копейки в кармане! — фыркала она. — И это муж для Шейны? Это человек, который сможет ее поддерживать и обеспечивать?” Но Шамай не толь-

ко любил Шейну — он понимал ее. Он никогда с ней не спорил. Если он был уверен в своей правоте, то поступал, как считал нужным, и Шейна всегда признавала свое поражение. Но когда ей что-нибудь было по-настоящему нужно и важно — Шамай никогда ей не препятствовал. Узнав о том, что они собираются пожениться, я поняла, что Шейна получила то, чего она больше всего хотела и что ей было всего нужнее, а я, наконец, получила брата.

Я по секрету писала в Денвер, что вечные скандалы из-за школы делают мою жизнь дома невыносимой, и я должна как можно скорее стать независимой. Осенью 1912 года я бросила родителям вызов: поступила в среднюю школу, и после обеда и по выходным дням хваталась за любую работу, только бы не просить у них денег. Но и это не помогло: ссоры дома продолжались.

И последняя капля, переполнившая чашу: мама подыскала мне мужа. Нет, она не хотела, чтобы я вышла замуж немедленно, конечно нет, ей просто надо было быть уверенной, что я не только выйду замуж, когда достигну подходящего, по ее мнению, возраста, но и в отличие от Шейны, выйду замуж за человека, прочно стоящего на ногах. Не за богача — об этом и речи не могло быть — но за солидного человека. И она уже под сурдинку вела переговоры с мистером Гудштейном, симпатичным, приветливым и сравнительно обеспеченным тридцатилетним человеком, которого я знала, потому что он иногда заходил к нам в лавочку поболтать. Мистер Гудштейн! Но ведь он старик! Вдвое старше меня! Я написала Шейне бешеное письмо. Ответ из Денвера пришел немедленно. "Нет, ты не должна бросать школу. Ты еще молода, чтобы работать; у тебя есть шансы чего-то добиться", — писал Шамай. И с полным чистосердечием: "Мой совет тебе, собраться и приехать к нам. Мы тоже небогаты, но у нас ты сможешь продолжать учиться и мы сделаем для тебя все, что в наших силах". В конце письма Шейна прислала теплое приглашение от себя лично: "Ты должна при-

ехать немедленно! Нам хватит на всех, — уверяла она. — Все вместе мы сумеем продержаться. Во-первых, у тебя будет полная возможность учиться; во-вторых, сколько угодно еды; в третьих — из одежды тоже будет все, что человеку необходимо”.

Я и тогда была растрогана этим письмом, но теперь, перечитывая его, я чувствую, что у меня замирает сердце. Молодые, совершенно неустроенные — с какой готовностью они предлагали принять меня и разделить со мной все, что имеют! Это денверское письмо, написанное в ноябре 1912 года, стало поворотным пунктом в моей жизни, потому что именно в Денвере по-настоящему началось мое образование, именно там я стала взрослеть. Вероятно, если бы Шейна и Шамай не пришли мне на помощь, я ссорилась бы с родителями и плакала по ночам, но все-таки продолжала бы ходить в школу. Не могу представить себе, чтобы я, на каких бы то ни было условиях, согласилась бы бросить школу и выйти замуж за мистера Гудштейна, столь поносимого мною, хотя, вероятно, и несправедливо. Но предложение Шамая и Шейны было для меня, как веревка для утопающего, и я за него ухватилась.

И еще одно письмо, которое пришло от Шейны перед самым моим отъездом в Денвер, я вспоминала много раз в последующие годы. Она писала: ”Главное не волноваться! Будь всегда спокойна, води себя хладнокровно. Такое поведение всегда приносит хорошие результаты. Держись!” Речь шла тут о том, чтобы убежать из дому, но я никогда не забывала этого совета, и он сослужил мне хорошую службу через несколько лет, когда я приехала в страну, которой предстояло стать моим настоящим домом; там я приготовилась к отчаянной борьбе за то, чтобы остаться.

Уехать в Денвер было дело нелегкое. Мои родители никогда не согласились бы, чтобы я поехала жить к Шейне. Они бы просто этого не позволили. Оставалось только одно: уехать, ничего им не говоря. Может это и не самый храбрый образ действий, но во всяком слу-

чае самый эффективный. Шейна и Шамай прислали мне часть денег на железнодорожный билет; мы с Региной обдумали детали моего бегства. Главной проблемой было собрать недостающие деньги. Немножко денег я одолжила у Сарры (учитывая, что я совершенно не представляла себе, когда и как сумею их отдать, это был очень "хладнокровный" поступок!); кроме того, мы с Региной стали прямо на улице уговаривать новых иммигрантов брать у нас уроки английского по десять центов в час. Когда мы собрали достаточно, то принялись разрабатывать все прочие детали моего отъезда.

Регина была исключительно преданным союзником. Ей можно было абсолютно доверять, она не проговорится ни моим, ни своим родителям; но этого мало: у нее было еще и очень пылкое воображение. Правда, теперь мне кажется, что она представляла себе мой побег, как что-то вроде похищения невесты. Она, например, предложила — а я с радостью согласилась, — чтобы в вечер накануне отъезда я спустила ей из окна узелок с моими вещами (к счастью, это был небольшой узелок), а она уже доставит его на станцию и сдаст в багаж. Я же прямо с утра должна была идти вместо школы на станцию.

Наступил роковой вечер. Я сидела в кухне с родителями, как всегда по вечерам, но на сердце у меня было тяжело. Пока они пили чай и разговаривали, я наскоро писала им записку, которую они прочтут завтра: всего несколько слов, да и слова, какие попало. Я написала: "Я буду жить у Шейны, чтобы иметь возможность учиться". Еще я добавила, что им не о чем беспокоиться, и из Денвера я буду им писать. Думаю, что эта моя записка сильно их обидела; если бы я писала ее сегодня, я бы писала обдуманно и осторожно. Но тогда я была очень подавлена, и все-таки мне было только пятнадцать лет. Перед тем как лечь спать я подошла к Клариной кровати и целую минуту смотрела на спящую сестренку. Меня мучило чувство вины, что я уезжаю даже не попрощавшись с ней; что станет с ней теперь, когда мы с Шейной навсегда (как я дума-

ла) покинули родительский дом? Клара выросла самой "американистой" из нас всех; это была тихая, скромная, нетребовательная девочка, которую все любили; но я никогда не обращала на нее особенного внимания и фактически даже не слишком хорошо ее знала. Теперь же, покидая ее, я внезапно ощутила чувство ответственности. Оказалось, однако, чего я знать не могла, что положение единственного ребенка в доме облегчило ей жизнь. Родители были гораздо снисходительнее к Кларе, чем к Шейне или ко мне, а мама даже иногда ее баловала. В нашей семье никто не был щедр на излияния чувств, но в тот вечер я погладила Кларино личико и поцеловала ее, хотя она и проспала мое с ней прощание.

Рано утром на следующий день я вышла из дому и, как было задумано, направилась на вокзал, чтобы сесть на денверский поезд. Мне никогда еще не приходилось путешествовать одной, и ни мне, ни моей подруге, участнице "заговора", и в голову не приходило, что поезда идут по расписанию. И так я с бьющимся сердцем сидела на вокзальной скамейке в то время, как родители читали мою записку. Но, как говорит еврейская пословица, счастья у меня было куда больше, чем ума; в возникшей суматохе никто не кинулся искать меня на вокзале. Когда поезд тронулся и я поняла, что еду к Шейне, я уже сознавала, что своим поступком жестоко оскорбила мать и отца, но не сомневалась, что сделать это было для меня по-настоящему необходимо. За два года, что я провела в Денвере, отец, так и непростивший меня, прислал только одно письмо. Но мы с мамой иногда писали друг другу. И когда я вернулась домой, мне уже не надо было воевать за право поступать так, как я хочу.

Обе — и Регина и Клара — прислали мне яркие описания того, как отнеслись дома к моему бегству. Письмо Клары было полно обвинений. Мама горько плакала, потом вытерла глаза и пошла к Регининой матери. Когда Регина пришла из школы домой, очень довольная собой, ее мать уже все знала насчет ее "несчастно-

го" пособничества мне, и Регина получила хорошую трепку. Но она была настоящая подруга, она меня ни в чем не упрекала. Напротив, в своем письме ко мне она скорее извинялась: "Надеюсь, что ты не обидишься, но все здесь думают, что ты убежала с итальянцем. Почему это пришло им в голову -- не понимаю... Ну, дорогая Голди, не сердись, что я об этом пишу, но что делать -- ты сама просила... Я горела от обиды и негодования -- но что я могла сделать?"

Надо сказать, что по-настоящему жизнь для меня началась в Денвере, хотя Шейна и Шамай оказались почти такими же строгими, как мои родители. Всем нам пришлось очень много работать. Шамай получил дополнительно к своей работе в химчистке еще полставки сторожа в местной телефонной компании. Решено было, чтобы я после школы сидела вместо него в химчистке, а он шел на свою вторую работу. Уроки делать я могла и в химчистке, а если заказчику надо было что-нибудь погладить, то я могла сделать и это.

По вечерам после ужина Шейна гнала меня делать уроки, но я была совершенно очарована их гостями, которые забегали на минутку и сидели и разговаривали до поздней ночи. Бесконечные разговоры о политике казались мне гораздо интереснее, чем все мои уроки. Маленькая квартирка Шейны стала в Денвере чем-то вроде центра для еврейских иммигрантов из России, приехавших на запад лечиться в знаменитой Денверской Еврейской больнице для легочных больных (той самой, где Шейна пролежала так долго). Почти все они были неженаты. Были среди них анархисты, были социалисты, были и сионисты-социалисты. Все они уже переболели туберкулезом или были еще больны; все были вырваны из привычной почвы; все были страстно захвачены главными проблемами современности. Они разговаривали, спорили, даже ссорились часами по поводу того, что происходит в мире, и что должно произойти. Разговаривали о философии анархизма Эммы Гольдман и Петра Кропоткина, о президенте Вильсоне и ситуации в Европе, о пацифиз-

ме, о роли женщины в обществе, о будущем еврейского народа — и безостановочно пили чай с лимоном. Я благословляла эти чаепития, потому что благодаря им мне удавалось, несмотря на то, что Шейна этого очень не одобряла, засиживаться до поздней ночи: я взяла на себя обязанность дезинфицировать чашки после ухода гостей — и против этого редко кто возражал.

Конечно, я тут была самая молодая, и мой идиш был не такой литературный, как у большинства спорщиков; но я ловила их речь с такой жадностью, словно от них зависели судьбы человечества; через некоторое время я иногда стала выражать и собственные мнения. Конечно, я еще не доросла до уровня этих разговоров. Я не знала, что такое диалектический материализм и кто, собственно, такие Гегель, Кант и Шопенгауэр, но я знала, что социализм — это демократия, право рабочих на приличную жизнь, восьмичасовой рабочий день и конец эксплуатации. И я понимала, что тираны должны быть свергнуты, но никакая диктатура — в том числе и пролетарская — меня не привлекала.

Я жадно слушала всех, но всего внимательнее, как оказалось, я слушала сионистов-социалистов, и их политическая философия показалась мне самой разумной. Я поняла и приняла полностью идею национального очага для евреев — единственного места на земле, где они смогут быть свободными и независимыми, и, само собой разумеется, казалось мне, в таком месте они никогда не будут страдать ни от нужды, ни от эксплуатации, ни от страха перед другими людьми. Еврейский национальный очаг, который сионисты хотели создать в Палестине, заинтересовал меня гораздо больше, чем политические события в самом Денвере и даже чем то, что тогда происходило в России.

Эти разговоры у Шейны — они почти всегда велись на идиш, потому что мало кто из участников достаточно знал английский, чтобы свободно высказываться по этим важным идеологическим вопросам — затрагивали очень широкий круг проблем. Были вечера, когда больше всего спорили о литературе на идиш — о

Шолом-Алейхеме, И.Л. Переце, Менделе Мохер Сфариме — были и другие вечера, где речь шла о специальных вопросах, например, об освобождении женщин или будущности тред-юнионизма. Все это меня интересовало тоже, но когда начинали говорить о таких людях, как Ахарон Давид Гордон, например, который в 1905 году уехал в Палестину и помог основать Дганию (кибуц, созданный через три года на пустынном краешке земли у Галилейского озера), я превращалась в слух и меня начинали одолевать мечты о том, чтобы присоединиться к палестинским пионерам.

Не помню, кто из молодых людей у Шейны первый заговорил о Гордоне, но помню, как меня поразило то, что он рассказал. Пожилой человек с длинной седой бородой, делавшей его похожим на Патриарха, незнакомый с физическим трудом, в возрасте пятидесяти лет приезжает в Палестину со всей семьей и начинает собственными руками обрабатывать ее землю и пишет о "религии труда", как называли это его "кредо" ученики. Гордон считал, что строительство Палестины станет величайшим еврейским вкладом в дело человечества. В стране Израиля евреи через собственный физический труд найдут путь к созданию справедливого общества — если каждый в отдельности приложит к этому все свои силы.

Гордон умер в 1922 году — через год после того, как я приехала в Палестину — и я никогда с ним не встретилась. Но, пожалуй, из всех великих мыслителей и революционеров, о которых я наслышалась у Шейны, мне больше всего хотелось бы познакомиться с ним, и о том же я мечтала для своих внуков.

Поразила меня и романтическая история Рахел Блувштейн, нежной девушки, приехавшей из России в Палестину почти одновременно с Гордоном и находившейся под сильным его влиянием. Рахел, замечательно одаренная поэтесса, стала работать на земле в новом поселении у Галилейского озера, где и были написаны некоторые из лучших ее стихов. Не знаящая ни одного слова на иврите до приезда в Палестину, она стала од-

ним из первых ивритских поэтов современности; многие ее стихи положены на музыку и их теперь поют в Израиле. Потом она заболела (туберкулезом, который убил ее, когда ей было сорок лет), и уже не могла работать на земле, которую так любила; но когда в Денвере я услышала впервые ее имя от человека, знавшего ее в России, она еще была молода.

Прошли годы. Когда у молодежи стало модно смеяться над негибкостью, рутинностью и преданностью эстаблишменту моего поколения, я думала о бунтовщиках-интеллектуалах, таких, как Гордон, как Рахел, как десятки других. По-моему, никакие современные хиппи не бунтовали против эстаблишмента так эффективно, как те пионеры начала века. Многие из них родились в семьях торговцев или ученых; многие — в богатых ассимилированных семьях. Если бы их воодушевлял только сионизм, то они могли бы приехать в Палестину, купить несколько апельсиновых рощ и нанять для работы арабов. Это было бы куда легче. Но они были политическими радикалами и глубоко верили, что только собственный труд может действительно освободить евреев, избавить их от гетто и его ментальности; труд даст им, вдобавок к историческому, моральное право претендовать на землю Палестины. Были среди них поэты, и больные, и неуравновешенные люди, и люди с бурной личной жизнью; но их всех роднило страстное стремление экспериментировать, стремление построить в Палестине хорошее справедливое общество, по крайней мере такое, которое будет лучше, чем то, что существовало в большей части остального мира. Коммуны, которые они основали — израильские киббуцы — устояли, я уверена, только благодаря истинно революционному социальному идеалу, который лежал и лежит в их основе.

Во всяком случае, долгие ночные споры в Денвере сыграли большую роль в формировании моих убеждений и в моемприятии или неприятии разных идей. Но мое пребывание в Денвере имело и другие последствия. Среди молодых людей, часто приходивших к Шей-

не, одним из самых неразговорчивых был тихий и милый Моррис Меерсон, с сестрой которого Шейна познакомилась в санатории. Их семья, такая же бедная, как наша, приехала в Америку из Литвы. Отец умер, когда Моррис был маленьким, и ему пришлось рано пойти работать, чтобы содержать мать и трех сестер. В то время, когда мы встретились, он зарабатывал тем, что расписывал вывески.

Несмотря на то, что он не повышал голоса даже во время самых бурных ночных споров, я заметила Морриса потому, что он был так хорошо образован: он, самоучка, знал такие вещи, о которых Шейна и ее друзья и представления не имели. Он любил, знал, понимал искусство — поэзию, живопись, музыку; он мог без усталости растолковывать достоинства какого-нибудь сонета — или сонаты — такому заинтересованному и невежественному слушателю, как я.

Когда мы с Моррисом познакомились ближе, мы стали вместе посещать бесплатные концерты в парке. Моррис терпеливо учил меня наслаждаться классической музыкой, читал мне Байрона, Шелли, Китса и "Рубайят" Омара Хайяма, водил меня на лекции по литературе, истории и философии. Некоторые музыкальные произведения для меня до сих пор ассоциируются с чистым и сухим горным воздухом Денвера и чудесными парками, по которым мы с Моррисом бродили каждое воскресенье весной и летом 1913 года.

Особенно большое впечатление на меня произвел один концерт — не столько из-за музыки, которую я еле слышала, сколько из-за угрожающе-облачного неба. Ради Морриса мне хотелось выглядеть как можно лучше, поэтому накануне того дня я пошла в магазин (он назывался "пять и десять центов"), и купила себе новую ярко-красную соломенную шляпу, поскольку в продаже были только такие. Купила с некоторой опаской, потому что она казалась мне немножко фривольной, но зато она мне очень шла, и я надеялась, что Моррису понравится. До сих пор с ужасом вспоминаю тот день, когда я ее впервые надела. Небо было сплошь

затянуто тучами, Моррис даже не заметил моей шляпы, я же так боялась, что пойдет дождь и меня зальет красными струями, что я больше ни о чем не думала.

Моррисом я восхищалась безгранично, одна только Шейна вызывала у меня такое же восхищение. И причиной тому была не только его энциклопедическая образованность, но и его мягкость, ум и чудесное чувство юмора. Он был старше меня всего на пять-шесть лет, но казался гораздо взрослее, спокойнее и уравновешеннее. Не отдавая себе в этом отчета, я влюбилась в него, и не могла не понять, что и он меня любит, хотя мы очень долго не говорили о наших взаимных чувствах.

Шейне тоже очень нравился Моррис, и она, к счастью, одобряла наши частые встречи. Но она строго напомнила мне, что не ради этого помогла мне бежать из дому, и вообще, я приехала в Денвер учиться, а не слушать музыку и читать стихи. К своей миссии опекуни Шейна относилась очень серьезно, сторожила меня, как ястреб, и через несколько месяцев мне стало казаться, что с тем же успехом я могла бы оставаться в Милуоки. Шамай давил на меня гораздо меньше, но Шейна все круче натягивала поводья, и я стала проявлять норов. В один прекрасный день, когда Шейна особенно раскомандовалась и раскричалась, словно я была маленькая, я решила, что пора мне жить одной, без опеки и вечных приставаний, и ушла из дому как была, в черной юбке и белой блузке, в которых проходила целый день. Я не взяла с собой даже ночной рубашки, не считая себя вправе брать вещи, которые мне покупали Шейна и Шамай, раз я больше им не подчиняюсь и покидаю их дом. Закрыв за собой двери, я решила, что — все: отныне я сама за себя отвечаю.

Минут через десять я сообразила, что, пока я еще не зарабатываю, надо найти временное пристанище. Тут я несколько упала духом. На помощь пришли две Шейнины подруги, которым я призналась, что мне негде жить; они всегда очень хорошо ко мне относились и тут же предложили гостеприимство, которое я, приунывшая, с благодарностью приняла. К сожалению, это

была не самая безопасная гавань: у обеих была вторая стадия туберкулеза. То, что я не заболела, можно объяснить только маминой поговоркой "Нар'с мазл" — "дуракам счастье". Они жили в тесной квартирке, состоявшей из комнаты с нишей и кухни. Ниша, сказали они, будет в моем распоряжении столько, сколько я захочу. Но так как обе они были тяжело больны, я понимала, что они должны ложиться спать рано и потому не решалась зажигать лампочку над своей кроватью, когда темнело. Единственным местом, где я могла читать, не беспокоя их и не слыша их мучительного ночного кашля, была ванная комната; там-то я и проводила ночи, закутавшись в одеяло, запасшись кипой книг и устрашающе длинным списком литературы, которым меня снабдил Моррис.

Конечно, в шестнадцать лет можно обойтись почти без всего, даже без сна, и я была очень довольна своей жизнью, а еще больше, говоря по правде, сама собой. Я не только нашла жилье, но и пришла к заключению, что средняя школа может подождать. Я твердила себе, что я научилась управляться с жизнью, а это важнее, чем школьные науки, к которым я раньше так тянулась. Теперь, когда у меня имелась ниша, надо было найти работу. Отец говаривал: "Лес рубят, щепки летят". Я готова была к тому, что щепки будут шелкать меня по лицу: найти работу было нелегким делом. Но через день-два я нашла работу: в магазине, где шили юбки на заказ, я снимала мерку для приклада. Нельзя сказать, чтобы это была интересная или возвышающая душу работа, но она давала мне средства к существованию, и вскоре я могла уже снять крошечную комнатку — и притом без палочек Коха. Одно из последствий моей тогдашней работы: даже и теперь я машинально обмеряю взглядом подол юбки и сама могу запросто его подшить.

Я считала себя, да и выглядела, очень взрослой для своего возраста, но, по правде говоря, нередко мне хотелось вернуться обратно и жить с Шейной, Шамаем и их новорожденной Юдит. Конечно, у меня был Моррис,

о чем я даже написала Регине ("Он не очень красивый, но у него прекрасная душа"), и другие приятели — в частности, удивительный молодой человек из Чикаго, по имени Йосл Копелев; он решил стать парикмахером, уверенный, что это единственная профессия, которая оставляет время для чтения; мы с Моррисом общались с ним очень часто. Но одно дело приятели, а другое — семья, и порой, особенно если рядом не было Морриса, я была столь же одинока, сколь и независима. Однако поскольку ни я, ни Шейна не умели признавать свои ошибки и извиняться, прошло несколько месяцев, пока мы помирились.

Так я провела в одиночестве около года. Наконец, пришло письмо от отца — единственное, которое он написал мне за все время. Оно было очень короткое и било в точку. "Если тебе дорога жизнь твоей матери, — писал он, — ты должна немедленно вернуться домой". Я поняла, что для него написать мне значило подавить свою гордость, и, следовательно, я по-настоящему нужна дома. Мы с Моррисом обсудили это, и я решила, что надо возвращаться в Милуоки — к родителям, к Кларе, к школе. Откровенно говоря, я не жалела, что возвращаюсь, хотя это означало разлуку с Моррисом, который должен был оставаться в Денвере до выздоровления своей сестры. Однажды вечером, перед моим отъездом, Моррис смущенно признался, что любит меня и хочет на мне жениться. Счастливая и смущенная, я сказала, что люблю его тоже, но считаю себя слишком молодой для замужества; мы согласились, что нам следует подождать. Отношения наши мы решили сохранять в тайне, но все время писать друг другу. Таким образом в Милуоки я уехала — о чем сказала на следующий день Регине — в блаженном состоянии духа.

3. Я ВЫБИРАЮ ПАЛЕСТИНУ

Дома у нас все изменилось. Родители очень смягчились, их материальное положение улучшилось, Клара стала подростком. Семья переехала в новую, лучшую квартиру на Десятой улице — там всегда былолюдно и кипела жизнь. Теперь у родителей не было возражений по поводу моего поступления в среднюю школу: они не протестовали даже тогда, когда я, окончив ее, записалась в октябре 1916 года в Нормальную школу Милуоки (тогда она носила название "Учительский колледж"). Вряд ли они поверили, что я нуждаюсь еще в каком-нибудь дополнительном образовании — но они позволили мне поступать до-своему, и наши отношения от этого улучшились неусзнаваемо, хотя мы с мамой все-таки иной раз ссорились. Одной из причин ссор были письма Морриса. Мама считала своим долгом быть в курсе дела (кто-то, вероятно, Шейна, написал ей о моем денверском романе) и как-то раз она заставила Клару прочесть и перевести ей на идиш целую пачку этих писем, мы с Моррисом переписывались по-английски, на котором мама читала с трудом). Позже Клара, понимая, что сделала ужасную вещь, все рассказала мне; при этом она клялась, что пропускала "все слишком личное", как она тактично выражалась. После этого Моррис стал писать на адрес Регины.

По мере того, как их жизнь становилась легче, мои родители стали принимать все большее участие в общественной жизни. Мама, которой, думаю, и в голову не приходило, что она может проявить себя вне узкого круга семейных дел и обязанностей, выказала тем не менее, природный талант к благотворительности;

возможно, он развился благодаря покупателям, рассказывавшим ей о своих затруднениях, пока она развешивала для них рис и сахар. Словом, хоть она и была занята как никогда, но жилось ей легче; однако у нее была очень сердившая меня привычка заявлять, что в Милуоки все хуже, чем в Пинске. Например, фрукты. Кто в Пинске мог есть фрукты? Во всяком случае не наша семья. Но мама продолжала восхвалять все, что было "дома", а я со временем научилась не взрываться каждый раз, когда она делала это.

Слушая про чьи-нибудь невзгоды, помогая управляться с благотворительным базаром или лотереей, мама не переставала печь и жарить. Она делала это прекрасно; у нее я научилась готовить простую и питательную еврейскую пищу, — ту самую, которую люблю и готовлю и по сей день, несмотря на то, что сын и один из внуков, — они считают себя знатоками и льют вино в любое блюдо — критикуют мою "лишенную воображения" стряпню (однако никогда от нее не отказываются). По вечерам в пятницу, когда мы усаживались за субботнюю трапезу — куриный бульон, фаршированная рыба, мясо с картошкой и луком, цимес из морковки со сливами — кроме отца, Клары и меня за столом почти всегда были гости, приехавшие издалека, и порой их визиты затягивались на несколько недель.

Во время Первой мировой войны мама превратила наш дом в перевалочный пункт для юношей, вступающих добровольцами в еврейский батальон Британской армии; они под еврейским флагом шли освобождать Палестину от турок. Молодые люди из Милуоки, вступающие в легион (военной повинности иммигранты не подлежали), уходили от нас с двумя мешочками: маленький, вышитый руками мамы мешочек служил для талеса и филактерий; другой мешочек, гораздо более вместительный, был наполнен еще горячим печеньем из ее духовки. Она с открытым сердцем держала открытый дом и, вспоминая это время, я слышу ее смех на кухне, где она чистит морковь, жарит лук и режет рыбу для субботнего ужина, болтая с одним из

гостей, который будет ночевать на кушетке у нас в гостиной.

Отец тоже принимал активное участие в еврейской жизни города. Большинство из тех, кто спал на нашей знаменитой кушетке, были сионисты-социалисты с Восточного побережья, идишские писатели, ездившие с лекциями по стране и жившие за городом, члены Бней Брита (еврейское братство, к которому мой отец принадлежал). Короче говоря, мои родители полностью интегрировались, и их дом стал для милуокской общины и ее гостей чем-то вроде учреждения. Среди тех, кого я тогда впервые увидела и услышала, многие имели впоследствии огромное влияние не только на мою жизнь, но, что гораздо важнее, на сионистское движение, в частности на социалистическое его крыло. Некоторые оказались в числе отцов-основателей еврейского государства.

Вспоминая людей, проезжавших через Милуоки в те годы, которые произвели на меня впечатление, я прежде всего думаю о Нахмане Сыркине — пламенном идеологе сионистов-социалистов — Поалей Цион. Сыркин, русский еврей, изучавший в Берлине философию и психологию, вернулся в Россию после революции 1905 года, а затем эмигрировал в Соединенные Штаты, где стал лидером Поалей Цион. Сыркин считал, что единственная надежда еврейского пролетариата (он называл его "рабом рабов" и "пролетариатом пролетариата") — это массовая эмиграция в Палестину, и об этом он писал и блистательно говорил в Америке и в Европе. Моя любимая история о Сыркине (дочь которого, Мари, стала моим близким другом, а потом и биографом) — это спор его с доктором Хаимом Житловским, известным защитником идиша, как еврейского национального языка. Для Житловского главным был чисто правовой аспект еврейского вопроса; Сыркин же был страстным сионистом и сторонником возрождения иврита. Во время их спора Сыркин сказал: "Ладно, давайте договоримся о разделе. Вы берете все, что уже существует, а я — то, чего еще нет. Например, Эрец-

Израэль (Земля Израиля) еще не существует как еврейское государство, поэтому она моя; диаспора существует, значит, она ваша. Идиш существует — он ваш; на иврите в повседневной жизни не говорят — стало быть, он мой. Ваш удел — все реальное и конкретное, а моим пусть будет то, что вы зовете пустыми мечтаньями”.

Или Шмарьяху Левин. Без сомнения это был один из величайших сионистских ораторов того времени; тысячи евреев покорялись его остроумию и шарму. Как и Сыркина, теперь его помнят смутно, и если молодые израильтяне знают его, то лишь потому, что в каждом, самом маленьком, городе Израиле есть улица его имени. Для моего же поколения он был один из гигантов, и если мы кого обожали, то, конечно, элегантного, мягкого интеллектуала Шмарью (Шмарьяху — его полное имя). Юмор его был типично идишский, так что его остроты даже трудно перевести на другой язык. Он, например, говорил о евреях: народ мы маленький, да паскудненький. Или, иронически описывая Палестину, говорил, что это прекрасная страна: зиму можно проводить в Египте (где редки дожди), а лето — в Ливанских горах. Как-то во время сионистского конгресса в Швейцарии, он подошел ко мне очень взволнованный. ”Голда, — сказал он, — у меня есть дивная мораль для басни. Но басни-то нет!” В 1924 году Шмарья поселился в Палестине и наши пути стали пересекаться. Особенно живо я помню ужас, охвативший меня в 1929 году в Чикаго: меня попросили выступить на очень большом митинге — на таком мне не случалось еще выступать, — и вдруг я увидела Шмарью в одном из первых рядов. ”Боже мой! — подумала я, — как же я посмею открыть рот, когда тут сидит Шмарья?” Но я выступила и потом получила большое удовольствие, когда он сказал, что я хорошо говорила.

Первые палестинцы, которых я встретила, были Ицхак Бен-Цви, ставший потом вторым президентом Израиля, Яков Зрубавел, известный сионист-социалист и писатель, и Давид Бен-Гурион. Бен-Цви и Бен-Гурион

приехали в Милуоки в 1916 году вербовать солдат для Еврейского легиона; они жили в Палестине, но турецкое правительство их выслало, запретив когда-либо туда возвращаться. Зрубавел, осужденный на тюремное заключение, сумел бежать, но был заочно приговорен к пятнадцати годам каторжных работ.

Никогда раньше я не встречала таких людей, как эти палестинцы, никогда не слышала таких рассказов про ишув (маленькую еврейскую общину в Палестине, в то время сократившуюся с 85 до 56 тысяч). Тогда я впервые узнала, как страдает ишув от жестокого турецкого режима, заморозившего всякую нормальную жизнь в стране. Их сжигала тревога о судьбах евреев Палестины, и они были убеждены, что евреи смогут предъявить свои права на родину только после войны и только в том случае, если евреи, именно как е в р е и, сыграют в войне значительную и заметную роль. Они говорили о Еврейском легионе с таким чувством, что я сразу пошла туда записываться — и получила сокрушительный удар: девушек не принимали.

К тому времени я знала о Палестине немало, но более теоретически. Эти же палестинцы говорили не о взглядах и теории сионизма, а о его реальности. Они подробно рассказывали о пятидесяти с лишним еврейских сельскохозяйственных поселениях, существующих там, и говорили о гордоновской Дгании так, что она начинала казаться реальной, населенной живыми людьми, а не мифическими героями и героинями. Рассказывали о Тель-Авиве, только что основанном на песчаных дюнах за Яфо, и о Хашомере, еврейской самообороне, организованной ишувом, в котором они участвовали. Но больше всего они говорили о том, как страстно ждут победы союзников над турками. Все они работали в Палестине бок-о-бок, а Бен-Цви часто говорил о четвертом члене группы — Рахел Янит, которая позже стала его женой. Для меня она стала типичной представительницей женщин ишува, доказавших, что можно быть одновременно женой, матерью и товарищем по оружию не только не жалуясь, но гор-

дьясь этим. Мне казалось, что она и такие как она, без всякой рекламы делают для освобождения женщин больше, чем самые воинственные суфражистки Соединенных Штатов и Англии.

Я слушала палестинцев как зачарованная везде, где они выступали, но прошло несколько месяцев, пока я осмелилась к ним обратиться. Разговаривать с Бен-Цви и Зрубавелем было куда легче, чем с Бен-Гурионом: они были сердечнее и не были такими догматиками. Бен-Цви несколько раз приезжал в Милуоки и останавливался в доме моих родителей. Он сидел с нами за столом, пел с нами песни на идиш и терпеливо отвечал на наши вопросы о Палестине. Это был высокий, довольно застенчивый молодой человек с ласковой улыбкой и мягкими, скромными манерами, которые сразу же привлекали к нему людей.

Что касается Бен-Гуриона, то мое первое воспоминание — о том, как я с ним не встретилась. Его ждали в Милуоки, где он должен был выступить в субботу вечером, а потом, в воскресенье, обедать у моих родителей. Но в эту субботу в город приехала Чикагская филармония. Моррис, к тому времени уже находившийся в Милуоки, пригласил меня на концерт за несколько недель перед тем; я считала своим долгом пойти с ним, хотя не могу сказать, что получила в тот вечер большое удовольствие от музыки. На следующий день члены Поалей Цион известили меня, что обед отменяется. Несправедливо, сказали мне, чтобы человек, не потрудившийся прийти на выступление Бен-Гуриона, — а я, конечно, была слишком сконфужена, чтобы объяснить личные причины, помешавшие мне там присутствовать, — несправедливо, чтобы такой человек беседовал с ним за обедом. Сердце мое разрывалось, но я сочла, что они правы и стоически приняла их приговор. Потом, конечно, я познакомилась с Бен-Гурионом и очень долго продолжала испытывать перед ним благоговейный страх. Это был один из самых неприступных людей, каких я знала, и что-то было в нем, мешавшее людям его понять. Но о Бен-Гурионе — позже.

Постепенно сионизм наполнял мою жизнь и сознание. Я не сомневалась, что так как я еврейка, мое место в Палестине и что так как я сионистка-социалистка, я смогу работать в ишуве, чтобы достичь стоящих перед нами социальных и экономических целей. Я еще не решилась уезжать — тому еще не пришло время. Но я знала, что не примкну к "салонным сионистам", которые агитируют других поселиться в Палестине, а сами сидят на месте. И я отказалась вступить в партию Поалей Цион прежде, чем приму окончательное решение.

А была еще школа, был Моррис. Пока он оставался в Денвере, мы регулярно переписывались и, перечитывая эти письма теперь, я вижу, что были в моей жизни маленькие трагедии и сомнения, знакомые всем девушкам. Почему у меня не черные как смоль волосы и не огромные сияющие глаза? Почему я недостаточно привлекательна? Как может Моррис меня любить? Любит ли он меня? Мои письма, вероятно, были пересыпаны плохо скрытыми просьбами меня успокоить — и он успокаивал, хоть и не в слишком галантных выражениях. "Я много раз тебя просил не возражать мне, когда я говорю о твоей красоте, — писал он. — Каждый раз ты высказываешь с одними и теми же робкими и самоунижительными замечаниями, которых я терпеть не могу".

В других письмах мы конфузливо строили планы общего будущего, и дело неминуемо кончалось тем, что мы писали друг другу о Палестине. Моррис тогда верил в сионизм гораздо меньше, чем я; он был и романтичнее, и более склонен к размышлениям. Он мечтал о мире, где все будут жить мирно, а национальное самоопределение не слишком его привлекало. Он не думал, что евреям очень поможет наличие собственного государства. Ну, будет еще одно государство, с обычными государственными тяготами и наказаниями. Вот что он писал мне в 1915 году: "Не знаю, радоваться или печалиться, что ты стала такой страстной националисткой. Я в этом отношении совершенно пассивен, хотя очень уважаю твою деятельность, как и всякую

другую, направленную на помощь страдающему народу. На днях я получил приглашение на митинг... Но так как я не вижу большой разницы между тем, где будут страдать евреи — в России или на Святой земле, то я и не пошел...”

В 1915 году евреи страдали во многих странах, и мы с отцом стали работать вместе во всяких организациях, созданных для оказания им помощи; это, кстати, нас сблизило. В Первую мировую войну, как и во Вторую, большинство мероприятий по помощи евреям Европы управлялись созданным тогда “Джойнтом” (Объединенным комитетом по распределению помощи). Но в отличие от того, что было в 1940 году, дела этой замечательной организации велись в ту пору — и довольно плохо — группой бюрократов, заседавших в Нью-Йорке, и “Джойнт” стал мишенью для жестоких критических нападок. В результате социалистические еврейские группы решили основать собственную организацию, которую они называли “Народный комитет помощи”, и сюда-то мы с отцом и вошли. Мы работали дружно и до сих пор я с радостью вспоминаю наше сотрудничество — хотя, по-моему, отец был несколько ошеломлен тем, что я становлюсь взрослой. В новой организации отец представлял свой профсоюз, а я — маленькую литературную группу сионистов-социалистов, которую посещала после школы. Хотя и теперь даже не помню ее хитрого названия, я участвовала в ее деятельности. У нас была своя программа лекций; лекторов мы приглашали из Чикаго. Они приезжали в Милуоки каждые две недели и проводили нечто вроде семинара по разным аспектам идишской литературы. Нам вечно не хватало денег на оплату лекторов и аренду зала, поэтому мы брали с наших членов по двадцать пять центов за лекцию — довольно много для того времени. Один мужчина посещал все лекции, но отказывался платить. “Я не ради лекции прихожу, — объяснил он, — я прихожу, чтобы задать вопрос”.

К концу войны родилось еще одно еврейское движение — Американский Еврейский Конгресс. Ему пред-

стояло сыграть ведущую роль в создании Всемирного Еврейского Конгресса в 1930 году. В те дни Бунд (пересаженный на американскую почву) не возражал против создания Конгресса, хотя и противился яростно его пропалестинской ориентации. В 1918 году, когда во всех больших еврейских общинах Америки проводились выборы — это были первые выборы, которые проводили американские евреи — страсти накалились. Сионисты тащили в одну сторону, бундовцы — в другую. Мы с отцом активно участвовали в выборной кампании и не сомневались, что Конгресс должен поддержать сионизм.

Я решила, что работать среди евреев следует поблизости от синагоги, особенно во время еврейских праздников, когда в синагогу ходят все. Но так как обращаться к конгрегации молящихся имеют право только мужчины, то я поставила ящик из-под мыла у самого входа из синагоги, взобралась на него, и выходящие вынуждены были слушать хоть часть того, что я говорила о платформе Поалей Цион. Самоуверенности в этом случае у меня хватило; так как очень много людей, выходящих из синагоги, останавливалось, чтобы меня послушать, я решила, что мне следует повторить свое выступление и в каком-нибудь другом месте. О моих планах узнал отец и начался страшный скандал. "Дочь Мойше Мабовича! — гремел он. — Стоять на ящике посреди улицы, чтобы все на тебя пялили глаза! Шанде! Стыд-позор!" Я пыталась объяснить, что я обещалась выступать, что друзья ждут меня на улице, что в этом нет ничего необыкновенного. Но отец не хотел ничего слышать. Мама стояла между нами, как судья между боксерами, а мы кричали до хрипоты.

Никто так и не уступил. Отец, красный от бешенства, крикнул, что если я все-таки пойду, то он притащит меня домой за косу. Я не сомневалась, что он так и сделает — обычно он свои обещания сдерживал, но я все-таки пошла. Предупредив своих друзей на углу о том, что отец вступил на тропу войны, я влезла на свой ящик и произнесла речь, умирая от страха. Когда

я наконец пришла домой, мама ждала меня в кухне. Отец уже спал, но, оказывается, он побывал-таки на уличном митинге и слышал мое выступление. "И откуда у нее все это?" — с удивлением сказал он маме. Он так увлекся моим выступлением на ящике из-под мыла, что совершенно забыл о своей угрозе. Больше никто из нас не вспоминал об этом случае, но я лично считаю ту свою речь самой удачной в моей жизни.

Примерно в это же время я начала по-настоящему преподавать. Деятели Поалей Цион открыли народную школу, "фолксшуле" — школу на идиш в еврейском центре Милуоки. Занятия происходили в субботу вечером, в воскресенье днем и после полудня в один из будних дней. Я преподавала идиш: чтение, письмо, начатки литературы и истории. Идиш, казалось мне, есть самая крепкая связь между евреями, и я любила преподавать его. Не к этому готовила меня Милуокская Нормальная школа, но я радовалась, что могу познакомить еврейских детей в нашем городе с великими идишскими писателями, которыми так восхищалась. Конечно, английский язык прекрасен, но идиш был языком еврейской улицы, тем естественным, теплым, домашним языком, который объединял разбросанную нацию. Теперь мне кажется, что тут я проявляла даже некий педантизм: если кто из детей мешал идиш с английским, то мне это казалось преступлением. Было время, когда я считала, что в Палестине у евреев должно быть два языка — идиш и иврит. Уж там-то! Разве можно подумать о том, чтобы там обойтись без идиша? Когда деятели Поалей Цион захотели открыть отделение англоговорящих и обратились с этим ко мне, я и слышать об этом не захотела. Если люди хотят вступить в Поалей Цион, то уж они во всяком случае должны знать идиш! Конечно, потом оказалось, что я сделала бы лучше, если бы в то время приналегла на иврит, но кто мог это знать? Потом, в Палестине, я, разумеется, выучила иврит, но мой иврит никогда не был так же хорош, как мой идиш.

Мне нравилось преподавать в фолксшуле. Я люби-

ла детей, и они меня любили, и я чувствовала, что приношу пользу. По воскресеньям, если позволяла погода, мы с родителями, с некоторыми учениками и с Моррисом (если он был в это время в Милуоки) отправлялись на пикник. Мама заготавливала горы еды; мы усаживались в парке под деревьями и пели. Тогда я еще не курила и распевала всюю. Потом родители засыпали на траве, накрыв лица еврейскими газетами, издававшимися на Восточном побережье — каждую субботу они прочитывали эти газеты от доски до доски, — а мы разговаривали о жизни, свободе и стремлении к счастью до самого захода солнца. С заходом солнца мы отправлялись домой, и мама кормила нас всех ужином.

Сразу после войны, когда по Украине и Польше прокатились еврейские погромы (на Украине ответственность за них нес, в основном, известный командующий Украинской армией -- Симон Петлюра, чьи войска вырезали целые еврейские общины), я помогла организовать марш протеста на одной из главных улиц Милуоки. Еврей — владелец большого универмага — услышал о моих планах и попросил меня к нему зайти. "Я слышал, что вы собираетесь устроить демонстрацию на Вашингтон-Авеню, — сказал он. — Если вы это сделаете, то я уеду из этого города, так и знайте". Я сказала, что не возражаю, пусть уезжает, марш все равно будет проведен. Меня совершенно не беспокоило, что подумают или скажут люди, хотя он считал это с моей стороны неразумным. Евреям нечего стыдиться, сказала я, более того, я уверена, что выражая свои чувства по поводу убийств и надругательств, которым подвергаются евреи за океаном, мы заслужим уважение и сочувствие всего нашего города.

Это была очень удавшаяся манифестация. В ней приняли участие сотни людей, хотя трудно было поверить, что в Милуоки столько евреев. Меня изумило (несмотря на храбрые заявления, которые я делала владельцу универмага), что в демонстрации участвовало столько неевреев. Я смотрела в глаза людям, стоявшим вдоль

тротуаров, и чувствовала, что они поддерживают нас. В те дни марши протеста были редкостью, и нас прославили на всю Америку. Пожалуй, тут уместно будет сказать, что я лично никогда не сталкивалась в Милуоки с проявлениями антисемитизма. Хотя я и жила в еврейском районе и общалась главным образом с евреями, и в школе, и вне школы, у меня, разумеется, были и друзья-неевреи. Так было на протяжении всей моей жизни. И хотя они не были так же близки мне, как евреи, я чувствовала себя с ними совершенно свободно и непринужденно.

Думаю, что именно в день нашего марша я поняла, что нельзя больше откладывать решение о переезде в Палестину. Пора было решать, где я буду жить, как ни тяжело это мое решение будет для тех, кто был мне дороже всего. Я чувствовала, что Палестина, а не парады в Милуоки, будет единственным настоящим ответом петлюровским бандам убийц. У евреев опять должна быть их собственная страна, и я должна этому помочь не речами или сбором денежных средств, а тем, что сама буду там жить и работать.

Прежде всего я вступила в партию Поалей Цион, — это стало моим первым шагом по дороге в Палестину. В то время при Поалей Цион не было молодежной организации. По уставу, в партию принимались только люди, достигшие 18 лет. Мне было семнадцать, но меня в партии уже знали и поэтому приняли. Оставалось еще убедить Морриса поехать со мной в Палестину, потому что я и подумать не могла о том, что мы можем быть не вместе. Я знала, что даже если он согласится, нам все-таки придется подождать годик-другой, хотя бы пока мы соберем деньги на проезд; но абсолютно необходимо было, чтобы Моррис, прежде чем мы поженимся, знал, что я твердо решила жить там. Я не ставила ему ультиматума, но четко объяснила свою позицию: я очень хотела выйти за него замуж и решила окончательно, что уеду в Палестину. "Я знаю, что ты не так стремишься туда, как я, — сказала я ему, — но я прошу тебя поехать туда со мной". Моррис отвечал, что

очень меня любит, но о переезде в Палестину он хотел еще подумать и прийти к самостоятельному решению. Теперь я понимаю, что Моррис гораздо более восприимчивый и менее импульсивный, чем я, хотел отсрочки не только для того, чтобы взвесить вопрос о переезде в Палестину, но и для того, чтобы обдумать, действительно ли мы подходим друг к другу. Перед приездом в Милуоки он писал мне из Денвера: "Перестанешь ли ты когда-нибудь спрашивать себя, есть ли у твоего Морриса то единственное качество, без которого прочие ничего не стоят — а именно, упорная, непобедимая воля?" Это был вопрос из тех, которые влюбленные задают друг другу, не ожидая или не желая ответа; я никогда не сомневалась, что воля у него есть. Но Моррис был мудрее; вероятно, он почувствовал, что кое в чем мы очень непохожи, и когда-нибудь это непременно скажется.

На некоторое время мы расстались. Я бросила школу (как странно, что школа перестала казаться мне моим важнейшим делом!) и уехала в Чикаго, где меня взяли на работу в публичную библиотеку на том основании, что некоторое время я проработала в Милуоки библиотекарем. В Чикаго уже жили Шейна и Шамай со своими двумя детьми — Шамай работал там в еврейской газете. Туда же переехала и Регина; я видела их всех очень часто, хотя жила с другой подругой. Но я вовсе не чувствовала себя счастливой. Мысль о том, что придется выбирать между Моррисом и Палестиной, меня мучила. Я держалась довольно замкнуто и в свободное время работала для Поалей Цион — выступала, организовывала митинги, проводила сбор средств. Всегда находилось что-нибудь более важное, чем мои личные тревоги, и это более или менее отвлекало меня от них. Ситуация эта не слишком изменилась в последующие шесть десятилетий.

К счастью, Моррис, хотя он и не принимал Палестину безоговорочно, все-таки испытывал к ней тягу достаточно сильную, чтобы согласиться уехать со мной. Без сомнения, на его решение повлияло и то, что в но-

ябре 1917 года британское правительство объявило, что относится положительно "к созданию в Палестине национального очага для еврейского народа" и что оно и приложит все усилия, чтобы облегчить осуществление этой цели". Декларация Бальфура, — названная так потому, что ее подписал Артур Джеймс Бальфур, в то время британский министр иностранных дел — была изложена в форме письма от лорда Бальфура к лорду Ротшильду. Она появилась в то самое время, когда британские войска под командованием генерала Алленби начали отвоевывать у турок Палестину. Сионисты в 1917 году ее приветствовали, поскольку она создавала основу для еврейской республики в Палестине. Надо ли говорить, что я приняла Декларацию с восторгом? Изгнание евреев кончилось. Теперь в самом деле начнется их объединение, и мы вместе с Моррисом будем среди миллионов евреев, которые конечно же устремятся в Палестину.

На фоне этого исторического события мы и поженились — 24 декабря 1917 года, в доме моих родителей. Этому предшествовал как всегда долгий и взволнованный спор с мамой. Мы хотели простой гражданской регистрации брака, без гостей и праздничной суеты. Мы были социалисты: к традиции относились терпимо, но без ритуала свободно могли обойтись. Религиозного обряда мы не хотели и в нем не нуждались. Но мама в самых недвусмысленных выражениях сообщила мне, что гражданская свадьба ее убьет, что ей придется немедленно уехать из Милуоки и что я навлеку позор на всю семью, не говоря уже обо всем еврейской народе, если у меня не будет традиционной свадьбы. И вообще, чем это нам помешает? Мы с Моррисом сдались; и в самом деле, почему пятнадцать минут под хуппой (хуппа — свадебный балдахин) нанесут ущерб нашим принципам? Мы пригласили несколько человек, мама приготовила угощение и рабби Шейнфельд, один из настоящих еврейских ученых, живших в Милуоки, обвенчал нас. До последнего дня своей жизни мама с гордостью рассказывала про то, что рабби Шейнфельд пришел

венчать меня к нам домой, сам в своей речи пожелал нам счастья и — мало того! — он, известный строгостью своих религиозных принципов, никогда ничего не пивший и не евший в чужом доме — попробовал кусочек ее пирога. И с тех пор я часто думала, как много тот день для нее значил и как я чуть не разрушила этого своим решением просто зарегистрироваться в сити-холле.

И снова я начала новую жизнь. Пинск, Милуоки, Денвер — все это были как бы промежуточные станции. Теперь я замужняя женщина, мне скоро двадцать лет и я собираюсь уехать в ту единственную страну, в которую стремлюсь по-настоящему. Но мы не могли уехать сразу же, потому что еще продолжалась война. В доме родителей не было для нас комнаты, да и мы сами не слишком хотели жить с кем-нибудь вместе, так что мы поселились в собственной квартире. В ней мы прожили года два, из которых половину времени я провела в разъездах по партийным делам. Причина такой моей популярности была, думаю, в том, что я была молода, одинаково свободно говорила по-английски и на идиш и готова была ехать куда угодно и выступать без особенной предварительной подготовки.

Через несколько месяцев после нашей свадьбы партия решила издавать центральную газету и ко мне обратились с просьбой принять участие в распространении акций этого предприятия. Отец был вне себя. "Кто так делает? Оставлять мужа одного и самой таскаться по дорогам!" — кричал он, возмущенный, что я согласилась уехать из Милуоки больше чем на два-три дня. Но Моррис понимал, что я не могла сказать партии "нет!", и я уехала и отсутствовала несколько недель. Мне платили 15 долларов в неделю и оплачивали все мои расходы, т.е. все траты на еду, кроме десерта! За мороженое я платила сама. В то время члены партии не останавливались в гостиницах. Я ночевала у партийных товарищей, случалось даже — в одной постели с хозяйкой.

Так я доехала до Канады, и тут оказалось, что у меня нет паспорта. У Морриса еще не было тогда американского гражданства, а в те времена замужняя женщина на собственное гражданство не имела права. Тут мог бы помочь паспорт моего отца, но он так сердился на меня за то, что я уехала, что отказался мне его прислать. Я попыталась въехать в Канаду без паспорта. Разумеется, как только мы доехали до Монреаля, меня сняли с поезда, отвели в отдел иммиграции и вежливо, но настойчиво стали расспрашивать, что, собственно, я себе думаю. Мало того, что я приехала из Милуоки — города социалистов, я еще и родилась в России! Помоему, канадские власти уже решили, что поймали большевистского агента, но в конце концов мне на помощь пришел видный деятель партии Поалей Цион и меня впустили в Канаду. Я продала много акций новой газеты (она называлась "Ди Цейт" — "Время"), а когда мы переехали в Нью-Йорк, я продавала ее на улице. Но, несмотря на все мои усилия, она просуществовала недолго.

Вероятно, для Морриса были тяжелы мои долгие отлучки, но он был бесконечно терпелив и все понимал; теперь я вижу, что до некоторой степени я злоупотребляла его терпимостью. Когда я уезжала, я писала ему длинные письма, но в них говорилось главным образом о митингах, на которых я выступала или собиралась выступать, о ситуации в Палестине, о положении в партии, а не о нас и наших отношениях. Моррис во время моих отъездов утешался тем, что старался превратить нашу крошечную квартиру в Милуоки в настоящий семейный очаг. Он вырезал и обрамлял картинки из журналов, чтобы стены выглядели веселее. И хотя денег у нас не было и он часто сидел без работы (когда ему удавалось, он зарабатывал тем, что расписывал вывески), в доме меня всегда ждали цветы. Во время моих поездок он читал, слушал музыку, помогал Кларе справляться с бурями и горестями юности. Они гуляли вдвоем, Моррис водил ее в театр и в концерты. Только он из всей семьи уделял ей время, и

она его обожала и рассказывала ему все свои секреты.

Зимой 1918 года Американский Еврейский Конгресс провел свою первую сессию в Филадельфии. Главной задачей было выработать (для предъявления на Версальской мирной конференции) программу защиты гражданских прав евреев Европы. В делегацию Милуоки, к моему изумлению и восторгу, была избрана и я. Это оказалось великолепным стимулом; до сих пор помню, как горда я была, что меня выбрали представлять нашу общину и что я чувствовала, сидя с другими делегатами в слишком жарко натопленном поезде, который вез нас в Филадельфию. Я была (как и всегда в то время) самая молодая в нашей группе и все меня по-своему баловали, пока дело не доходило до распределения должностей. Когда теперь журналисты спрашивают меня, когда, собственно, началась моя политическая карьера, мысль моя всегда возвращается к тому первому съезду, к тому прокуренному залу в филадельфийском отеле, где я сидела долгие часы, совершенно поглощенная обсуждением деталей программы, возбужденными дебатами и тем, что имею тут право голоса. "Говорю тебе, тут были моменты такой высоты, что после них человек мог умереть счастливым", — восторженно писала я Моррису.

Шейна писала мне из Чикаго менее встревоженные письма, предупреждая, что я слишком увлекаюсь общественными делами, в ущерб личным. "Когда речь идет о личном счастье, держи его, Голди, держи его покрепче, — взволнованно писала она. — Единственное, чего я тебе желаю от всего сердца — не старайся быть тем, чем ты должна быть, будь просто сама собой. Если бы каждый был просто тем, что он есть, наш мир был бы гораздо лучше". Но я была уверена, что могу все совместить, и уверяла Морриса, что когда, наконец, мы переедем в Палестину, я больше не буду бесконечно разъезжать.

Зимой 1920 года стало похоже, что мы вскоре сможем уехать. Мы сняли квартиру в Нью-Йорке в районе Морнингсайд Хайтс и начали готовиться к путеше-

вию. С нами вместе поселилась Регина, Йосл Копелев и Мэнсоны — супружеская пара из Канады, которая в результате в Палестину не поехала. Ранней весной мы купили билеты на пароход "Покаонтас" и начали избавляться от нашего небогатого имущества, которое, как мы считали, не понадобится для пионерской жизни в Палестине. О Палестине, несмотря на то, что мы о ней так много читали и слышали, наши представления были довольно примитивны: мы собирались жить в палатках, поэтому я весело распродала всю нашу мебель, занавески, утюг, даже меховой воротник старого зимнего пальто (к чему в Палестине зимние вещи!). Единственное, что мы единодушно согласились взять с собой, был патефон и пластинки. Патефон заводился ручкой — так что им можно было пользоваться и в палатке — и мы по крайней мере сможем слушать музыку в пустыне, куда мы держали путь. По той же причине я запаслась большим количеством одеял: если придется спать на земле, то мы во всяком случае будем к этому готовы.

Потом мы начали прощаться. По дороге в Милуоки, где нам предстояло распрощаться с родителями и Кларой, мы остановились в Чикаго, где жили Шейна и Шамай. Я немножко боялась предстоящей встречи, зная, что Шейна не одобряет, в сущности, наш отъезд в Палестину (в одном из своих последних писем она спрашивала: "Голди, не кажется ли тебе, что идеалисту есть что делать, и не выезжая отсюда?"). Мы сидели в их крошечной гостиной, вместе с их детьми, десятилетней Юдит и трехлетним Хаимом, и разговаривали о пароходе и о том, что мы берем с собой. Шейна слушала с таким вниманием, что Шамай с улыбкой спросил: "Может, и ты хотела бы уехать?" К моему изумлению — и, вероятно, к своему тоже — Шейна ответила: "Да, хотела бы". Нам показалось было, что она шутит, но нет, она была абсолютно серьезна. Раз уж мы уезжали, потому что считали это необходимым для себя, значит и ей тоже необходимо это сделать. Более того, она сказала, что если Шамай согласится остаться пока в Аме-

рике, чтобы присылать им деньги на жизнь, она хотела бы взять с собой и детей.

В каком-то смысле надо признать, что Шейнино внезапное заявление было не совсем неожиданным. Она с самой юности была сионисткой; она всей душой была предана нашему делу, хотя и была в некоторых вопросах осмотрительнее, чем я. Конечно, я не знаю, что именно ее подтолкнуло, но мне хочется лишний раз напомнить, что и Моррис, и Шейна отправились в Палестину не в качестве сопровождающих меня лиц. Оба они поехали туда, потому что пришли к заключению, что в Палестине их истинное место.

Шамай принял решение жены с любовным участием — и, может быть, это лучше всего характеризует и Шейну, и их брак. Конечно же, он очень старался ее отговорить. Он убеждал ее подождать, пока они смогут поехать все вместе; он говорил, что она выбрала самое неудачное время, чтобы везти туда детей — потому что после целого ряда нападений на еврейские поселения на севере, 1 мая 1921 года, во всей стране вспыхнули антиеврейские беспорядки. Более сорока человек, многие из которых только что приехали, было убито или покалечено. За год перед тем в Старом городе в Иерусалиме шайки арабов убивали еврейских поселенцев; надеялись, что британская гражданская администрация, сменившая в это время военную, сурово поступит с виновниками и наведет порядок; вместо этого поднялась новая волна насилий. Вот через несколько лет, говорил Шамай, когда арабские националисты уже не смогут подстрекать арабских крестьян к кровопролитию, когда в Палестине наступит мир — тогда в этой стране можно будет жить. Но однажды приняв решение, Шейна оставалась непоколебимой и продолжала спокойно укладываться даже когда узнала, что во время беспорядков погиб еврей из Милуоки.

В Милуоки мы простились с родителями и Кларой. Нелегкое это было прощанье, хотя мы не сомневались, что как только Клара закончит университет в Висконсине, все они приедут к нам в Палестину. Мне было

бесконечно жаль моих родителей, когда я целовала их на вокзале. Особенно я жалела отца: сильный человек, умевший переносить боль, стоял и плакал, и слезы текли по его щекам. А мама, которая, наверное, вспомнила собственное путешествие через океан, казалась такой маленькой, такой ушедшей в себя...

Кончалась американская глава моей жизни. Мне пришлось возвращаться в Штаты и в хорошие, и в дурные времена, иной раз приходилось даже проводить там месяц за месяцем. Но никогда больше Америка не была моим домом. Много я увезла с собой оттуда в Палестину, может быть, даже больше, чем я могу выразить: понимание, что значит для человека свобода, осознание возможностей, какие предоставляет индивидууму истинная демократия — и вечная тоска по красоте американского сельского пейзажа. Я любила Америку и всегда радовалась, возвращаясь туда. Но ни разу за все последующие годы не ощутила я тоски по родине, ни разу не пожалела, что покинула Америку ради Палестины. Я уверена, что и Шейна могла бы сказать о себе то же самое. Но в то утро на вокзале я думала, что никогда не вернусь, и с грустью расставалась с друзьями моей юности, заверяя, что буду писать, поддерживать связь.

О нашем путешествии в Палестину на борту несчастного парохода "Покаонтас" можно было бы написать целую книгу. Он был обречен изначально. Все, что могло испортиться, испортилось — чудом было то, что мы все это пережили и остались живы. Судно никуда не годилось, почему команда и забастовала еще прежде, чем мы на него взойшли. На следующий день, 23 мая 1921 года мы пустились в путь — но ненадолго. Едва мы отчалили — предполагалось, что все починки сделаны, — команда стала бунтовать, вымещая свое недовольство пароходной компанией на бедных пассажирах. Моряки не только подмешивали морскую воду к нашей питьевой, не только посыпали солью нашу еду, но умудрились так перепортить машины, что пароход угрожающе кренился, а иногда и вовсе останавливался.

Плавание от Нью-Йорка до Бостона заняло целую неделю; еще девять дней нам пришлось ждать, когда возможно будет возобновить наше утомительное путешествие. В Бостоне нас на корабле посетила делегация Поалей Цион; они принесли гостинцы и сказали несколько речей, в которых приветствовали нас, своих героических товарищей. Трое из нашей группы, в начале насчитывавшей двадцать два человека, оказались однако, хотя их и можно понять, не такими уж героями: пожилая пара и молоденькая новобрачная в Бостоне сошли с корабля. Шейна получила от Шама отчаянную телеграмму: он умолял ее высадиться тоже. Стоит ли говорить, что она и не подумала это сделать?

Но вот, наконец, мы снова отчалили. Плавание через океан превратилось в кошмар. Мятеж не кончился — он только притих; ежедневно обрывалась подача энергии, ежедневно мы получали соленую воду для питья и отвратительную пищу. У Понтэ Дельгадо, на Азорских островах, выяснилось: пароход в таком плохом состоянии, что требуется еще неделя на ремонтные работы. Четыре члена команды сошли на берег, похваливаясь, что потопят "Покаонтас" прежде, чем он достигнет до Неаполя; когда об этом узнал капитан, он заковал их в кандалы. Мы же старались использовать эту неделю для отдыха, что было нелегко. Я гуляла по прелестному портовому городу, наслаждаясь мягкой погодой и восхищаясь непривычными видами. Во время этой нашей вынужденной стоянки произошла забавная вещь: мы открыли крошечную (человек в тридцать) сефардскую еврейскую общину, чрезвычайно строго придерживавшуюся еврейских обычаев. Их раввин за несколько лет перед тем умер, и община, как когда-то мой дед, так боялась нарушить законы кашрута, что предпочла навсегда отказаться от мяса. Когда мы отплыли от Азорских островов, мы уже месяц находились в пути и с ужасом предвкушали предстоящее плавание. Полумятеж продолжался; пароходный холодильник разбили вдребезги, благодаря чему нам приходилось довольствоваться три раза в день рисом и

соленым чаем. Но скучного однообразия не было: одна трагедия сменяла другую. Сначала умер пассажир, и поскольку на "Покаонтас" не работали холодильные установки, тело его было просто брошено за борт; затем брат капитана, тоже плывший с нами, впал в буйное сумасшествие и его пришлось заковать и запереть в каюте; наконец, перед самым прибытием в Неаполь, капитан, законно впавший в депрессию, покончил с собой, хотя кое-кто говорил, что его убили.

О положении дел на "Покаонтас" стало известно на суше, и среди наших друзей в Нью-Йорке и Бостоне распространился слух, что мы все пошли ко дну вместе с кораблем. Но из Неаполя мы уже смогли написать домой, что мы более или менее в порядке. Мы провели там пять дней, улаживая неизбежные затруднения с паспортами, покупая керосиновые лампы и еду, а также отыскивая свой бесследно исчезнувший багаж. Наконец, мы сели в поезд, шедший в Бриндизи.

Там мы встретились с группой членов Поалей Цион из Литвы, которые уже дважды добирались до Палестины, но каждый раз их отправляли обратно. Теперь они собирались в третий раз попытаться проникнуть в страну. Мы никогда прежде не встречали настоящих "халуцим" нашего возраста, и они произвели на нас сильное впечатление. Мне они напомнили людей типа Бен-Цви и Бен-Гуриона, хотя и были гораздо моложе. Какими опытными и твердыми они были по сравнению с нами, какими уверенными в себе казались! В Европе они работали на учебных фермах, основанных сионистами: было ясно, что они не без основания считают себя гораздо выше нас. Они, не скрывая, считали нас "мягкотелыми" избалованными иммигрантами-буржуйчиками из Соединенных Штатов, которые через пару недель из Палестины удерут. И хотя нам предстояло плыть на одном корабле, они, собиравшиеся ехать как палубные пассажиры, не желали иметь с нами ничего общего. Я не могла оторвать от них глаз: именно такими, как они, я хотела, я мечтала быть — суровой, решительной, беззаветно преданной делу. Я безгранич-

но восхищалась ими, я им завидовала, я хотела, чтобы они признали нас товарищами — но они продолжали смотреть на нас сверху вниз.

Наше впечатление от них описал Йосл в письме к Шамаю. "Настоящие Геркулесы, — писал он, — которые готовятся построить справедливую страну собственным горбом. Не только страну, но и язык... Великолепный человеческий материал, любой народ гордился бы им".

Когда мы взойшли на пароход, который должен был доставить нас в Александрию, я предложила своим отказаться от "роскошных" кают и устроиться на палубе вместе с молодыми литовцами. Это не показалось им особенно соблазнительным, тем более, что палубные пассажиры не имели права на горячую пищу, а мы уже давно мечтали о приличной еде. Но я настаивала: наш долг, как будущих пионеров, — не откладывая в долгий ящик, разделить образ жизни наших товарищескионистов; уже здесь, на пароходе, мы должны своим поведением доказать свою искренность и готовность переносить трудности. "Давайте организуем палубную кухню", — предложила я и добавила, что, вероятно, можно договориться и о ночлеге под крышей для детей. Несмотря на их сопротивление, мне удалось убедить своих друзей, и литовцы чуть-чуть оттаяли. С помощью нескольких долларов нам удалось получить разрешение старшего официанта, чтобы дети ели в столовой — после всех, конечно, — и мы даже нашли пустые каюты, где они смогли спать (все, кроме Шейниной дочери, которую мне удалось, с помощью главного стюарда, устроить на ночлег на кушетке в салоне; правда, ей надо было освобождать кушетку в пять утра). И на палубе преграды между нашей группой и литовцами рухнули, наконец. Мы рассказали им о жизни в Америке, они нам о том, как им жилось в Восточной Европе, на небе появились звезды, мы стали петь песни на иврите и на идиш, а потом все вместе танцевали хору.

Но неудачи по-прежнему нас преследовали. В Алек-

сандрии на борт поднялись египетские полицейские; они искали супругов Рапапорт, которых называли "презренными коммунистами". В нашей группе были супруги Рапапорт, но, разумеется, не те. Однако же их сняли с парохода и допрашивали несколько часов. Это происшествие нас испугало и огорчило. Когда, наконец, Рапапорты вернулись, мы решили ехать дальше поездом. Мы попрощались с литовцами и отправились на вокзал, чтобы ехать в Эль Кантару. По дороге на вокзал мы впервые увидели Ближний Восток, и с самой худшей его стороны: нищие, толпы нищих — мужчины, женщины, дети — в грязных лохмотьях, покрытые мухами. Я тут же вспомнила нищих, которых так боялась в Пинске и поняла, что если кто-нибудь из них меня тронет, я закричу, хоть я и будущий пионер. Каким-то образом мы продрались через эту толпу и сели в поезд. Теперь мы уже так привыкли к мелким неприятностям, что нас даже не удивила окружающая нас невиданная грязь. Жара была невыносимая, воды было не достать — но мы зато понимали, что наше путешествие близится к концу. В конце концов поезд все-таки вышел из Александрии, мы снова были в пути, хоть и грязные и усталые, но все еще способные с воодушевлением петь о нашем "Возвращении к Сиону".

Глубокой ночью, покрытые пылью, мы добрались до Эль Кантары и пересели в другой поезд. Пересадка заняла несколько часов: иммиграционные чиновники, которых мы в конце концов отыскивали, вовсе не торопились проделать необходимые формальности и понять не могли, отчего мы в таком дурном настроении. Помню, как я кипятилась, препираясь с одним из них на темном перроне — и все без толку. Но перед рассветом мы устало вскарабкались в свой последний поезд, который, сотрясаясь и спотыкаясь, сквозь песчаную бурю, бушевавшую на Синайском полуострове, все-таки привез нас в Палестину. И когда с Шейниным ребенком на коленях я сидела на жесткой вагонной скамейке, я впервые с тех пор, что мы выехали из Милуоки, усомнилась: доберемся ли мы когда-нибудь до Яфо.

4. НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ

Хотя в то жгучее июльское утро, когда я впервые его увидела сквозь грязное окно кантарского поезда, Тель-Авив и показался мне большой и не слишком красивой деревней, он уже был на пути к тому, чтобы стать самым юным городом мира и гордостью ишува. Не знаю, чего я ожидала — но во всяком случае не того, что увидела.

В сущности, я, да и мы все, знали к тому времени о Тель-Авиве только то, что он был основан в 1909 году шестьюдесятью оптимистически настроенными еврейскими семьями. Кое-кто из них даже осмеливался предсказывать, что когда-нибудь в их дачном предместье, построенном на окраине арабского Яфо, будет 25 тысяч жителей. Но никому из них и не снилось, что всего через пятьдесят лет Тель-Авив станет большим городом, в котором еле будет хватать жилья для более чем четырехсоттысячного населения, а в 1948 году станет первой, временной столицей еврейского государства.

Во время войны турки выслали из Тель-Авива все его население. Но к тому времени, как мы приехали, там опять уже жило 15 000 человек, и начался настоящий строительный бум. Некоторые части города, как я впоследствии для себя открыла, были и в самом деле очень красивы: ряды чистеньких домиков — каждый с собственным садом — выстроились на мощеных улицах, обсаженных деревьями — казуарией и перечными, а вдоль улицы тянулись караваны ослов и верблюдов, груженных мешками с песком, который брали с морского берега для строительства. Но иные районы каза-

лись — и были — построенными без всякого плана, незаконченными и ужасающе запущенными. После майских беспорядков 1921 года Тель-Авив запрудили еврейские беженцы из Яфо, и когда мы приехали — это случилось всего через несколько недель — несколько сот беженцев все еще жили в жалких хибарах и даже в палатках.

Население Тель-Авива в 1921 году частью состояло из тех, кто прибыл в Палестину с третьей волной сионистской иммиграции, в основном из Литвы, Польши и России; они известны под именем "Третья Алия". Другую часть составляли "старики", которые находились тут с самого начала. И хотя некоторые из новых иммигрантов сами себя называли "капиталистами" — го были купцы и торговцы, открывавшие маленькие фабрики и лавки — подавляющее большинство состояло из рабочих. За год перед тем была создана Всеобщая федерация еврейских трудящихся (Гистадрут) и через двенадцать месяцев она уже насчитывала более 4000 членов.

Тель-Авив, хоть ему было всего двенадцать лет, быстро двигался к самоуправлению. Как раз в это время британские власти дали разрешение Тель-Авиву собирать налоги за дома и фабрики, а также иметь собственную систему водоснабжения. Тюрьмы, правда, он еще не имел — много лет прошло, пока появилась тюрьма, но зато у него была собственная, чисто еврейская полиция в количестве двадцати пяти человек, которой все чрезвычайно гордились. Главная улица (названная именем Теодора Герцля) была с одного конца украшена Герцлийской гимназией — первым и импозантнейшим зданием города. Было еще несколько улиц, и маленький "деловой центр", и водокачка, у подножия которой собиралась тогда молодежь. Городской транспорт представляли собой маленькие автобусы и повозки, запряженные лошадьми, а мэр Тель-Авива Меир Дизенгоф, ездил по городу верхом на великокопной белой лошади.

В 21 году культурная жизнь уже была в Тель-Авиве

ключом; множество писателей селилось в городе, и среди них был великий еврейский философ и писатель Ахад-ха-Ам и поэт Хаим Нахман Бялик. Уже функционировала состоявшаяся из рабочих театральная группа "Огель" ("Палатка") и несколько кафе, где каждый день и каждый вечер живо обсуждались вопросы политики и культуры. Но мы, высадившиеся, наконец, на крошечной городской станции, ничего этого не видели — ни культурной жизни, ни скрытых возможностей города. Трудно было выбрать более неудачное время для приезда; все нас слепило — воздух, песок, белая штукатурка домов; все пылало на полуденном солнце, и мы совсем увяли, когда, оглядев пустую платформу, поняли, что никто нас не встречает, хоть мы и написали в Тель-Авив нашим друзьям (эмигрировавшим в Палестину два года назад), когда нас следует ожидать. Потом мы узнали, что в этот самый день они отправились в Иерусалим завершить формальности, связанные с отъездом из страны. Это еще усугубило то состояние растерянности и неуверенности, в котором мы находились.

Как бы то ни было, теперь, после своего ужасного путешествия, мы, наконец, уже были в Тель-Авиве. Мечта сбылась. И станция, и дома, которые мы различали вдаль, и даже глубокие пески, окружавшие нас, все были частью еврейского национального очага. Но нелегко было вспомнить, зачем, собственно, мы приехали, стоя под жгучим солнцем и не зная, куда идти, куда повернуться. Кто-то, может быть Йосл, даже выразил наши чувства словами. Он повернулся ко мне и сказал, то ли в шутку, то ли всерьез: "Ну, Голди, ты хотела в Эрец-Исраэль. Вот мы и приехали. А теперь можем ехать обратно — с нас хватит". Я не помню, кто это сказал, но помню, что я не улыбнулась.

Неожиданно к нам подошел мужчина и представился на идиш: господин Бараш, владелец близлежащей гостиницы. Может быть, он может нам помочь? Он кликнул повозку, и мы с благодарностью взвалили на нее свои вещи. Повозка двинулась, мы устало потяну-

лись за ней, прикидывая, далеко ли мы уйдем по этой страшной жаре. Сразу за вокзалом я увидела дерево. Оно, по американским понятиям, было не слишком высокое, но все-таки это было первое дерево, которое я в тот день увидела. И подумала, что оно — символ молодого города, чудом поднявшегося из песков.

В гостинице мы поели, напились и выкупались. Комнаты были большие и светлые, господин и госпожа Бараш — очень гостеприимные. Мы повеселели. Решили не распаковывать вещей и не строить никаких планов, пока не отдохнем. И тут, к своему ужасу, мы увидели на постелях следы клопов. Господин Бараш с негодованием отверг обвинение: "Мухи — возможно, — сказал он, — но клопы? Никогда!" Когда белье сменили, Шейна, Регина и я уже вовсе не хотели спать; остаток нашего первого дня в Тель-Авиве мы провели, уверяя друг друга, что нам предстоят проблемы посерьезнее, чем клопы.

Рано утром Шейна вызвалась сходить на рынок за фруктами для детей. Вернулась она очень скоро, сильно приунывшая. "Все, все покрыто мухами, — сказала она, — не достать ни бумаги, ни бумажных мешков; все до того примитивно; и солнце, солнце, которого просто нельзя выдержать!" Никогда я прежде не слышала, чтобы Шейна на что-нибудь жаловалась; теперь я призадумалась, сможем ли мы с ней привыкнуть к нашей новой жизни. Очень хорошо было рассуждать в Милуоки о пионерстве, но может быть мы и в самом деле неспособны справиться с незначительными неудобствами, и литовцы были правы, считая нас слишком мягкотелыми для этой страны? Чувство неловкости и вины за собственную слабость — не говоря уже о том, как нервировала меня реакция Морриса на наши неудачи — я испытывала всю нашу первую неделю в Тель-Авиве. Может, если бы мы приехали осенью, или поселились поближе к морю с его бризами, все прошло бы легче. Но мы почти все время страдали от жары, усталости и упадка духа.

В довершение всего, вернулись из Иерусалима наши

друзья и пригласили нас на субботний ужин. Мало того, что они бесконечно распространялись обо всех трудностях, которые нас ожидают — они подали котлеты, пахнувшие мылом, которых никто из нас не мог в рот взять. Все были сконфужены. Когда удалось успокоить вопящих детей, выяснилось, что в бесценный фарш упал кусок мыла. Но от объяснения мясо не стало более съедобным, и мы возвратились в гостиницу господина Бараша, чувствуя тошноту и подавленность.

Через несколько дней стало ясно, что оставаться в гостинице господина Бараша не имеет смысла. Раньше или позже мы должны были пустить корни, как то дерево у вокзала; к тому же деньги наши уходили. Хоть мы и приехали из Америки, средства наши были очень ограничены — несмотря на то, что в это, по-видимому, никто не хотел верить. Тем летом в Тель-Авиве я встретила с женщиной, которая обняла меня, поцеловала и сказала, со слезами на глазах: "Слава Богу, что вы, миллионеры, приехали к нам из Америки. Теперь все у нас пойдет хорошо".

Мы планировали провести в Тель-Авиве неделю-другую, а потом вступить в киббуц. Еще в Милуоки мы выбрали киббуц, в который будем предлагать кандидатуру. Но в Тель-Авиве нам сказали, что надо ждать конца лета: тогда только можно будет подавать заявления по всей форме. И так, вместо того, чтобы сразу отправиться на завоевание земли, мы пустились на куда менее героическое предприятие: завоевание квартирохозяев. Но и это было непростым делом. Квартир было мало, цены на них колоссальные, а нам нужно было помещение, куда можно было бы поставить по крайней мере семь кроватей. Мы разбились на группы и начали лихорадочно носиться по городу в поисках жилья. Через несколько дней мы нашли двухкомнатную квартиру в конце немощенной улицы Неве Цедек; это была самая старая часть города, основанная на границе Яфо еще раньше, чем Тель-Авив. Там не было ни электричества, ни ванной, ни уборной: "удобства", которыми пользовалось еще человек сорок, помеща-

лись во дворе. Но там была кухонька, и квартплату с нас попросили только за три месяца вперед, несмотря на то, что мы приехали из Штатов и конечно считались богачами.

Мы въехали туда без особого энтузиазма, но с большим чувством облегчения, и начали организовывать свой быт. Мы заняли у знакомых простыни, горшки и сковородки, вилки, ложки и ножи, и Шейна взялась вести наше общее хозяйство; готовила она на примусе (род керосиновой плитки), который то и дело с шумом взрывался. Регина устроилась в контору машинисткой; Йосл поступил в парикмахерскую; Морриса взяли чем-то вроде библиотекаря в британское управление общественных работ в Лидде; я стала давать частные уроки английского. Мне, правда, предложили преподавать в средней школе, но так как мы собирались в самом скором времени вступить в киббуц, то я решила не связывать себя постоянной работой. Однако большинство встречавшихся с нами в Тель-Авиве людей считало преподавание слишком интеллектуальным занятием для будущего халуца, и мне каждый раз приходилось объяснять, что это только временно и что не за тем я приехала в Палестину, чтобы распространять американскую культуру.

В общем, мы справлялись неплохо, хотя понадобилось немало времени, чтобы соседи привыкли к нашим странным американским обычаям. Мы, например, вставили в окна сетки от мух. Все ставили на окна сетки, чтобы в комнаты не лезли бродячие кошки, которых в городе было полно, но мухи? Подумаешь, важность — мухи! Разве без мух тут проживешь? Но мы хотели сделать квартиру пригодной для жилья, и в общем нам это удалось. Когда из Неаполя пришли наши сундуки, мы превратили их в диваны и столы. Моррис расписал голые стены, мы украсили комнаты покрывалами и занавесками. Но, конечно, самым дорогим нашим достоянием был патефон с пластинками, и постепенно люди стали заходить к нам по вечерам выпить чаю и послушать музыку.

Меня часто тянуло рассказать новым репатриантам, как хорошо я понимаю их трудности и каково было мне, когда я впервые приехала в Палестину, но на горьком опыте я убедилась, что люди считают все это пропагандой, или, того пуще, проповедью, а чаще всего вообще не желают слушать. Но факт остается фактом: мы сами пробивали себе дорогу в стране, которую избрали. Не было еще ни государства Израиль, ни министерства абсорбции, ни Еврейского Агентства. Никто не помогал нам устраиваться, или изучать иврит, или найти жилище. Мы все для себя должны были делать сами, и нам и в голову не приходило, что кто-нибудь морально обязан нам помогать. Не хочу сказать, что мы были "выше", чем те репатрианты, которые приезжают в Израиль сегодня, и никаких сентиментальных чувств я не испытываю по поводу тех величайших — и в значительной части совершенно необязательных — неудобств, которые мы претерпели шестьдесят лет назад и к которым оказались так печально неподготовленными. Но теперь, глядя назад, я совершенно убеждена, что мы так быстро акклиматизировались в Палестине потому, что, во-первых, всегда помнили о цели своего приезда, а, во-вторых, не забывали, что никто нас туда не приглашал и никто нам ничего не обещал. Мы знали, что от каждого из нас зависит сделать свою жизнь в Палестине легче, или лучше, или значительнее, и что для нас возможно только одно решение: устраивать свою жизнь здесь, и как можно скорее.

Это первое лето и вообще-то было нелегким, а тут еще у сына Шейны, Хаима, началась глазная болезнь, а у Юдит кишечное заболевание, державшееся несколько недель. И все-таки, насколько мне известно, никто из нас не думал серьезно о том, чтобы покинуть страну. И по мере того, как проходили недели, мы стали ощущать себя ее частью. Конечно, мы писали родителям и друзьям очень осторожно и несколько лакировали самые неприятные обстоятельства нашей жизни. Но письмо, которое я написала Шамаю через шесть недель

после приезда в Палестину, до некоторой степени отражает наши чувства:

”О возвращении толкуют те, кто недавно приехал. Старый труженик преисполнен веры и кипуч духом. И пока те, кто создал то небольшое, что здесь есть, остаются тут, я не могу уехать, а ты должен приехать. Я не сказала бы этого, если бы не знала, что ты готов к тяжелой работе. Правда, тут нелегко найти и тяжелую работу, но у меня нет сомнений, что ты что-нибудь найдешь. Конечно, это не Америка, и человек должен быть готов к тому, что материально ему придется трудно. И арабские волнения тоже могут повториться. Но если человек хочет иметь собственную страну и хочет этого всем сердцем, он должен быть готов ко всему этому. Когда ты приедешь, мы, я уверена, сможем составить план... Ждать нечего”.

То, что я так чувствовала, — по-моему, естественно. В конце концов мне было немногим более двадцати лет, я делала именно то, что хотела, физически я чувствовала себя хорошо, энергии было хоть отбавляй и со мной были самые дорогие для меня люди — муж, сестра, лучшая подруга. У меня не было детей и связанных с этим тревог, и мне наплевать было, есть у нас ледник или нет, и не поражало, что мясник заворачивает наше мясо в кусок газеты, который он подобрал с пола. Все эти мелкие неприятности возмещались, ну, хотя бы тем, что идя в первый свой предсубботный вечер по тель-авивской улице я чувствовала, что нет для меня в жизни большей радости, чем находиться здесь — в единственном чисто еврейском городе, какой есть в мире, где все, от шофера до нашей квартирной хозяйки разделяют со мной в глубочайшем смысле этого слова, не только общее прошлое, но и цели на будущее. Все эти люди, спешащие домой с цветами в руках справлять субботу, были мои братья и сестры, и я знала, что мы с ними связаны до конца жизни. Хоть мы и приехали в Палестину из разных стран с разной культурой, хоть зачастую мы и говорим на разных языках, мы все одинаково верим, что только здесь

евреи могут жить по праву, и не потому, что их терпят, и только здесь евреи будут хозяевами — а не жертвами — своей судьбы. Потому и неудивительно, что, несмотря на все вспышки раздражения и неутрашенные вопросы, я была счастлива.

Но когда я вспоминаю, как Шейна справлялась со всем и со всеми, даже не заикаясь о том, что на нее навалили слишком много, — а ведь ее дети болели, и Шамай был так далеко, и почта работала из рук вон плохо, так что его письма к ней шли месяцами; когда вспоминаю, как держался Моррис, который и поехал-то в Палестину не без колебаний, а тут еще его книги, которыми он так дорожил, пришли в изорванном и подмоченном виде; когда я вспоминаю об этом, я вновь испытываю восхищение ими и размышляю, сумела ли бы я быть так же тверда на их месте. Конечно, и тогда были новички, вроде тех, что должны были нас встретить, которые не смогли принять то, что увидели, и уехали, — как и теперь, некоторые не принимают и уезжают. Я всегда их жалела, потому что теряли на этом деле, в сущности, они.

В сентябре мы подали заявление в киббуц Мерхавия в Изреельской долине, которую мы называем "Эмек". Мы выбрали этот киббуц, как часто бывает, по случайным причинам: там находился наш с Моррисом друг, прибывший в Палестину с Еврейским легионом. О самой Мерхавии мы знали очень мало — да и вообще о киббуцах мы знали только то, что это поселения: где фермеры живут сообща, не имея личной собственности, наемной рабочей силы и частной торговли, что коллектив целиком отвечает и за производство, и за обслуживание, и за индивидуальное снабжение. Но оба мы верили — я без всяких сомнений, Моррис с оглядкой, — что жизнь в киббуце больше всего поможет каждому из нас выявить себя как сиониста, как еврея и как человека.

Может быть, здесь следует вкратце рассказать об Эмеке, потому что борьба за его развитие является неотъемлемой частью всего сионистского движения.

Когда закончилась Первая мировая война, и Лига Наций вручила Великобритании мандат на управление Палестиной, надежды, порожденные Декларацией Бальфура на создание Еврейского национального очага в полном смысле этого слова, казалось, были на пути к осуществлению. Но еще в 1901 году сионистское движение создало Еврейский Национальный Фонд, с целью покупать и возделывать землю Палестины для всего еврейского народа. Много принадлежащей евреям земли в Палестине купил "народ" — булочники, портные, плотники из Пинска, Берлина и Милуоки. С детских лет я помню синюю жестяную копилку, что стояла у нас в гостиной рядом с субботними свечами, в которую не только мы, но и наши гости еженедельно опускали монеты; такая синяя копилка имела в каждом еврейском доме, где мы бывали. И на эти-то монеты еврейский народ начал с 1904 года покупать обширные участки Палестинской земли.

Честно говоря, мне здорово надоело слышать о том, как евреи "украли" у арабов землю в Палестине. Дело обстояло совершенно иначе. Много полновесной монеты перешло из рук в руки, и много арабов стало очень богатыми людьми. Конечно, были и другие организации и частные лица, скупавшие участки. Но к 1947 году только Еврейскому Национальному Фонду — т.е. миллионам тех самых синих копилок — принадлежало больше половины всех еврейских землевладений в стране. Так что пусть хоть с этой клеветой будет покончено.

В то время, когда мы приехали в Палестину, землю в Эмек скупали довольно широко, хотя земля эта в большой своей части представляла черные малярийные болота, распространявшие малярию и черную лихорадку. Но важно было то, что эту зачумленную землю можно было купить, хоть и недешево. Кстати, немалый кусок ее Еврейский Национальный Фонд купил у богатой арабской семьи, проживавшей в Бейруте.

Затем надо было сделать эту землю пригодной для обработки. Разумеется, и это в природе вещей, ферме-

ры-частники не заинтересовались, да и не могли заинтересоваться проектом, сулившим хоть какую-то выгоду только через годы каторжного и опасного труда. Только высокоидейные халуцим, как наши Поалей Цион, готовые взять землю, несмотря на все предстоящие трудности и жертвы, могли взяться за осушение эмекских болот. Мало того — они собирались делать это сами, а не руками наемных арабских рабочих под наблюдением еврейских управляющих. Таковы были эти первые поселенцы в Мерхавии, и многие из них дожили до того времени, когда Эмек стал самой плодородной и красивой долиной Израиля с ее цветущими деревнями и киббуцами.

Мерхавия (в переводе — "Божьи просторы") — один из первых киббуцов, основанных в Эмеке. В 1911 году группа молодых людей из Европы устроила тут ферму, но еле-еле справлялась с ней. Когда в 1914 году разразилась война, соединенные усилия малярии, враждебно настроенных соседей-арабов и турецких властей, уговаривавших покинуть это место, сделали свое дело: первая группа не устояла и рассеялась. После войны новое поселение было основано на том же месте, опять-таки пионерами из Европы, к которым присоединились британские и американские ветераны Еврейского легиона (а позже — и мы с Моррисом). Но и эта группа распалась. В 1929 году на то же место пришла третья группа поселенцев, и на этот раз группа выполнила свою задачу и осталась на месте.

Нам так хотелось вступить именно в Мерхавию, мы так торопились подать свои заявления — и каково же было наше изумление, когда мы просто-напросто получили отказ, совершенно, по-моему, необоснованный. Собственно, вначале никто даже объяснить нам не хотел, почему нас отвергли; однако я настаивала, я хотела знать правду и наконец мне очень неохотно назвали два препятствия. Первое — киббуц не хотел еще принимать супружеские пары, потому что дети — роскошь, которую не может позволить себе новое поселение. И второе, которое я отвергла с порога: кол-

лектив, состоявший из семи женщин и тридцати мужчин не допускал мысли, что "американская" девушка сможет или захочет выполнять все необходимые тяжелые работы. Они, понятное дело, считали себя экспертами во всем американском, в том числе и в вопросе о характере и способностях "американских" девушек, вроде меня. Особенно возражали некоторые из девушек-членов киббуца: они уже были в Палестине ветеранами и немало наслушались от экспертов-мужчин об американских девушках. Мне показалось, что я опять среди литовцев и должна доказать им, что не боюсь тяжелой работы, хоть и жила в Соединенных Штатах. Я яростно спорила: они не имеют права делать такие прогнозы, справедливо было бы дать нам испытательный срок, чтобы мы им показали, на что способны. Помню, лично против меня аргументировали тем, что в Тель-Авиве я предпочла давать уроки английского, чем заняться физической работой. Одно это должно было показать, как я "избалована".

Мы победили. Нас пригласили в Мерхавию на несколько дней, чтобы члены киббуца на нас посмотрели и сделали бы свои выводы на месте. Я была уверена, что в конце концов они позволят нам остаться — и так оно и произошло. Наша тель-авивская "коммуна" стала распадаться: Регина устроилась на другую работу, Йосл тоже переехал. В квартире оставалась только Шейна с детьми. Жарким сентябрьским вечером я радостно укладывала вещи, чтобы ехать в Мерхавию, когда мне вдруг пришло в голову, что, собственно говоря, мы бросаем Шейну одну, в квартире, которую она не в состоянии оплачивать в одиночку, с больными детьми и без Шамайя, который все еще был за тысячи миль отсюда. Тогда я спросила, не хочет ли она, чтобы мы еще немного задержались в Тель-Авиве, но она и слышать об этом не захотела. "Одну комнату я сдам, — сказала она резко, — и буду искать работу. Не беспокойся обо мне". Еще она сказала, что попробует устроиться сестрой без оплаты в Хадассу, больницу, только что открывшуюся в Тель-Авиве, и может быть ее со

временем зачислят в штат. А Шамай, она не сомневалась, скоро приедет в Палестину. До того времени она как-нибудь справится. Я сделала вид, что поверила — такова уж человеческая природа, — сознавая в глубине души, что как ни трудна будет наша жизнь в Мерхавии, она будет легче, чем то, что предстоит одинокой Шейне в Тель-Авиве.

Сегодня Мерхавия — большой шумный поселок с районной средней школой, куда съезжаются дети со всех концов Эмека. Как и в других больших киббуцах, здесь успешно соединили сельское хозяйство с промышленным производством и теперь в Мерхавии существует фабрика пластмассовых труб и своя типография. Люди в Мерхавии живут хорошо, хотя и тяжело работают. Там у них красивые и удобные комнаты, обширная общая столовая с кондиционером, полностью механизированная кухня — и все это они получили, не принося в жертву и даже не меняя радикально тех принципов, на которых была основана киббуцная жизнь в 1921 году. Киббуцники по-прежнему работают восемь часов ежедневно там, куда их назначает комиссия по распределению работы, хотя теперь они обычно имеют возможность делать ту работу, которой они обучены, которую делают лучше всего и которая дает им удовлетворение. По-прежнему, все они поочередно несут дежурства — в столовой, на кухне, в охране и т.д. — и все участвуют в решении основных вопросов, которые обсуждаются и ставятся на голосование на еженедельных собраниях. Дети киббуца, как и в 1921 году, воспитываются все вместе: вместе едят, спят в общих спальнях, вместе учатся, хотя, разумеется, родительская комната — их дом, место сбора семьи и в некоторых киббуцах дети даже спят в комнате рядом.

Я лично считала и считаю, что киббуц — единственное место в мире, где человека судят, принимают и дают возможность полностью проявить себя в родной общине не в зависимости от того, какую работу он делает и как он ее делает, но в зависимости от его человеческой ценности. Нельзя сказать, что киббуцникам

неведомы зависть, нечестность или лень: киббуцники — не ангелы. Но, насколько я знаю, только они в самом деле разделяют поровну почти все — проблемы, награды, ответственность и удовлетворение. И благодаря своему образу жизни они способствовали развитию Израиля несравненно сильнее, чем то позволяло их число. Сегодня в Израиле только 230 киббуцов, но невозможно себе представить — по крайней мере, я не могу — что собой представляла бы страна без них. Тридцать лет моя дочь Сарра является членом киббуца Ревивим в Негеве, и каждый раз, когда я посещаю там ее и ее семью — а в прошлом это бывало только когда мне это позволяли обстоятельства, т.е. нечасто — я всегда вспоминаю, с какими надеждами и страхами мы с ее отцом давным-давно отправлялись в Мерхавию, рассчитывая провести там всю свою жизнь — если только нас захотят.

Много лет я надеялась когда-нибудь вернуться к киббуцной жизни, и то, что я так этого и не сделала — разочаровывает меня в самой себе. Конечно, всегда были причины, отчего это представлялось невозможным, особенно же общественные обязанности, которыми я была связана. Но и до сих пор я жалею, что не нашла в себе сил пренебречь всеми настояниями и убеждениями, а когда, наконец, пришло время, я была уже слишком стара для перемен. Много есть вещей, в которых я не уверена, но одно я знаю: если бы я осталась на всю жизнь членом киббуца — настоящим членом, а не праздничным посетителем, — то это дало бы мне во всяком случае не меньшее внутреннее удовлетворение, чем моя государственная деятельность.

Киббуц, куда мы прибыли осенью 1921 года, состоял из нескольких домов и группы деревьев, оставшихся от первого поселения. Не было ни фруктовых садов, ни лугов, ни огородов — ничего не было, кроме ветра, камней и сожженных солнцем полей. Весной весь Эмек цветет. Горы, окаймляющие долину, даже черные болота — все покрывается цветами и на несколько недель Мерхавия превращается в самое кра-

сивое место, какое я когда-либо видела. Но впервые я ее увидела задолго до того, как начались живительные зимние дожди, и она выглядела совсем не так, как я себе представляла. Но не пейзаж был тем препятствием, которое предстояло преодолеть. Я твердо решила доказать, что по закалке ничуть не уступаю киббуцникам и смогу справиться с любым заданием. Не помню уж всех работ, какие мне поручали во время этого "испытательного срока"; помню, что целыми днями собирала миндаф в роще около киббуца и участвовала в посадке леса в скалах по дороге в Мерхавию. Теперь это уже настоящий лес, и каждый раз, когда я там проезжаю, я вспоминаю, как мы выкапывали бесчисленные ямы в земле между камнями, как осторожно опускали туда каждый саженец, спрашивая себя, доживет ли он до зрелого возраста и воображая, как прекрасна станет дорога, да и вся земля, если примутся хотя бы вот эти наши деревья. Тут я работала. Возвращаясь в свою комнату по вечерам, я и пальцем уже не могла пошевелить, но знала, что если я не приду на ужин, все начнут смеяться: "А что мы вам говорили? Вот вам американская девушка!" Я бы с радостью отказалась от ужина, потому что гороховая каша, которую мы ели, не стоила труда, затрачиваемого мною на то, чтобы поднять ко рту вилку, но я все-таки шла в столовую. В конце концов деревья выжили, и я тоже. Через несколько месяцев нас с Моррисом приняли в члены киббуца, и Мерхавия стала моим домом.

Киббуцная жизнь в двадцатые годы была далеко не роскошна. Прежде всего, еды было очень мало, а та, что была нам доступна, была страшно невкусна. Наш рацион состоял из прокисших каш, неочищенного растительного масла (арабы продавали его в мешках из козьих шкур, отчего оно невероятно горчило), некоторых овощей с бесценного киббуцкого огородика, мясных консервов, оставшихся после войны от британской армии и еще одного неопишуемого блюда, которое готовилось из "свежей" селедки в томатном соусе.

Мы эту свежатину каждый день ели на завтрак. Когда наступила моя очередь работать на кухне, я, ко всеобщему удивлению, была в восторге. Теперь-то, наконец, я смогу что-нибудь сделать с этой ужасной едой.

Имейте в виду, что в те дни киббуцницы ненавидели работу на кухне, и не потому, что это тяжело — по сравнению с другими, это работа легкая, — а потому, что они считали ее унижительной. Они боролись не за равные "гражданские" права — в этом у них недостатка не было — а за равное распределение обязанностей. Они хотели делать те же работы, что и мужчины — мостить дороги, мотыжить землю, строить дома, нести сторожевую службу; они не хотели, чтобы с ними обращались как будто они какие-то не такие и сразу же отправляли их на кухню. Все это происходило лет за пятьдесят до того как был изобретен неудачный термин "уимен'с либ" — но факт тот, что киббуцницы были первыми в мире успешными борцами за настоящее равенство. Но я относилась к работе на кухне иначе. Я никак не могла понять, о чем тут беспокоиться, и так и сказала. "А почему? — спросила я девушек, унывавших (или бушевавших) от работы на кухне. — Чем, собственно, лучше работать в хлеву и кормить коров, чем работать на кухне и кормить своих товарищей?" Никто не сумел на это убедительно ответить, и я позволила себе больше думать о качестве нашего питания, чем о женской эмансипации.

Я начала энергично — с преобразования меню. Прежде всего я избавилась от ужасного растительного масла. Потом я отменила "свежатину" и ввела вместо нее овсянку, чтобы люди, возвращающиеся домой с работы в холодное и мокрое зимнее утро, могли съесть что-то горячее и питательное вместе со своей обязательной порцией хинина. Никто не возражал против исчезновения растительного масла, но все восстало против овсянки: "Еда для младенцев! Все ее американские идеи!" Но я не сдавалась, и Мерхавия постепенно привыкла к этому новшеству. Потом мне пришлось в голову обновить посуду: наши эмалированные кружки,

выглядевшие такими белыми и чистыми, когда их только что купили, через несколько недель облупились и заржавели, и от одного взгляда на них у меня началась депрессия. И вот, ободренная успехом овсянки, я, перед тем, как опять настало мое дежурство по кухне, купила для каждого стаканы. Они были куда красивее и пить из них было куда приятнее, хотя надо признаться, что за неделю почти все они были перебиты, и кибуцникам пришлось пить чай по очереди из трех оставшихся стаканов.

Проблемой стала и селедка, которую теперь с утреннего завтрака передвинули на середину дня. Не у каждого были вилка, нож и ложка; у кого была только вилка, у кого только ложка или нож. Девушки, работавшие на кухне, мыли селедку и нарезали ее на маленькие кусочки, но не снимали с нее кожу, так что за столом каждый делал это сам. И поскольку руки вытирать было нечем, каждый вытирал их о рабочую одежду. Я стала снимать кожу. Девушки возопили: "Вот, теперь она их еще и к этому приучит!" Но у меня на это был ответ: "А что бы вы делали у себя дома? Как бы вы подавали селедку к столу? А это ваш дом, ваша семья!"

По утрам в субботу мы варили кофе. Ввиду того, что по субботам мы не могли отправить в Хайфу молоко, наше субботнее меню на молоке и основывалось. Из этого молока мы делали "лебен" — простоквашу и "лебения" — та же простокваша, но пожирнее. Девушка, которая пекла печенье, входившее в субботнее расписание, стерегла его как зеницу ока, потому что весь завтрак состоял из кофе и печенья. В пятницу вечером кое-кто из молодых людей после ужина начинал рыскать в поисках этого печенья и, случалось, находил его — и тогда за завтраком разыгрывались трагедии. Когда пришла моя очередь готовить на субботу, я рассудила так: ни масла, ни сахара, ни яиц (хозяйство наше начиналось с нескольких тощих кур, иногда откладывавших сиротливые яички) добавить неоткуда; зато можно прибавить воды и муки, и таким образом

напечь столько печенья, чтобы хватило и на пятницу вечером, и на субботу утром. Сперва это сочли "контр-революцией", но потом всем понравилось, что печенье, за те же деньги, будет два раза в неделю.

Но самое "буржуазное" мое нововведение, о котором весь Эмек говорил месяцами — была "скатерть", сделанная из простыни, которую по пятницам я стала стелить на столы для ужина — да еще и цветы ставила посередине! Мерхавийцы вздыхали, ворчали, предупреждали, что наш киббуц будут "дразнить" — но позволили мне делать по-своему.

Такие же споры возникали у нас и по другим поводам — об одежде, например. Тогда все наши девушки носили одинаковые платья: в сотканной арабами мешковине прорезались три дырки — одна для головы и две для рук — получалось платье, которое оставалось только подвязать веревкой. В пятницу вечером киббуцники переодевались: мужчины надевали чистые рубашки, а женщины — юбки и блузки вместо брюк и рабочих платьев. Но я не понимала, почему аккуратность допускалась только раз в неделю. Мне неважно было, что носить по будням, но это должно было быть проглажено. И каждый вечер я тщательно гладила свой "мешок" тяжелым утюгом, на углях, зная, что киббуцники не только считают меня сумасшедшей, но и в глубине души подозревают, что я не настоящий пионер. Так же не одобрялся и цветочный узор, которым Моррис расписал стены нашей комнаты, чтобы они выглядели красивее, не говоря уже о ящиках, которые он расписал и превратил в шкафы для нас. В общем, киббуцникам понадобилось немало времени, чтобы принять наши странные "американские" обычаи, да и нас самих. Очень возможно, что помог этому наш знаменитый патефон. Я оставила его в Тель-Авиве у Шейны, но через несколько месяцев решила, что киббуцу он нужнее, чем ей, и перетащила его в Эмек, где он стал притягивать в киббуц почти столько же народу, сколько в Тель-Авиве. Я даже иногда думаю — а не приятнее ли было бы киббуцу получить приданое без невесты!

В ту зиму я была назначена работать на киббуцном птичьем дворе и меня послали на несколько недель в сельскохозяйственную школу, чтобы изучить всякие тонкости в деле выращивания домашней птицы. Когда, много лет спустя, я рассказала родным об этом периоде моей жизни, они очень веселились, что я стала таким специалистом по курам, ибо до работы в Мерхавии я славилась в семье полным отсутствием любви к животным — и к птицам в том числе. Не могу сказать, что я полюбила обитателей птичьего двора — но я очень увлеклась своим делом и была страшно горда, когда птичники со всего Эмека приехали смотреть наши курятники и перенимать наш опыт. В то время я с утра до вечера говорила только о птице и о том, как ее выращивать и кормить, а после того, как однажды около курятников показался шакал, я много ночей подряд видела во сне убийство моих кур. Энергия и время, затраченные мною на птичьем дворе, дали немаловажный побочный результат. Бог свидетель, мы не могли быть особенно щедры с нашими питомцами, и все-таки через некоторое время на нашем обеденном столе появились яйца и даже куры и гуси. Иногда, когда к нам в Мерхавию приезжала Шейна с Хаимом и Юдит, мы готовили мерхавийское "фирменное блюдо": жареный лук с мелко нарубленными крутыми яйцами. Запивали мы это теплым чаем. Теперь это звучит не так уж прекрасно, но тогда нам это казалось чудесным.

Месяцы шли быстро. Нам по-прежнему не хватало рабочих рук; казалось порой, что все, кто не болен малярией, страдает дизентерией или "папатачи" — очень неприятной формой лихорадки. Всю зиму киббуц утонул в грязи; по грязи мы тащились в столовую, в амбары и на работу. Лето было не легче: очень длинное и страшно жаркое. С весны до осени нас мучили полчища оводов, песочных мух и москитов. В четыре утра обычно мы уже были на месте работы, потому что с поля надо было возвращаться до того, как поднимется беспощадное солнце. Единственным средством от

насекомых был вазелин (когда его можно было достать); им мы обмазывали все незакрытые части тела, к которым оводы и мухи прилипали немедленно; поднятые воротники, длинные юбки и рукава, платки — вот в каком виде мы ходили все лето, несмотря на жару. Я тоже раза два болела, и до сих пор помню, как благодарна я была парню, принесшему мне из соседней деревни кусочек льда и лимон, чтобы я могла приготовить себе лимонад. Может, если бы мы могли вскипятить себе чашку чаю, когда холодно, или приготовить холодное питье, когда нас изнуряла летняя жара, нам было бы физически легче. Но киббуцная дисциплина не разрешала брать что-нибудь одному, не делясь со всеми.

Я понимала и одобряла причины, на которых основывались такие крайности, но Моррис, которому киббуцная жизнь нравилась все меньше и меньше, считал, что такое поведение — абсурд, и что нельзя из-за преданности доктрине делать трудную жизнь еще труднее. Он очень страдал от отсутствия уединения и от того, что называл интеллектуальной ограниченностью нашего образа жизни. В то время никто в Мерхавии не интересовался тем, что интересовало Морриса — книгами, музыкой, живописью; никто не стал бы об этом разговаривать. Не то, чтобы киббуцники были необразованы, — напротив. Но их больше интересовало другое. Вопрос — может ли киббуц позволить себе купить "гигантский" инкубатор на 500 яиц или попытка выколотить идеологический смысл из того, что кто-то сказал на очередном собрании, занимал их несколько не меньше, чем книги, музыка и картины. Но все равно, по мнению Морриса, мерхавийцы мыслили очень односторонне — и даже эта "одна сторона" была слишком узкая. Еще, по его словам, они были чересчур серьезны и полагали, что чувство юмора в киббуце неуместно.

И, конечно, он не был кругом неправ. Теперь я вижу, что если бы у тогдашних киббуцов были средства и хватило идеологической гибкости хотя бы на то, что-

бы принять то, что теперь и не обсуждается — отдельные уборные и душевые для каждого и возможность, для каждого, заваривать чай в своей комнате — то тысячи таких людей, как Моррис, покинувших кибуцы впоследствии, остались бы там навсегда. Но в 1920 годы ни один кибуц не мог себе этого позволить, и меня это не слишком беспокоило.

Я наслаждалась тем, что нахожусь среди своих, — среди людей, разделяющих мои общественно-политические взгляды, серьезно и горячо их обсуждающих, серьезно относящихся к социальным проблемам. Мне в киббуце нравилось все, все я делала с удовольствием — работала в курятнике, постигала тайны хлебопечения, когда месила тесто в подвальчике, служившем нам пекарней, сидела на кухне, куда являлись что-нибудь перехватить ребята, несшие сторожевую службу — истории, которые они рассказывали, я готова была слушать часами. Очень скоро я почувствовала себя здесь дома, словно бы я нигде больше никогда не жила, и именно те аспекты жизни, которые так мешали Моррису, особенно мне нравились. Были, конечно, в Мерхавии люди, к которым мне нелегко было приспособиться, — главным образом кое-кто из "ветеранш", считавшие, что имеют право устанавливать законы, кто как себя должен и не должен в киббуце вести. Но в самом главном, я чувствовала, — мои желания исполнились.

Конечно, за тяжелую работу, за круглый год под открытым небом и за примитивные бытовые условия приходилось расплачиваться. Солнце и ветер обжигали и сушили кожу, а в то время, в отличие от теперешнего, в киббуцах не было ни кабинетов красоты, ни косметичек, отчего женщины киббуца старились гораздо быстрее, чем горожанки. Но они были ничуть не менее женственны, несмотря на морщины. Одна моя мерхавийская подруга, приехавшая из Нью-Йорка и вступившая в кибуц за полгода до нас, рассказала мне, что она поехала проститься с молодым поэтом, служившим в Еврейском легионе в Палестине и возвращав-

шимся в Штаты. Когда она протянула ему свою загрубевавшую от работы руку, он сказал: "В Америке держать вашу руку было удовольствие. Теперь это честь". Ее очень взволновала эта любезность, а я подумала, что это чепуха. И тогда, и теперь мужчины в киббуцах с удовольствием брали женщин за руку, как, впрочем, и везде. Тогда, как и теперь, киббуцные романы и браки были похожи на все романы и браки — одни удаются лучше, другие хуже. Конечно, в то время молодые люди гораздо сдержаннее рассказывали о своей любовной жизни, но не потому, что в Мерхавии или в Дгании не влюблялись, а потому что в 1921 году люди вообще относились к этому более пуритански.

Я была очень счастлива все эти годы, несмотря на трудности. Я любила киббуц и киббуц любил меня, и выражал это свое отношение. Начать с того, что я была избрана в правление поселения (правление отвечало за общую политическую линию), что было большой честью для новичка. Потом меня избрали делегатом от Мерхавии на съезд киббуцкого движения, проходивший в 1922 году — и это, действительно, было выражение доверия. Я и сейчас, когда это пишу, испытываю чувство гордости, что именно мне киббуц поручил представлять его на таком важном собрании, и даже разрешил мне говорить по ходу дела на идиш, поскольку мой иврит все еще хромал.

Съезд происходил в Дгании, которая считалась "матерью киббуцов"; именно это поселение помогал строить Гордон, именно там его через год похоронили. На заседаниях, которые я посещала, речь шла в основном о проблемах, непосредственно относящихся к будущности киббуцов как таковых. Человеку со стороны могло бы, вероятно, показаться странным, даже нереалистичным, учитывая, какое это было время, что люди в течение нескольких дней жарко спорят о том, каков должен быть максимальный размер киббуца, сколько раз в день матери должны навещать своих детей в общественных яслях, как тщательнее отбирать среди претендентов будущих членов

киббуца. Ведь тогда в Палестине киббуцов было раз-два и обчелся, киббуцников же — лишь несколько сот. Только что по стране прокатились серьезные антиеврейские волнения и вообще, статус восьмидесятитрехтысячного еврейского населения (в 1922 году это составляло 11% всего населения страны) был еще очень неопределенный. Какой же смысл имели все эти бесконечные дебаты по мелочам, затягивавшиеся далеко за полночь в продолжение целой недели? Как сейчас вижу: чадит керосиновая лампа, а мы все сидим вокруг, всецело поглощенные каким-нибудь теоретическим аспектом киббуцной жизни, и стараемся разрешить сложные проблемы, которые еще и не возникали.

А с другой стороны, ведь, в конце концов, вопрос о том, что реалистично, а что нет, очень зависит от того, кто дает определение. Факт тот, что никто из участников собрания, весь день работавших в условиях, которые теперь считались бы невыносимыми, и по ночам охранявших поселение и разрабатывавших сложные идеологические аргументы — никто не сомневался, что они закладывают основы для идеального общества на заре величайшего эксперимента в еврейской истории. И, разумеется, они были правы.

Здесь, в Дгании, я встретила многих выдающихся представителей Рабочего движения — не только Бен-Гуриона и Бен-Цви, с которыми я познакомилась еще в Милуоки, но и других замечательных людей, впоследствии ставших моими друзьями и коллегами. Тут были — назову хоть немногих — Аврахам Хартцфельд, Ицхак Табенкин, Леви Эшкол, Берл Кацнельсон, Залман Рубашов (Шазар) и Давид Ремез. В бурные предшествовавшие нам годы все мы оказались тесно связаны общей судьбой; но тогда, в Дгании, я только слушала с упоением их речи и не осмеливалась с ними заговаривать. В Мерхавию я вернулась вдохновенная, с новым стимулом и еле дождалась минуты, когда смогла рассказать Моррису обо всем, что там говорилось и делалось.

В те годы мне удалось увидеть часть страны. В Па-

лестину приехала жена выдающегося лидера британской лейбористской партии Филиппа Сноудена, которая и сама была видной политической фигурой; понадобился англоговорящий гид; партия вызвала меня в Тель-Авив и попросила меня принять это поручение. Я рассвирепела: "Тратить время на то, чтобы с кем-то мотаться по стране?" Но партийная дисциплина взяла верх, и я уступила, хоть и не слишком покорно. Потом я радовалась, что поехала. Впервые в жизни я увидела лагерь бедуинов; вместе с миссис Сноуден, сидя на полу, мы съели огромное количество баранины с рисом и с питтой (лепешкой), для чего наши хозяева арабы предусмотрительно снабдили нас ложками: я, наверное, нескрываясь ужаснулась от мысли, что придется есть как все, руками. Думаю, миссис Сноуден тоже осталась довольна; я должна была показывать ей всяких важных особ, хотя я так никогда и не приучилась делать это в рабочие часы.

Но жизнь как раз, когда кажется, что все идет хорошо, любит сделать неожиданный поворот. Моррису не только было не по себе в киббуце — он заболел. Климат, малярия, пища, тяжелая работа в поле — для него все это оказалось слишком тяжело. И как он ни старался все стерпеть ради меня, стало ясно, что нам придется покинуть киббуц, по крайней мере до тех пор, пока он опять не наберется сил. Это произошло раньше, чем я ожидала. Мы прожили в Мерхавии два с половиной года — последнее время Моррис болел несколько недель подряд. И однажды доктор очень серьезно сказал мне, что если я не хочу, чтобы Моррис стал хроником, то нам надо уезжать из Мерхавии как можно скорее.

Потом я часто спрашивала себя — а не приспособился ли бы Моррис к киббуцу, и физически, и эмоционально, если бы я была внимательнее, проводила бы с ним больше времени и не позволяла бы жизни коллектива поглотить себя целиком. Но мне в голову не приходило, что я лишаю чего-нибудь Морриса, когда готовлю перекусить для ребят, возвращающихся с

дежурства, или учусь на курсах птицеводов, или трачу столько времени на разговоры и пение песен с другими. Если бы я задумалась, побеспокоилась о нашем браке, я бы, конечно, поняла, что Моррис борется в одиночку, стараясь привыкнуть к невероятно трудной для него жизни.

Был серьезный вопрос, по которому мы так никогда и не смогли прийти к согласию. Я очень хотела ребенка, но Моррис был категорически против киббуцного метода коллективного воспитания детей. Точно так же, как он хотел жену для себя одного, так и детей наших он хотел, чтобы мы воспитывали сами, по своему разумению, не подвергая каждую подробность их жизни проверке и одобрению (или неодобрению) комитета или всего киббуца. И он отказался заводить детей, пока мы не уедем из Мерхавии. Может, он со временем и изменил бы свое решение, но со здоровьем у него уже было так плохо, что мы в любом случае должны были уезжать.

И снова мы запаковали вещи — в третий раз за три года! — и распростились с друзьями. Оторваться от киббуца мне было тяжело, но, проливая слезы, я утешала себя надеждой, что мы скоро вернемся, что Моррис выздоровеет, у нас родится ребенок и наши отношения -- совсем разладившиеся в Мерхавии — опять улучшатся. К сожалению, все произошло не так.

Мы провели несколько недель в Тель-Авиве. К этому времени в Палестину приехал Шамай, и семья переехала в новый дом (с ванной). Шейна получила довольно хорошую зарплату; Шамай стал через некоторое время управляющим обувного кооператива, у которого дела шли неблестяще. Как бы то ни было, у них был дом и они зарабатывали себе на жизнь. По сравнению с нами, их положение было завидным. Мы в Тель-Авиве почему-то не смогли прижиться. Я получила место кассирши в Гистадрутовском комитете гражданского строительства (то, что стало потом называться "Солеп Боне"), а Моррис старался прийти в себя. Но мы как-то не могли наладить нашу жизнь.

Мне не хватало киббуца даже больше, чем я себе могла представить, а Морриса бомбили письмами мать и сестры, умоляя его вернуться в Штаты и предлагая оплатить ему билет. Я знала, что он не покинет ни меня, ни страну, но мы оба чувствовали себя беспокойно и угнетенно.

По сравнению с эмекскими "Божьими просторами", Тель-Авив казался невыносимо маленьким, шумным и многолюдным. Моррис нескоро смог встать на ноги и отделаться от последствий своей долгой болезни, а я без Мерхавии была как без руля и без ветрил, и казалось, словно мы обречены оставаться вечными транзитниками. Мне не хватало дружеского тепла, которое я ощущала в киббуце, и чувства удовлетворения, которое мне давала моя работа. Мне приходило в голову, что постоянный оптимизм и целеустремленность покинули меня навсегда, а если так, то что же будет с нами? Хотя никто из нас не произносил этого вслух, но, думаю, мы оба винили друг друга в том, что с нами произошло. Во-первых, Моррис поехал в Мерхавию из-за меня, а теперь, оттого, что он там "не справился", я должна была с такой болью оторваться от киббуца. Может, для нас было бы лучше, если бы мы стали открыто упрекать друг друга, но мы этого не сделали. И потому мы все время были какие-то неприкаянные и раздражительные.

Понятно, что когда Давид Ремез, с которым я познакомилась в Дгании и теперь случайно встретилась на улице, спросил, не захотим ли мы с Моррисом работать в иерусалимском отделении "Солел Боне", мы оба ухватились за возможность покинуть Тель-Авив. Быть может, думали мы, на крепком горном воздухе Иерусалима мы опять оживем, и все наладится. Особенно добрым предзнаменованием показалось мне то, что накануне отъезда я узнала, что беременна.

Осенью, 23 ноября, в Иерусалиме родился наш сын Менахем. Это был прекрасный здоровый ребенок, и мы с Моррисом были вне себя от радости, что стали родителями. Целыми часами мы разглядывали мла-

денца, которого мы произвели на свет, и разговаривали о его будущем. Но меня все еще тянуло в Мерхавию, и когда Менахему исполнилось шесть месяцев, я на некоторое время возвратилась в киббуц с ним вместе. Мне казалось, что если я вернусь туда, то обрету себя вновь. Все оказалось не так просто. Оставаться там без Морриса я не могла и теперь уже не строила никаких иллюзий: ясно было, что он не сможет и не захочет вернуться в Мерхавию. Пришла пора принимать решение, и принимать его должна была я. Грубо говоря, я должна была решить, что для меня важнее: мой долг перед мужем, домом, ребенком или тот образ жизни, который был для меня по-настоящему желанным. И не в первый раз — да уж конечно и не в последний — я поняла, что в конфликте между долгом и самыми сокровенными желаниями, долг для меня важнее. Нечего тосковать о жизни, которая мне недоступна — тут нет никакой альтернативы. И я вернулась в Иерусалим — не без опасений, но с твердым решением начать новую жизнь. В конце концов ведь я — счастливая женщина. Я замужем за мужчиной, которого люблю. Ну и пусть он не создан для жизни в коллективе и физической работы — ведь я хочу оставаться его женой и хочу, если это окажется в моих силах, сделать его счастливым. Если я буду очень стараться, думала я, мне это удастся — особенно теперь, когда у нас сын.

5. ПИОНЕРЫ И ПРОБЛЕМЫ

Несмотря на все надежды и добрые намерения, четыре года, которые мы прожили в Иерусалиме, не только не обеспечили мне тихой пристани, которую, уверяла я себя, я готова была принять, а стали самыми несчастными годами моей жизни. И когда это говорит человек, проживший на свете так долго, как я, это кое-что значит. Неудачи шли почти сплошняком; порой мне казалось, что я повторяю самые несчастные годы своей матери и у меня каменело сердце, когда я вспоминала рассказы о том, как ужасающе бедны они были в России. Ни тогда, ни потом я не дорожила деньгами как таковыми или житейским комфортом. Ни того, ни другого у меня никогда не было в избытке, и в Палестину я приехала не для того, чтобы улучшить наше материальное положение. И Моррис, и я слишком хорошо знали бедность в лицо и привыкли к очень невысокому материальному уровню. К тому же мы сами избрали образ жизни, основанный на минимуме — желать и иметь только немного. Сытная еда, чистая постель, иногда — новая книга или пластинка — вот и все материальные блага, на которые мы претендовали. Так называемые "радости жизни" не только были для нас недоступны — мы просто не знали, что это такое, и будь время не таким трудным, мы бы прекрасно существовали на Моррисову маленькую зарплату.

Но время было трудное, и были потребности, которые необходимо было удовлетворять — не только наши, но, прежде всего, потребности наших детей. Их надо было соответственным образом кормить и у них должно было быть жилище. Думаю, свобода от

страха, что вы не сможете предоставить своим детям даже этого минимума, как ни старайтесь — это и есть основное из прав человека, отца или матери. Теоретически я знала это задолго до того, как пережила собственный опыт, но, раз переживши, я никогда его не забывала. И, конечно, великая сила киббуцной жизни в том, что никто не переживает этих страхов в одиночку. Даже если это молодой киббуц, или год был неудачный и взрослые должны затянуть пояса потуже, для киббуцных детей всегда хватает еды. В те трудные иерусалимские времена я с тоской вспоминала Мерхавию. А через двадцать лет, когда началась Вторая мировая война, я, хорошо помнившая те годы, внесла предложение, чтобы весь ишув на военное время превратился в один большой киббуц, в частности открыл бы сеть кооперативных кухонь, чтобы в любом случае дети не голодали. Мое предложение было отвергнуто, во всяком случае оно не было принято, а я и сейчас думаю, что оно было разумным.

Но не беспросветная бедность и даже не вечный страх, что дети останутся голодными, были причиной того, что я чувствовала себя несчастной. Главным тут было одиночество, непривычное чувство изоляции и вечное сознание, что я лишена как раз того, ради чего и приехала в Палестину. Вместо того, чтобы активно помогать строить еврейский национальный очаг и продуктивно трудиться ради него, я оказалась запертой в крошечной иерусалимской квартирке, и на то, чтобы продержаться как-нибудь на Моррисовы заработки, были направлены все мои мысли и вся энергия. Да еще и "Солел-Боне" чаще всего платил ему бонами, которых никто — ни квартирохозяин, ни молочник, ни детский сад — не желал принимать.

В день полочки я неслась на угол к бакалейщику и уговаривала его принять бону в 1 фунт (100 пиастров) за 80 пиастров — я знала, что больше он не даст. Но не подумайте, Боже сохрани, что эти 80 пиастров я получала деньгами — нет, он опять-таки давал мне целую кучу бон. С ними я мчалась к торговке курами и в

удачный день после двадцатиминутного спора мне удавалось уговорить ее взять мои бонны (с которых она снимала 10—15%) в обмен на маленький кусочек курицы, из которого я варила суп для детей.

Изредка в Иерусалим на день-другой приезжал Шамай; он привозил немного сыру, или коробку с овощами и фруктами от Шейны. Мы устраивали тогда "банкет", и на некоторое время мне становилось полегче. А потом опять, как всегда, меня начинала грызть тревога.

Пока не родилась Сарра — в 1926 году у нас было немножко дополнительных денег: мы сдавали одну из наших двух комнат, хотя у нас не было ни газа, ни электричества. Но когда появилась Сарра, мы, как ни трудно нам было, решили обходиться без этих денег, чтобы у детей была их собственная комната. Восполнить недостающую сумму можно было только одним способом: найти для меня такую работу, которую я могла бы делать, не оставляя ребенка одного. И я предложила учительнице Менахема, что буду стирать все детсадовское белье вместо того, чтобы вносить плату за своего сына. Целыми часами стоя во дворе, я скребла горы маленьких полотенец, передников и слюнявчиков, грела на примусе воду, ведро за ведром, и думала, что я буду делать, если треснет стиральная доска.

Я ничего не имела против работы — в Мерхавии я работала куда тяжелее и находила в этом удовольствие. Но в Мерхавии я была частью коллектива, членом динамичного общества, успех которого был для меня дороже всего на свете. В Иерусалиме я была словно узница, приговоренная — как миллионы женщин — неподвластными мне обстоятельствами бороться со счетами, которых не могу оплатить, стараться, чтобы обувь не рассыпалась, потому что не на что купить другую, и с ужасом думать, когда ребенок кашляет, или у него поднимется температура, что неправильный пищевой рацион и невозможность как следует топить зимой, могут навсегда подорвать его здоровье.

Конечно, иногда выпадали и хорошие дни. Когда

светило солнце и небо было синее (по-моему, летнее небо в Иерусалиме синее, чем где-либо) я сидела на ступеньках, смотрела, как играют дети и чувствовала, что все хорошо. Но когда бывало ветрено и холодно и детям нездоровилось (а Сарра вообще много болела), меня переполняло — если не отчаяние, то горькое недовольство своей участью. Неужели к этому все и сводится? Бедность, нудная утомительная работа, вечные тревоги? Хуже всего было то, что об этих своих чувствах я не могла рассказать Моррису. Ему больше всего нужен был отдых, питание и душевный покой — но все это было недоступно и никаких видов на будущее не было.

Дела у "Солел-Боне" тоже шли скверно, и мы страшно боялись, что он закроется совсем. Одно дело было взяться со всем энтузиазмом за создание неофициального отдела гражданского строительства и подготовку квалифицированных еврейских рабочих-строителей, с тем, чтобы их непременно использовать; другое дело — иметь необходимый капитал и опыт в постройке дорог и зданий. В те дни "Солел-Боне" мог расплачиваться только "промиссори нотс" — чем-то вроде векселей на 100 или 200 фунтов, покрывавшимися более крупными векселями, которые "Солел-Боне" получал в оплату за совершенные работы. По поводу строительства в Палестине тогда рассказывали анекдот: "Один еврей сказал, что если бы у него для начала была хоть одна хорошая перовая подушка, он бы мог построить себе дом. Каким образом? "Очень просто — сказал он. — Слушайте, хорошую подушку вы можете продать за один фунт. На этот один фунт вы покупаете членство в обществе кредита, и оно может дать вам в кредит десять фунтов. Когда у вас на руках уже есть десять фунтов, можете начать присматриваться и наметить себе хорошенький участок. Наметили? Теперь идите к хозяину, платите ему десять фунтов чистоганом, а остальное он, конечно, согласится взять векселями (вот этими "промиссори нотс"). Раз уж вы землевладелец, ищите контрагента. Нашли? Ска-

жите ему: "Земля у меня есть. Теперь построй на ней дом. А мне нужна только квартира, чтобы я там мог жить с семьей".

Но в моих переживаниях не было ничего веселого. Иногда Регина, работавшая тогда в Правлении сионистского движения в Иерусалиме, приходила ко мне, и пока я уныло убирала в комнатах, выслушивала мои жалобы и пыталась меня развеселить. Конечно, в письмах к родителям я рисовала совершенно другую картину и даже от Шейны старалась скрыть, до чего мне было плохо — что, боюсь, мне не удавалось.

Как ни странно, оглядываясь назад теперь, я понимаю, что не знала никого, кроме своего ближайшего окружения. А ведь тогда в Иерусалиме находилось правительство, оттуда высшие чины британской администрации — сначала сэр Герберт Сэмюэл, а с 25 года лорд Плюмер — управляли страной. Иерусалим и тогда, как на протяжении всей своей истории, был изумительным городом. Одна его часть была, как и теперь, мозаикой из усыпальниц и святых мест, другая же была штаб-квартирой колониальной администрации. Но прежде всего это был живой символ того, что еврейская история продолжается, узел, который связывал и связывает еврейский народ с землей Палестины. Население его было не такое, как в остальной стране. Наш район, например, граничил с кварталом Меа-Шеарим, где и сейчас живут ультраортодоксальные евреи, сохранившие в почти нетронutom виде свои обычаи, одежду и религиозные обряды, вынесенные из Европы 16-го века и считавшие таких евреев, как Моррис и я, без пяти минут язычниками. Но ни город, ни его улицы и пейзажи, ни живописные процессии, тянувшиеся по Иерусалиму даже в будние дни и являвшие людей всех вероисповеданий и рас, почти не производили на меня впечатления. Я слишком устала, слишком упала духом, слишком сосредоточилась на себе и семье, чтобы смотреть по сторонам, как бы следовало.

Однажды вечером я, уже не впервые, все-таки пошла к Стене Плача. Впервые мы были там с Моррисом

через неделю или две после того, как мы приехали в Палестину. Я выросла в еврейском доме, хорошем, традиционном еврейском доме, но я не была набожной, и, по правде говоря, пошла к Стене без особенного волнения, просто потому, что должна была это сделать. И вдруг, в конце узких петляющих улиц Старого города, я увидела Ее. Тогда, до всех раскопок, Стена выглядела не такой большой, как сейчас. Но в первый раз я увидела, как евреи — мужчины и женщины — молились и плакали перед ней и засовывали "квитлех" — записочки с просьбами к Всемогущему — в ее расщелины. Значит, вот что осталось от прежней славы, подумала я, вот, значит, и все, что осталось от Соломонова Храма. Но по крайней мере она на месте. И тогда я увидела в этих ортодоксальных евреях с их "квитлех" — выражение веры в будущее, отказ нации признать, что ей остались только эти камни. Когда я уходила в тот первый день от Стены, чувства мои изменились — может быть то, что я испытывала тогда, можно назвать подъемом. И годы спустя, в тот вечер, о котором я сейчас рассказываю, когда я чувствовала такую глубокую неудовлетворенность, Стена опять не осталась ко мне немой.

В 1971 году я была награждена медалью "За освобождение Иерусалима" — величайшая честь, когда либо мне оказанная — и на церемонии награждения я рассказывала еще об одном своем посещении Стены. Это было в 1967 году, после Шестидневной войны. Девятнадцать лет, с 1948 по 1967 год, арабы запрещали нам ходить в Старый город или молиться у Стены. Но на третий день той войны — в среду 7 июня — весь Израиль был наэлектризован сообщением, что наши солдаты освободили Старый город и Стена опять в наших руках. Через три дня я должна была лететь в Соединенные Штаты, но я не могла уехать, не посетив Стены. И в пятницу утром — хотя гражданским лицам еще не разрешалось входить в Старый город, потому что там еще продолжалась перестрелка — я получила разрешение пойти к Стене, несмотря на то, что в то время я была

не членом правительства, а простой гражданкой, как все.

Я пошла к Стене вместе с группой солдат. Перед Стеной стоял простой деревянный стол, а на нем — пулемет. Парашютисты в форме, с талесами на плечах, приникли к Стене так тесно, что, казалось, их невозможно от нее отделить. Они со Стеной были одно. Всего за несколько часов перед тем они отчаянно сражались за освобождение Иерусалима и видели, как во имя этого падали их товарищи. Теперь, стоя перед Стеной, они закутались в талесы и плакали, и тогда я взяла листок бумаги, написала на нем слово "шалом" (мир) и засунула его в расщелину, как делали евреи давным-давно, когда я это видела. И один из солдат (вряд ли он знал, кто я такая) неожиданно обнял меня, положил голову мне на плечо, и мы плакали вместе. Наверное ему нужна была передышка и тепло старой женщины, и для меня это была одна из самых трогательных минут моей жизни. Но, конечно, все это относится к гораздо более позднему времени, к другой эре.

Конец двадцатых годов был тяжелым не только для меня, но и для всей еврейской Палестины. В 1927 году в ишув было 7000 безработных мужчин и женщин — 5% всего палестинского еврейского населения. Казалось, что сионизм в своем рвении перехлестнул через край. В страну въезжало больше иммигрантов, чем ишув был в состоянии использовать. Например, из 13000 евреев, приехавших в Палестину в 1926 году, уехало больше половины; в 1927, впервые за все время, эмиграция из страны была выше иммиграции, — зловещий знак. Одни эмигранты уехали в Соединенные Штаты, другие — в разные части Британской империи. Была группа, включавшая в себя членов "Гдуд ха-авода", "Рабочего батальона", основанного в 1920 году для использования эмигрантов на работах по кооперативному строительству дорог и добывавшая проекты, финансировавшиеся британской администрацией, которая по идеологическим причинам отправилась в Россию; многих из этой группы, по тем же "идеологиче-

ским” причинам, сослали в Сибирь или расстреляли.

Причин кризиса было несколько. Экономика ишува была совершенно неразвита. Кроме строительства (на котором работало около половины всех еврейских рабочих Палестины) и апельсиновых рощ, фактически не было никакой другой работы — и капиталов не было тоже. Еврейские промышленные предприятия можно было пересчитать по пальцам одной руки. Были предприятия на Мертвом море, соляная фабрика и карьер в Атлите, Палестинская электрокомпания (построившая электростанцию на берегах Иордана), фабрика мыла и пищевого масла “Шемен” и цементная фабрика “Нешер” в Хайфе. Было еще несколько мелких предприятий, в том числе типографии и винные погреба, и это было все.

Была еще одна очень серьезная проблема. Зарплата еврейских рабочих в то время была очень низкой, но арабы-рабочие соглашались и на меньшую оплату, и немало владельцев апельсиновых рощ соблазнялись более дешевым арабским трудом. Что касается британской администрации, то кроме строительства дорожной сети, она фактически ничего не делала для развития экономики страны и уже стала поддаваться антиеврейскому нажиму арабских экстремистов, таких, например, как муфтий Иерусалима Хадж Амин аль-Хуссейни и другие. Всего несколько лет прошло с тех пор, как Великобритания получила мандат на Палестину — а правительство уже проявляло довольно сильную враждебность к евреям. Хуже того, оно стало сворачивать еврейскую иммиграцию в Палестину и в 1930 году угрожало вообще ее временно прекратить. Короче говоря, еврейский национальный очаг не процветал.

Я почти не бывала в Иерусалиме в годы своей иерусалимской жизни, а если приезжала, то только для того, чтобы повидать Шейну с семьей, или родителей, переехавших в Палестину в 1926 году. Между посещениями родственных домов я старалась повидать старых друзей, узнать, что происходит в партии, услышать какие-нибудь слухи из Мерхавии или о Мерхавии — сло-

вом, хоть на несколько часов почувствовать себя частью того, что делается в стране. Отец, как мне теперь кажется, был типичным эмигрантом этого времени, хоть он и приехал не из Европы, а из Штатов. В Милуоки ему удалось собрать немного денег, на которые он с гордостью купил в Палестине два участка земли — частью потому, что, как сионист, он хотел тут жить, частью ради того, чтобы воссоединить семью. Оба его участка были в тех местах, где почти ничего не было, кроме песка. Один был в Герцлии, в нескольких километрах к северу от Тель-Авива. Другой был в Афуле, недалеко от Мерхавии, и там он собирался построить дом. Когда я спросила — почему в Афуле, ведь это далеко и от Шейны, и от меня, — он сказал, что в Афуле будет построен первый в Палестине оперный театр и он будет жить в крупном музыкальном центре. Я хорошо знала Афулу — когда мы жили в киббуце, я неоднократно там бывала. Это была пыльная деревушка, и я была уверена, что никакого театра там не построят — во всяком случае в обозримом будущем. Но отец был непоколебим. Долгое время он и слушать ничего не хотел и упрекал нас с Шейной за маловерие. "Разве Тель-Авив не был построен на песчаных дюнах?" — спрашивал он с укором в голосе. В конце концов мама присоединилась к нам; отец вздохнул, отказался от намерения жить в Эмеке и согласился строиться в Герцлии, хоть там и не будут раздаваться оперные арии.

Дом он построил, можно сказать, собственными руками, как подобает хорошему плотнику. Это был один из первых настоящих домов в районе, и родители обосновались там так же быстро, как когда-то в Милуоки. Отец стал членом местной синагоги, выяснил, что там нет кантора и предложил бесплатно свои услуги. Он также вступил в кооператив плотников, но так как работы было мало, это не принесло плодов. Но у моей предприимчивой мамы появилась идея. Она будет готовить и продавать обеды, а отец будет ей помогать. В Палестине тогда было очень мало ресторанов, а в Герц-

лии их не было вовсе, так что мамина идея оказалась очень удачной. За несколько пиастров рабочие всей округи получали недорогую и здоровую пищу.

И при всем том, хоть они и решили твердо устроиться в Палестине (несмотря на то, что оба были уже не первой молодости), они очень страдали от общей экономической ситуации. Как-то, за неделю до Пасхи я повезла детей в Герцлию, чтобы помочь маме готовиться к праздникам. В канун Пасхи должен был приехать Моррис, ожидали и Шейну с детьми. Но все мы были так бедны, что готовить оказалось нечего. Отец ходил, как пришибленный. Подумать только, он в Палестине, почти со всей семьей (Клара еще училась в колледже в Висконсине, но тоже собиралась приехать, как только получит диплом) — а в доме ни одной пачки мацы, ни одной бутылки вина, не говоря уже о праздничном ужине. Я не могла на него смотреть, я боялась, как бы он не сделал чего-нибудь ужасного. Никогда раньше бедность не могла его сломить — а теперь он чувствовал себя униженным.

И тут случилась изумительная вещь. Меня укусила собака. Для кого другого это, может быть, и было бы ужасно, но для меня это было чудо. Мне пришлось ездить в Тель-Авив на уколы, а находясь там, я могла бегать по городу в поисках человека, который одолжил бы мне денег. Мне удалось найти банк, который соглашался дать мне займы 10 фунтов (тогда это были большие деньги), если я найду гарантов. Опять я пустилась рыскать по городу, но те, кого я находила, не подходили банку, а те, кого указывал мне банк, не желали рисковать. Наконец, я нашла человека, у которого был капитал, хорошая репутация и хорошее еврейское сердце — и я вернулась в Герцлию: в кармане у меня лежали целых десять фунтов для отца, а в сердце пылала небывалая любовь к собакам.

Тель-Авив, в тех редких случаях, когда я там бывала, угнетал меня видом безработных мужчин на углах и унынием недостроенных зданий, торчавших повсюду. Словно бы истощился огромный взрыв энергии. Кс

нечно, люди со стороны могли видеть все это иначе. Несмотря на экономический кризис, тысячи евреев жили в Палестине, воспитывали там детей, выдвигали собственное руководство, создавали сельскохозяйственные и городские поселения, и все это, в конце концов, делалось только благодаря сионистскому движению за границей. Это и само по себе можно было рассматривать как успех. Для будущих историков даже этот мрачный период приобретает более светлый оттенок. Но я не была ни человеком со стороны, ни историком, и только желала, страстно и пламенно, принять активное участие в том, что надо сделать, чтобы ситуация улучшилась.

Мне повезло. Гистадрут (Всеобщая федерация еврейских трудящихся) — организация, в которой и для которой мне пришлось проработать так много лет, была заинтересована в работе людей моего типа. Я уже поработала в Тель-Авиве для "Солел-Боне" и, правда, очень короткое время, продолжала работать и в Иерусалиме, к тому же я знала многих деятелей Рабочего движения. Эти люди нравились мне больше всего и я восхищалась ими. Мне хотелось учиться у них и работать с ними, и с ними я чувствовала себя совершенно как дома. Основные цели Гистадрута они понимали так же, как я — не столько как защиту ближайших экономических интересов трудящихся, сколько создание трудовой общины, преданной будущему евреев в Палестине — тех, кто уже там живет и тех, кто придет потом.

Во многом Гистадрут представлял собой уникальное явление. Он не мог строиться, как другие существующие рабочие организации, потому что положение еврейского рабочего в Палестине ничуть не походило на положение рабочих в Англии, Франции или в Америке. Как и всюду, в Палестине надо было охранять экономические права еврейских — и арабских — рабочих, в том числе право на забастовку, на приличную оплату труда, на отпуск, на отпуск по болезни и т.д. Но ошибкой было бы думать, что Гистадрут, хоть он и

назывался Всеобщей федерацией еврейских трудящихся, есть тред-юнион; это значило бы упрощать ситуацию. И по идее, и на практике он представлял собой нечто, значительно большее. Прежде всего, Гистадрут базировался на единстве всех трудящихся ишува, будь то служащие, киббуцники, "синие воротнички", "белые воротнички", чернорабочие или интеллектуалы; в самого начала Гистадрут был в первых рядах борцов за переезд евреев в Палестину, хотя увеличение эмиграции падало бременем на его собственные плечи.

Во-вторых, Палестина не имела готовой экономики, которая могла бы справиться с постоянным притоком еврейских иммигрантов в страну. Конечно, существовали на поверхности мелкие предприятия, существовали сельскохозяйственные поселения. Но этого было мало для страны с растущим населением, и мы, приехавшие в Палестину, чтобы строить еврейский национальный очаг, знали, что должны создать то, что сегодня так естественно называют "национальной экономикой". Не будем говорить обо всем, что сюда входит — промышленность, транспорт, строительство, финансы, не говоря уже о способах борьбы с безработицей и о соцстраховании. Скажем только, что нашей работой должно было быть создание чего-то из ничего, или почти из ничего. И даже в то время палестинские трудящиеся, немногочисленные и изолированные, не колеблясь возложили на себя через Гистадрут, чего, разумеется, никто от них не требовал, нелегкую ответственность: быть авангардом строящегося государства.

По причине своей глубокой преданности идеалам сионизма Гистадрут рассматривал все аспекты жизни еврейского национального очага как одинаково важные. У Гистадрута, о каком бы проекте ни шла речь, всегда было (да и теперь есть) два критерия: отвечает ли он насущным потребностям нации и приемлем ли он (или необходим) с социалистической точки зрения.

Вот пример: Гистадрут принял решение развивать собственные экономические предприятия, контроль над которыми принимает на себя вся трудовая община

в целом. Уже в 1924 году официально зарегистрированная организация Хеврат ха-Овдим (что можно перевести как Всеобщая кооперативная ассоциация еврейских трудящихся Палестины) представляющая всех и каждого члена Гистадрута, стала "владельцем" всех предприятий, тогда немногочисленных, которые были у Гистадрута в активе. Одним из этих предприятий был "Солел-Боне", и когда в 1927 году он распух и лопнул, никто за пределами Рабочего движения не мог себе представить, что он может когда-либо быть восстановлен. Но Гистадрут знал, что существует и всегда будет существовать потребность в строительной компании, отвечающей национальным требованиям так, как не смогла бы отвечать в то время компания частных предпринимателей. И через некоторое время "Солел-Боне" возродился. Теперь, пережив несколько реорганизаций, в том числе реорганизацию 1958 года (когда он перестроился на базе трех компаний – строительной, заморских и портовых работ и индустриальной с ее филиалами), это одна из самых больших и успешно работающих компаний на Ближнем Востоке. Когда я вспоминаю, какое напряжение, какое уныние царили в 1927 году в темной иерусалимской конторке "Солел-Боне", где не хватало наличных денег, чтобы хоть раз в месяц заплатить бухгалтеру, и сравниваю это с теперешним "Солел-Боне" – 50 000 мужчин и женщин, рабочих и служащих, годовой оборот 2,5 миллиарда – я готова спорить с любым, кто скажет, что сионизм совместим с пессимизмом, а социализм не действенен, если он не беспощаден.

Тем критикам еврейского рабочего движения, которые пятьдесят лет назад говорили, что у Гистадрута слишком романтическое и грандиозное представление о своей роли и поэтому он обречен на провал, я скажу, что "Солел-Боне" не только выстоял пять очень трудных десятилетий, но и сыграл решающую роль в строительстве тысяч домов, школ, больниц и дорог в Израиле – а также в тех израильских проектах, которые осуществлены были в Африке, Азии и на

Ближнем Востоке. Но ведь "Солел-Боне" — только одно из созданий Гистадрута. Существуют десятки других, в разных областях — в сельском хозяйстве, промышленности, народном образовании, культуре, даже в медицине — и все они были созданы в стойком убеждении, что трудящиеся Израиля выражают себя именно в строительстве того, что теперь является еврейским государством.

Во всяком случае я была в восторге (и мне очень польстило), когда в один дождливый день Давид Ремез, увидев, что я с кем-то остановилась на улице около тель-авивского здания Гистадрута, подошел и спросил, не хочу ли я вернуться на работу и не соглашусь ли стать секретарем "Мозцет ха-поалот" (Женского рабочего совета) Гистадрута. Это был тот самый Давид Ремез, который четыре года назад предложил нам с Моррисом работать в иерусалимском отделении "Солел-Боне". По дороге обратно в Иерусалим я приняла решение — нелегкое решение. Я понимала, что если возьму эту работу, мне придется много ездить и по стране, и за ее пределами, и что нам придется искать квартиру в Тель-Авиве, что было непросто. Но — и это было куда серьезнее и труднее — я должна была признать тот факт, что возвращение на работу означает конец моим попыткам целиком посвятить себя семье. Я еще не смела даже себе признаться в окончательном поражении, но уже поняла за эти четыре года, что мое замужество оказалось неудачей. И поступить на работу с полным рабочим днем — означало примириться с этим обстоятельством — а это меня пугало. Но с другой стороны, твердила я себе, для всех — для Морриса, для детей, для меня — будет лучше, если я буду довольна и удовлетворена. Может, я смогу со всем справиться, все совместить: спасти то, что осталось от нашего брака, быть хорошей матерью Менахему и Сарре и жить интересной и целеустремленной жизнью, к которой я так стремилась.

Разумеется, все вышло не совсем так. Ничто не выходит точно так, как задумано. Но, честно говоря, не

могу сказать, что я когда-либо пожалела об этом своем решении или сочла его неправильным. А горько я жалею о том, что хотя мы с Моррисом и остались супругами и любили друг друга до самой его смерти в моем доме в 1951 году (символично то, что я в то время была в отъезде), мне все-таки не удалось сделать наш брак удачным. Мое решение в 1928 году означало, что мы расстаемся, хотя окончательно мы расстались только десять лет спустя.

Трагедия была не в том, что Моррис меня не понимал — напротив, он слишком хорошо меня понимал и знал, что не может ни создать меня заново, ни переделать. Я оставалась сама собой, а из-за этого у него не могло быть такой жены, которую он хотел бы иметь и в которой нуждался. И поэтому он не стал отговаривать меня от возвращения на работу, хотя и знал, что это в действительности означает.

Он навсегда остался частью моей жизни — и, уж конечно, жизни наших детей. Узы между ним и детьми никогда не слабели. Они его обожали и виделись с ним очень часто. У него было что им дать, как было что дать мне и он оставался для них прекрасным отцом даже после того, как мы стали жить раздельно. Он читал им, покупал им книжки, часами говорил с ними о музыке, и всегда с той нежностью и теплотой, которые были для него так характерны. Он всегда был спокойным и сдержанным. Посторонним он мог казаться неудачником. Но дело в том, что он жил богатейшей внутренней жизнью, куда более богатой, чем моя, при всей моей активности и подвижности — и это богатство он щедро делил с близкими друзьями, с семьей и, прежде всего, со своими детьми.

Итак, в 1928 году я уехала в Тель-Авив с Саррой и Менахемом — Моррис приезжал к нам только на уик-энды. Дети пошли в школу — одну из тех, которые содержал Гистадрут, — а я стала работать.

Женский рабочий совет и сестринская заграничная организация — Женщины-пионеры — был первой и последней женской организацией, для которой я работала.

Меня влекло туда не потому, что они занимались именно женщинами, но потому, что меня очень интересовала их работа, в частности — на учебных фермах, которые они устроили для девушек-иммигранток. Сегодня Рабочий совет (часть Гистадрута) занимается главным образом социальным обслуживанием и трудовым законодательством для женщин (льготы по материнству, пенсионные дела и т.д.), но в тридцатые годы он делал упор на профессиональную подготовку сотен девушек, приезжавших в Палестину, чтобы работать на земле, не имея никакого трудового опыта. Эти учебные фермы давали девушкам куда больше, чем просто профессиональные навыки. Они помогали ускорить их интеграцию в новое общество; девушки изучали там иврит и получали чувство стабильности на новой земле, куда приехали без семьи и зачастую против воли родителей. Эти "женские рабочие фермы" были устроены тогда, когда большинство людей считало абсурдом самую мысль о том, что и женщинам надо давать профессиональную подготовку, да еще в области сельского хозяйства.

Я не поклонница того феминизма, который выражает себя в сожжении лифчиков, ненависти к мужчинам или в кампаниях против материнства, но я испытывала глубокое уважение к таким женщинам как Ада Маймон, Беба Идельсон, Рахел Янаит-Бен-Цви, много и энергично работавшим в рядах партии Поалей Цион и сумевшим вооружить десятки городских девушек теоретическими знаниями и практическими навыками, которые помогли им справиться с сельским трудом в новых палестинских поселениях. Доля этих девушек в развитии поселений была очень велика. Такой конструктивный феминизм действительно делает женщинам честь и значит гораздо больше, чем споры о том, кому подметать и кому накрывать на стол.

Конечно, о положении женщин можно сказать многое (многое — даже, может быть, слишком многое — уже было сказано), но я свои взгляды по этому вопросу могу сформулировать кратко. Разумеется, сле-

дует признавать равенство мужчин и женщин во всех отношениях, но, и это справедливо и по отношению к еврейскому народу, не надо женщинам стараться быть лучше всех для того, чтобы чувствовать себя людьми, и не надо думать, что для этого им следует поминутно творить чудеса. Однако тут надо рассказать анекдот, когда-то ходивший по Израилю — будто бы Бен-Гурион сказал, что я — "единственный мужчина" в его кабинете. Забавно, что он (или тот, кто выдумал это) считал, что это величайший комплимент, который можно сделать женщине. Сомневаюсь, чтобы какой-нибудь мужчина почувствовал себя польщенным, если бы я сказала о нем, что он — единственная женщина в правительстве.

Дело в том, что я всю жизнь прожила и проработала с мужчинами, но то, что я женщина, никогда мне не мешало. Никогда у меня не возникали чувство неловкости или комплекс неполноценности, никогда я не думала, что мужчины лучше женщин, или что родить ребенка — несчастье. Никогда. И мужчины со своей стороны никогда не предоставляли мне каких-нибудь особенных льгот. Но, по-моему, правда и то, что для женщины, которая хочет жить не только домашней, но и общественной жизнью, все гораздо, гораздо труднее, чем для мужчины, ибо на нее ложится двойное бремя. Исключением являются женщины в кибуцах, где организация жизни позволяет им и работать, и воспитывать детей. А жизнь работающей матери без постоянного присутствия и поддержки отца ее детей в три раза труднее жизни любого мужчины.

Моя жизнь в Тель-Авиве после переезда может до некоторой степени служить иллюстрацией ко всем этим трудностям и дилеммам. Я вечно спешила — на работу, домой, на митинг, на урок музыки с Менахемом, к врачу с Саррой, в магазин, к плите, опять на работу и опять домой. И до сего дня я не уверена — не повредила ли я детям, не забрасывала ли я их, хоть и старалась не задерживаться ни на час нигде. Они выросли здоровыми, трудолюбивыми, талантливыми и доб-

рыми, они стали чудными родителями для своих детей, чудными товарищами для меня. Но когда они были еще подростками, оба они, и я это знала, очень не любили мою общественную деятельность.

Чтобы приготовить им обед, я вставала по ночам. Я чинила их одежду. Я ходила с ними на концерты и в кино. Мы всегда много разговаривали и много смеялись. Но не были ли Шейна и мама правы, обвиняя меня в том, что я не додаю детям того, что им положено? Думаю, что никогда не смогу ответить на этот вопрос удовлетворительно для себя и никогда не перестану его себе задавать. А гордились ли они мною, тогда или потом? Мне хочется думать, что да, но я не уверена, что гордость за мать возмещает ее частые отлучки. Помню, однажды я председательствовала на каком-то митинге и, ставя вопрос на голосование, сказала: "Поднимите руки, кто за!" Каково же было мое изумление, когда я увидела в зале (куда они незаметно прокрались, придя за мной) Сарру и Менахема — они оба дружно подняли руки, выражая этим, что они тоже "за". Это был самый приятный для меня вотум доверия, но я все-таки чувствовала, что голосовать за мать менее важно, чем находить ее дома, когда приходишь из школы.

И, конечно, потом я еще и за границу часто уезжала. И тогда чувство вины совсем уж подавляло меня. Я им все время писала, даже наговаривала для них "говорящие письма", никогда не возвращалась без подарков — и все-таки вечно чувствовала, что наношу им обиду. В 1930 году я выразила свои чувства в анонимной статье, написанной для сборника воспоминаний активисток ишува того времени. Может быть, для современных женщин будут небезынтересны кое-какие места из той давнишней статьи, потому что современные машины — стиральные, посудомоечные, сушильные, — хоть и очень помогли бы мне в ту пору, все-таки и сейчас не решили бы проблем, тревоживших меня тогда.

"Как правило, внутренняя борьба и порывы отчая-

ния матери, которая ходит на работу, ни с чем несравнимы. Но внутри этого правила есть вариации и оттенки. Есть матери, которые работают лишь тогда, когда вынуждены это делать — муж болен или потерял работу, или семья еще каким-то образом выбита из колеи. Ее действия для нее самой оправданы необходимостью — иначе нечем будет кормить детей. Но есть женщины, которые не могут оставаться дома по другим причинам. Какое бы место в их жизни ни занимали семья и дети, их натура, все их существо требует большего: они не могут отделить себя от жизни общества. Они не могут допустить, чтобы их горизонт ограничивался детьми. Эти женщины не знают покоя.

Теоретически все ясно. Женщина, которая занимается ее детьми — надежна, преданна, детей любит и годится для этой работы; дети вполне присмотрены. Есть даже теоретики-педагоги, считающие, что для детей лучше, если матери не хлопочут вокруг них постоянно; что мать, отказавшаяся от внешнего мира ради мужа и детей, сделала это не из чувства долга, преданности и любви, а по причине своей неспособности, потому что ее душа не может вместить многосторонность жизни, с ее страданиями — но и с ее радостями. Пусть женщина осталась с детьми и не занимается ничем другим — разве это доказывает, что она более преданная мать, чем та, что работает? Если у женщины нет любовников, доказывает ли это, что она больше любит мужа?

Но мать страдает и на самой своей работе. У нее всегда есть ощущение, что ее работа была бы продуктивнее, если бы ее делал мужчина или даже незамужняя женщина. Дети, со своей стороны, всегда ее требуют, и когда здоровы и, особенно, когда больны. Вечное внутреннее раздвоение, вечная спешка, вечное чувство невыполненного долга — сегодня по отношению к семье, завтра по отношению к работе — вот какое бремя ложится на плечи работающей матери”.

Статья эта не слишком хорошо написана, сегодня она кажется мне недостаточно свободной — но тогда я писала ее, страдая по-настоящему.

Не говоря уже обо всем прочем, Сарра болела несколько лет подряд. Нам сказали, что у нее не в порядке почки — не было месяца, когда бы мы в тревоге не обращались к врачу. Она была хорошенькая, веселая, очень подвижная девочка, послушно соблюдавшая диету, глотавшая лекарства и, если надо, неделями остававшаяся в постели. Непросто было оставлять ее с кем-нибудь в те дни, когда она лежала; когда же она была на ногах, то за ней нужен был глаз да глаз. Шейна и мама очень мне помогали, но мне всегда казалось, что я должна давать им объяснения и извиняться за то, что ухожу на работу с утра и возвращаюсь поздно вечером.

Недавно мне попало в руки письмо, которое я в это время написала Шейне. Меня на несколько месяцев послали в Штаты — с поручением к организации "Женщины-пионеры". Семь лет, с самого 1921 года, я не была в Америке. По дороге я побывала в Брюсселе на съезде Социалистического Интернационала. Брюссель меня поразил. Я совершенно забыла, каков мир за пределами Палестины; меня изумляли деревья, трамваи, лотки с цветами и фруктами, прохладная облачная погода. Это было так непохоже на Тель-Авив. Все приводило меня в восторг. Так как я была самым молодым членом делегации (куда входили Бен-Гурион и Бен-Цви), у меня хватало времени и на то, чтобы осматривать город, и на то, чтобы слушать часами речи знаменитых социалистов, которых я, конечно, не встречала прежде — таких, как Артур Гендерсон, лидер Британской лейбористской партии, или Леон Блюм, впоследствии первый во Франции премьер-министр-социалист и еврей. Гендерсон только что согласился организовать "Лигу для рабочих Палестины", за что подвергся жестоким нападениям — кого бы вы думали? — социалистов-евреев — антиссионистов! — и по отношению к нам атмосфера была грозная. Несмотря на все, что происходило вокруг, я однажды выкроила час, чтобы, воспользовавшись отдалением, завоевать Шейну и убедить ее,

что я не просто эгоистичная плохая мать. Я писала ей из Брюсселя:

”Мне нужно только, чтобы меня поняли и мне поверили. Моя общественная деятельность не случайность, она мне абсолютно необходима... Перед отъездом доктор заверил меня, что состояние Саррино здоровья это позволяет, то же я установила и в отношении Менахема... При нашей теперешней ситуации я не могла отказаться от того, что мне поручали. Поверь, я понимаю, что это не ускорит приход Мессии, но, по-моему, я должна воспользоваться всякой возможностью, чтобы объяснить влиятельным людям, чего мы хотим и кто мы такие...”

И хотя сама Шейна вскоре должна была уехать в Америку, чтобы учиться там диетологии, оставив в Палестине двух старших детей, она продолжала обвинять меня в том, что я теперь, как она выражалась, ”общественная фигура, а не столп семьи”. И мама меня ругала тоже. Думаю, что больше всего их огорчало, что из-за моих частых отлучек детям приходилось обедать в нашей общественной, довольно спартанской, но хорошей столовой, входившей в блок домов, построенных для рабочих на нашей улице Яркон, в приморской части северного Тель-Авива.

Вообще же мы жили хорошо. Одну из наших трех комнат я всегда сдавала, так что дети никогда не были одни (годами я спала — и как крепко! — на кушетке в нашей гостиной-столовой), а уезжая за границу, я всегда находила человека, который бы смотрел за ними. Но, конечно, они видели меня меньше, чем следовало бы, а у меня никогда не хватало времени, зато с избытком хватало тревог по поводу того, как примирить требования семьи с тем, чего от меня требует моя работа.

Сегодня Правление Гистадрута помещается в огромном здании на одной из главных улиц Тель-Авива; это улей, гудящий сотнями голосов, телефонов, пишущих машинок. Тогда не было ничего похожего. У нас было несколько комнат, две-три машинистки, один теле-

фон и все знали друг друга. Мы были товарищами — "хаверим" — в буквальном смысле этого слова; хоть мы все время спорили между собой по всяким техническим мелочам, взгляды на жизнь у нас были общие, как и ценности. Связи, которые у меня завязались тогда, не порвались и теперь — хотя в последние годы пришлось мне провожать в последний путь многих из тех, кто тогда был молод, как и я, как и Гистадрут.

Трое-четверо из этих людей стали известны и за пределами ишува. О Бен-Гурионе, который, по справедливости, стал для всего мира воплощением всего Израиля и который почти наверное останется в памяти людей как один из истинно великих евреев 20 столетия, я буду говорить позже. Он был единственным среди нас, о ком можно сказать, что он был буквально необходим народу в его борьбе за независимость. Но в то время я его мало знала. Хорошо я узнала тогда Шнеура Залмана Шазара, который стал третьим президентом Израиля; Леви Эшкола, ставшего третьим премьер-министром; Давида Ремеза и Берла Кацнельсона; Иосифа Шпринцака — первого председателя Кнессета.

Я встретила впервые с Шазаром (фамилия которого, прежде чем он ее гебраизировал, была Рубашов) сразу после того, как мы уехали из Мерхавии в Тель-Авив. Это было 1 мая, рабочий праздник, и мы с Моррисом пришли на сбор, проводившийся под руководством Гистадрута во дворе гимназии "Герция". Я не слишком люблю слушать длинные речи — даже если они посвящены рабочему движению — и немножко отвлеклась. Но тут слово взял молодой человек. Как сейчас вижу его: крепко сложенный, в русской рубашке — эти рубашки носили тогда палестинские рабочие, — с кушаком, в брюках защитного цвета. Он говорил с таким жаром, с таким энтузиазмом и на таком изумительном иврите, что я сразу же спросила, кто это. "Рубашов, — ответили мне с каким-то укором, словно я должна была это знать. — Поэт и писатель. Очень значительный человек". Когда я с ним познакомилась, он

произвел на меня очень сильное впечатление и через некоторое время мы стали очень близкими друзьями.

В отличие от некоторых из нас, кто, не будь сионистского движения, никогда бы особенно не выдвинулся, Шазар был замечательно одаренным человеком. Это был настоящий ученый, достигший вершин еврейской образованности, как и надлежало потомку знаменитой хасидской фамилии (он носил имена первых любавичских раввинов) — и талантливейший журналист, эссеист и редактор. Он умер в 1974 году, в возрасте восьмидесяти пяти лет, через год после того, как ушел с президентского поста. Когда он уже был очень старым человеком, молодые израильтяне не могли скрыть улыбки (думаю, добродушной, все-таки), когда он произносил свои длинные, эмоциональные и цветистые речи, стиль которых не изменился с двадцатых годов.

Но Шазару всегда было что сказать, хотя иной раз ему для этого требовалось время. Будучи президентом, он всегда подчеркивал, что главное — это единство "семьи Израиля", как он называл всю еврейскую общину страны — и тех, кто, как он, приехал из Европы, и многие тысячи тех, кто приехал из арабских стран и для которых ни хасидизм, ни идишская культура не значили ничего. Много лет Шазар был редактором ежедневной партийной газеты "Давар". Помнится, кто-то сказал мне: Залману гораздо приятнее исправлять ошибки в чужих писаниях, чем писать самому. Ему следовало бы быть учителем.

Он никогда не преподавал, но в 1948 году стал первым израильским министром образования и с наслаждением взялся за эту работу. Очень люблю историю про его первый день в министерстве — она показывает, какой это был теплый, лишенный претензий и преданный делу человек. Он обнаружил, что для него — министра — есть комната и есть мужчина-секретарь, но нет пишущей машинки. Это его не смутило. Он повесил шляпу, сел и с живостью сказал секретарю: "Запишите, пожалуйста. Нет машинки? Неважно. Пишите от руки. Гото-

вы? "Все израильские дети в возрасте от 4 до 18 лет должны получать бесплатное образование самого высокого качества". Когда секретарь заметил, что, быть может, лучше с этим подождать несколько дней, поскольку государству всего один день от роду, Шазар вспыхнул: "Когда речь идет об образовании, я не хочу никаких споров. Это мой первый министерский приказ, и я за него отвечаю". И в самом деле, очень скоро он издал постановление о всеобщем и бесплатном образовании в Израиле.

Когда Шазар был президентом, а я премьер-министром, я виделась с ним так часто, как только могла. Он ненавидел сравнительную изоляцию, в которой находится в Израиле президент; я звонила ему и приходила к нему, чтобы удержать его, не дать ему впутаться в чреватые политические ситуации, особенно же партийного порядка. "Залман, не забывай, что ты теперь президент, — говорила я. — Ты не должен вмешиваться". И Шазар горестно качал головой, но принимал мой совет.

Леви Эшкол (его фамилия в России была Школьник) — другой многообещающий молодой человек, с которым я подружилась в 1920 годы. Хотя и он тоже происходил из хасидской семьи в России, он был полной противоположностью Шазару. Он был гораздо больше человек действия, чем слова. Ему было девятнадцать лет, когда он приехал в Палестину; поработав сельскохозяйственным рабочим в разных частях страны, он записался в Еврейский легион вместе с Бен-Гурионом и Бен-Цви (много лет он похвалялся, что получил звание капрала раньше, чем Бен-Гурион). Когда война окончилась, он стал членом киббуца Дгания-Бет, откуда его кооптировали в Гистадрут, но его связь с этим киббуцом никогда не порывалась. Это был типичный идеалист-практик той эпохи. Главными его интересами были земля, вода и оборона, — не обязательно в таком порядке — и счастливее всего он был, когда работал над этими земными и основополагающими проблемами. Абстрактная политика не слишком при-

влекала его, а бюрократические процедуры он просто ненавидел — но стоило дать ему конкретное задание, как он брался за его выполнение с присущим ему упрямством, искренностью и прозорливостью. Хотите еврейский национальный очаг — селите евреев на землю, сколько бы ни стоила земля, какие бы препятствия ни ставило британское правительство на пути тех организаций, которые хотят эту землю купить. "Да тут и нагайкой невозможно взмахнуть", — говорили в британском управлении колоний в 1929 году в извинение своей непростительной политики, ограничивающей еврейскую иммиграцию и покупку земли. Тридцать лет Эшкол высматривал места для новых поселений и в качестве главы отдела поселений Еврейского Агентства он курировал создание новых еврейских сел — примерно около 400. Но поселений не может быть без ирригации, а ирригации — без воды: в поисках воды Эшкол организовал интенсивные разведывательные работы. Они стоили дорого — поэтому он искал и денег на их осуществление, и находил и воду, и деньги — хотя и не в том количестве, которого хватило бы навсегда. Но если, имея и землю, и воду, вы, к несчастью, имеете еще и очень враждебно настроенных соседей, то вы должны приобретать оружие и обучать армию; вклад Эшкола в вооруженные силы Израиля, начиная с 1921 года, когда он вошел в первый комитет обороны Гистадрута и до тех пор, пока он был премьер-министром и министром обороны — с 1963 года — достоин особого рассказа. Во время Шестидневной войны, когда он был премьер-министром, его много и несправедливо ругали за так называемые "колебания" — между тем, лидер, который не колеблется, посылая в бой молодых людей, есть катастрофа для нации; куча злых анекдотов ходила тогда по поводу его якобы нерешительности. Но величайшей трагедией и страданием Эшкола в последние годы (он умер в 1969 году от сердечного приступа — вежливое название для разбитого сердца) был его разрыв с Бен-Гурионом, лояльнейшим последователем которого он был в течение десятиле-

тий, и по просьбе которого он очень неохотно принял пост премьер-министра в 1963 году. В их конфликт было вовлечено все рабочее движение и, можно сказать, он раздирает Израиль на части — но все это относится к более поздним годам и к этому я еще вернусь.

Эшкол не был, как сейчас модно говорить "харизматичен". У него не было "блеска" — но он был творческой личностью. Он делал то, что действительно надо было делать, как ни трудно это было; люди и их чувства значили для него очень много. Я с самого начала его любила и ему доверяла. Кто мог бы подумать тогда, что он станет премьер-министром, а я сменю его на этом посту? В 1950 годы, когда Эшкол был министром финансов, а я — министром труда, у нас происходили беспрерывные стычки — не на личной почве, разумеется. В те годы молодое государство было наводнено сотнями тысяч нищих, голодных, бездомных евреев из европейских лагерей перемещенных лиц и арабских гетто — разместить их мы могли только, построив для них наши собственные лагеря (так называемые "маабарот").

Однажды Эшкол ворвался в мой кабинет. "Мы должны вытащить их из этих лагерей, — кричал он. — Мы должны расселить их по стране. Не знаю, как мы это сделаем, не знаю, откуда возьмем деньги, не знаю, на что они будут жить — но мы должны вытащить их из лагерей". Я сказала, что сделать это сейчас невозможно, и речи не может быть, нужно время — он был непреклонен, — и был совершенно прав. Не думаю, что Израиль пережил бы хаос тех лет, если бы Эшкол не настоял, чтобы около 700000 иммигрантов немедленно были вывезены из этих "приемных центров" и распределены по стране в палаточных городках, за несколько дней покрывших землю, словно поганки. Но в конце концов именно это помогло их абсорбции.

Мне, как министру труда, надлежало найти этим людям работу и вытащить их из жалких палаток; и я вечно мучила Эшкола требованием денег на спецпроекты и строительство жилья. Но он ставил во главу

угла другие дела, а лозунг у него был один. "Слушай, — говорил он мне, — дома не доятся, доятся коровы. Если тебе сейчас нужны деньги — пожалуйста. Но только на коров". Однажды я так рассердилась, что пошла к Бен-Гуриону и заявила, что ухожу в отставку. Я ведь соглашалась быть министром труда и развития (это включало домостроительство), а не министром безработицы и палаток! В конце концов я, конечно, не ушла в отставку, а Эшкол каким-то образом наскреб денег на домостроительство.

Еще один дорогой друг тех лет — Давид Ремез, о котором я уже говорила. Это был такой же теплый человек, как Эшкол, и у него было такое же чувство юмора; как и Эшколу, ему пришлось разрешать насущные проблемы сионизма, в частности в "Солел-Боне", а потом в гистадрутовских проектах, разрешавших проблемы транспорта — сухопутного, морского и даже воздушного. Ремез принадлежал к последней волне "Второй алии", как мы ее называем (примерно 35 000 евреев, прибывавших в Палестину в промежутке между 1909 и 1914 годом) и был, пожалуй, типичен для этого поколения пионеров. В юности он писал стихи, читал и рассуждал о социализме, на всю жизнь увлекся ивритом и изучал право в Константинопольском университете, где познакомился с Бен-Гурионом, Бен-Цви и молодым тогда Моше Шаретом. Но, приехав в Палестину, он отложил в сторону теорию и книжки, взялся за кирку и лопату и в течение пяти нелегких лет осуществлял то, что прежде проповедовал, работая в апельсиновых рощах и на виноградниках страны.

Всю свою жизнь (он умер в 1951 году) Ремез сохранял страстно заинтересованное отношение не только к содержанию Рабочего движения (рабочее единство и будущее социализма в еврейском национальном очаге), но и к его форме. Возрождением языка он занимался не меньше, чем морским транспортом, и любимым его отдыхом было создавать нужные ивритские слова из древнееврейских корней. Слова, которые он

изобретал, были, что характерно, связаны с реальной жизнью, а не с идеологией, несмотря на то, что он принимал активное участие в руководстве Рабочим движением и много лет был генеральным секретарем Гистадрута. Кстати, в 1948 году Ремез был одним из авторов Израильской Декларации Независимости. Когда было создано государство, он стал его первым министром транспорта, а потом — министром образования. Мы встречались часто и на многое смотрели одинаково. Ремез был одним из очень немногих моих товарищей, с которыми я обсуждала даже свои личные дела; я принимала его советы и указания — и мне до сих пор их не хватает.

И, главное — был Берл Кацнельсон. Он умер в 1944 году и никогда не увидел государства Израиль — а я часто задумываюсь, что сказал бы он о нем, и о нас. Не сомневаюсь, что если бы Берл был с нами эти тридцать лет, многое у нас сложилось бы иначе — и лучше. Партия, которой он был неоспоримым духовным вождем и руководителем, тверже держалась бы своих принципов и, может быть, нам удалось бы создать общество, в котором было бы больше равенства. Несмотря на то, что он занимал в партии не много постов, роль его была уникальна*. Конечно, я не историк, и не могу, да и не хочу, даже пытаться проанализировать и оценить силу его влияния на всех нас. Но по крайней мере я могу постараться, чтобы его имя узнали за пределами Израиля, потому что это был единственный человек, которого все мы, и Бен-Гурион в том числе, глубоко уважали и любили, безоговорочно подчиняясь его моральному авторитету.

Внешностью Берл не поражал. Маленького роста, вечно растрепанный, в вечно помятой одежде. Его лицо освещено было прелестной улыбкой, а глаза — всегда грустноватые — заглядывали вам прямо в душу, и никто их тех, кто с ним когда-нибудь разговаривал, уже не мог его забыть. Я вижу его таким, каким виде-

* Ани́та Шапи́ра. Берл. Биография (1980, Ам Овед; в пер. на рус. яз., 1985, Библиотека-Алия).

ла сотни раз — в старом потертом кресле в одной из двух уставленных книжными полками комнат (он жил в центре Тель-Авива); туда все к нему приходили и там он работал, потому что теперь не мог официальных кабинетов. "Берл хотел бы, чтобы ты к нему зашел", — это было как приказ, которого нельзя было ослушаться. Он не выносил решений, не отдавал приказаний — просто никакое мало-мальски важное решение, касалось ли оно Рабочего движения или всего ишува, никогда не принималось без того, чтобы Берл предвительно не высказал свое мнение.

Он сидел в своем кресле, подпирая рукой подбородок, и часами говорил и слушал, и почти всегда его мнение было решающим, хотя его официальные посты в партии только и были, что редактор газеты "Давар" и директор издательства "Ам-Овед". Уверена, что если бы он дожил до 1948 года, он не принял бы министерского поста, а мы все по-прежнему ходили бы в нему за указаниями и одобрением. И уж конечно не ложная скромность мешала Берлу стремиться к власти. Его в самом деле нисколько не интересовал механизм политики, это было для него слишком тривиально; он со жгучим интересом искал зерно каждой проблемы, каждого решения. Он, как археолог, копал ради истины — и большей частью докапывался до нее, нисколько не заботясь, модно ли это и принесет ли это ему популярность. И до самой его смерти, на всем протяжении двадцатых, тридцатых и начала сороковых годов, никто в партии не решал важного вопроса, не спросив сначала: "А что об этом думает Берл?"

Было у него еще два выдающихся качества, кроме неутолимой жажды истины. Это был человек пронзительного ума и поразительного обаяния. Его мудрость изумляла, его личность притягивала. На партийных конференциях он большей частью стоял в коридоре и разговаривал о важных делах с "неважными людьми", а не сидел за столом с партийными лидерами, и когда приходила его очередь выступить, все кидались его искать. Он не был оратором. Он никогда не произно-

сил речей, не обращался к кому-нибудь особо. Он просто стоял на эстраде и беседовал — иногда часами, попивая воду, с величайшей простотой взвешивая "за" и "против". Свой великолепный интеллект он использовал для того, чтобы все прояснить, пробиться сквозь путаницу и рассмотреть дело со всех сторон. И никто не писал записок, не шептался, не выходил, пока говорил Берл, хоть иной раз это затягивалось на два-три часа.

Во что он верил? Как и большинство из нас — хотя мы могли бы и забыть, если бы Берл не напоминал нам так часто — он верил, что наш социализм должен быть непохож ни на какой другой, что мы создаем не тред-юнион, а общество, и что в общине, где еще нет классов, классовая борьба не имеет значения. Он верил, что сионизм — одно из самых великих революционных движений в мире и говорил, что это ось, вокруг которой вращается современная еврейская история. Это, говорил он, "тотальное восстание против заточения в диаспору — любой формы заточения", и "создание трудового еврейского населения, подготовленного к труду во всех областях сельского хозяйства и промышленности". Он был интеллектуальным отцом многих важнейших детищ Гистадрута: он первый сказал, что необходимо создать рабочий банк, кооперативное общество оптовой торговли, страховой фонд на случай болезни.

Именно потому, что он во всем умел различать самое главное, он первый сказал, что иммиграция в Палестину должна быть широкой и не селективной (а тогда в партии была тенденция поддерживать в первую очередь пионеров, получивших за границей сельскохозяйственную подготовку) и поддержал так называемую "нелегальную иммиграцию". "Отныне, — сказал он, — нас поведут не пионеры, а беженцы". Он говорил это о судьбе всего ишува, ступень за ступенью, в малых масштабах совершающего героические деяния и идущего к своему окончательному оформлению — к которому он и пришел, хотя Берл до этого и не дожил.

Одно из "малых, но героических дел", за которое он взял на себя ответственность — переброска палестинских евреев-парашютистов за нацистскую линию фронта (согласованная с армиями союзников), в отчаянной попытке добраться до евреев Европы в годы Второй мировой войны. И он же был первым, кто сформулировал срочную необходимость потребовать государства для евреев, хотя миру это требование изложил Бен-Гурион на митинге 1942 года в нью-йоркском отделе "Билтмор".

Интересно отметить, что такой эрудит, как Берл, никогда нигде формально не учился. Он был довольно болезненным ребенком и его учили дома, почему у него оставалось много времени для чтения. "Я прочел все, что попадалось мне в руки, — сказал он мне однажды, — Талмуд на древнееврейском и на арамейском, Пушкина и Горького по-русски, Менделе Мохер Сфарима на идиш, Гете и Гейне по-немецки". К тому времени, как он достиг Бар-Мицвы — в тринадцать лет — отец его умер, и Берл стал давать частные уроки, чтобы помогать содержать семью.

Поскольку Берлу требовалось немало времени, чтобы прийти к какому-нибудь заключению, он очень восхищался людьми вроде Бен-Гуриона, который принимал решения быстро и сразу переходил к действию. Он считал Бен-Гуриона величайшим государственным деятелем, какой есть у партии — и у еврейского народа — "в наше время", а у Бен-Гуриона фотография Берла стояла на письменном столе до самого дня его смерти. (Это та единственная фотография, которая теперь находится в моей гостиной.) Но однажды прохладное отношение Берла к политическому шагу, к которому склонялся Бен-Гурион, послужило причиной того, что партия проголосовала против Бен-Гуриона. Конечно, Берл не интриговал и не толкал никого в противоположном направлении. Достаточно было руководству партии узнать, что Берл не поддерживает что-либо, как это "что-либо" подвергалось тщательному изучению, даже если это предлагал Бен-Гурион. В 1937 году Бен-

Гурион поддерживал предложение английской комиссии (Пиля) о разделе Палестины. Берл против этого возражал на том основании, что британцы никогда не закончат раздела, а наше согласие навсегда останется на документе и, без всякого сомнения, будет использовано против нас. Берл был прав.

У него было любящее сердце, ему был чужд цинизм, он посвящал много времени и внимания молодежи — может быть потому, что у него не было своих детей. Когда мне бывало нужно с ним поговорить, он уводил меня на долгие прогулки. Далеко за полночь, бывало, мы с ним ходили взад и вперед по бульвару Ротшильда и говорили, говорили обо всем: о том, что происходит в России (он ненавидел большевиков), о роли иврита в сионистской революции, о необходимости печатать на иврите хорошие занимательные книги, о необходимости поддерживать единство еврейского народа, соблюдая субботу и кашрут во всех общественных учреждениях еврейского национального очага. Он терпеть не мог соблюдать расписание, он проводил со мной столько времени, сколько я хотела, ни разу не взглянув на часы — и за это я его любила тоже. В любом месте страны он встречался с группами молодежи и выслушивал их. Помню, незадолго до его смерти, я однажды в субботу повезла компанию молодых людей (включая Сарру) в киббуц, где Берл проводил уик-энд; целый день они просидели на лужайке — Берл и пятнадцать мальчиков и девочек, — беседуя и слушая друг друга. Он организовал в Реховоте месячные курсы для молодежи — и я как сейчас вижу его, в его старой, нахлобученной на лоб серой фуражке среди молодежи, у входа — и он слушает не очень оригинальные соображения какого-то мальчика по поводу Гистадрута.

И, конечно, я никогда не забуду той страшной ночи, когда Берл скончался в Иерусалиме от удара. Много лет спустя, когда убили президента Кеннеди, и Соединенные Штаты замерли, потрясенные, я вспомнила другую ночь, за тридцать лет перед тем, когда умер Берл,

и никто из нас не мог себе представить, как же все будет без него. Я была в Тель-Авиве. Возвращаясь в автобусе из театра "Габима", я заметила, что люди перешептываются, словно случилось что-то ужасное. Ужасные вещи в 1944 году происходили все время, и когда я увидела у дверей своего дома на улице Яркон группу друзей, я немного встревожилась. Они ждали меня. "Берл умер", — сказали они. Говорить больше было не о чем. Я немедленно поехала в Иерусалим. Бен-Гурион в ту ночь был в Хайфе; после того, как он услышал это сообщение, никто уже не осмеливался с ним заговорить. Всю ночь он пролежал на постели, не раздеваясь; его трясло, он плакал. Он потерял единственного человека, чье мнение он действительно ценил, а может быть — и единственного настоящего друга.

6. "МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ ПРОТИВ ГИТЛЕРА"

В 1929 и 1930 годах я часто уезжала за границу. Один раз я ездила в США по делам Женского рабочего совета, и два раза — в Англию — как представитель рабочего движения. Конечно, в те дни люди не перескакивали через океан в самолетах (хотя я впервые полетела на самолете в 1929 году в Соединенные Штаты — и сидела прямая как палка, окоченев со страху, но надеясь, что никто этого не видит), и каждая поездка за границу длилась несколько недель. Я знала, что Менахем и Сарра очень боялись моих долгих отлучек. В тех редких случаях, когда я из-за мигрени оставалась дома и не выходила на работу, дети, вне себя от радости, танцевали вокруг меня, распевая: "Нынче наша мама дома! Голова у ней болит!" От этой песни голова не проходила, зато начинало болеть сердце: но я уже к тому времени научилась, что ко всему можно привыкнуть, если надо, даже к вечному чувству вины.

Странно было после семилетнего отсутствия опять оказаться в Штатах. Как будто приезжаешь в незнакомую страну. Мне понадобилось время, чтобы освоиться, опять научиться свободно ходить по Нью-Йорку, приладиться к расписанию железных дорог и городского транспорта, даже привыкнуть к звукам английской речи вокруг, хотя, собственно, большинство женщин, с которыми мне пришлось работать, говорили на идиш. Организация, куда я была послана — Женщины-пионеры — была основана Рахел Янаит-Бен-Цви всего три-четыре года назад и вошли в нее жены активистов американского Поалей Цион. Почти все они родились в Евро-

не. Дома они говорили на идиш и, вероятно, люди, их знавшие, находили, что они очень похожи на их матерей — такие же типичные трудолюбивые "идише мамэ", основной заботой которых было накормить семью и охранять дом. Но они были иными. Это были молодые женщины с идеалами, с политическими убеждениями, либерально настроенные, для которых все, происходившее в Палестине, было очень важно. Они находили время, чтобы принимать участие в деятельности организации и в собирании средств для учебных ферм в Петах-Тикве, Нахалат-Иехуде и Хадере, которых они никогда не видели и не рассчитывали когда-либо увидеть. Более того, идеалы Поалей Цион были в 1929 году не слишком популярны, и всего меньше — в Штатах, так что кампания Женщин-пионеров в пользу Женского рабочего совета была, мягко выражаясь, делом нелегким.

Я делала, что могла, чтобы их поддержать и воодушевить. Произносила речи, отвечала на сотни вопросов, объясняла необходимость "женских учебных ферм", рассказывала о новом обществе, создаваемом в еврейской Палестине под руководством рабочего движения, которое гарантирует полную эмансипацию женщин. Говорила и о внутренней политической жизни сионизма в Палестине, и меня изумил — и порадовал — интерес, который эти женщины проявили к разным оттенкам политических верований, представленных в те времена в политических фракциях ишува. Через год предстояло слияние двух самых больших рабочих партий — Ха-позл ха-цаир ("молодой рабочий"), находившейся под сильным влиянием А.Д. Гордона, и Ахдут ха-авода (к которой и я, и они принадлежали) на основе социалистической идеологии и того, что обе считали себя принадлежащими к Социалистическому интернационалу. Несмотря на существовавшие между ними разногласия, они объединились в одну партию под названием Мапай; Ха-шомер ха-цаир, состоявший в основном из киббуцников с марксистской идеологией, остался вне объединенной партии.

Много позднее, уже в 1940 годы, от Мапай отдели-

лась группа, затем соединившаяся с Ха-шомер ха-цаир и образовавшая новую партию — Мапай ("единая рабочая партия"). В конце 60 годов произошли и другие комбинации и перемены. Но много лет подряд Мапай доминировала. Ее история — это история самой страны, и государство Израиль еще ни разу не имело правительства, где Мапай не была бы хоть в маленьком большинстве. Для меня Мапай с самого начала была моей партией, и я никогда не колебалась в своей преданности ей, как и в убеждении, что лучшей основой для социалистического сионизма является управление объединенной рабочей партии, представляющей разные оттенки мнений. Не раз в последовавшие годы мне посчастливилось проводить свое убеждение в жизнь.

Как бы то ни было, Женщины-пионеры с огромным интересом относились к тому, что происходило в Палестине, и я испытывала большое удовлетворение от того, что играю роль в их работе, хоть меня и беспокоило их твердое решение оставаться идишской общиной в стране, где еврейская иммиграция из Европы сокращалась с каждым годом. Они, конечно, уверяли меня, что все их дети говорят на идиш, и что газеты и театр на идиш в Америке процветают по-прежнему. Но я тоже приехала из страны иммигрантов, и так же, как я была уверена, что в Палестине идиш со временем уступит место ивриту, так же я была уверена, что если Женщины-пионеры хотят, чтобы он и дальше существовал в Америке, они должны пополнить свои ряды более молодыми, американизированными женщинами, говорящими по-английски. И об этом тоже я много говорила с моими американскими подругами.

Чтобы повидаться с сестрой Кларой, я поехала в Кливленд. К тому времени она была замужем за молодым человеком по имени Фред Стерн и имела красивого и умного сына, которого звали Даниэль Дэвид. Я не видела Клары с ее отроческих лет, и хотя мы изредка писали друг другу (родители, разумеется, переписывались с ней регулярно), мне пришлось к ней привыкать заново. Казалось — да так оно и было — мы бес-

конечно далеки друг от друга. Все, что было мне дорого, находилось в Палестине. Все, что было дорого Клара, находилось в Соединенных Штатах. Я была всей душой предана делу сионизма, и моя карьера (хоть я никогда мысленно этого так не называла) естественно развивалась в рамках рабочего движения ишува; Клара и Фред были социологами, и у Фреда в это время уже была ученая степень. Он был очень умный, начитанный и культурный человек. Вырос он, можно сказать, на улицах Милуоки, где с шести лет продавал газеты и, как говорится, полностью "сам себя сделал". Они были вовлечены в еврейскую жизнь не меньше, чем я, но не на политическом или национальном, а на общинном уровне, как социальные работники, — и мы говорили на разных языках. Я понимала, что Клара остается в Штатах не потому, что жить там легче (их бедность в Кливленде меня просто испугала), а потому, что она считала, что здесь ее место. Ее интерес к Палестине носил чисто академический характер, а Фред, тот и вовсе через несколько часов сказал мне, что он не одобряет национализма вообще и считает сионизм крайне реакционным движением.

Клара и Фред решили, что у них будет только один ребенок, чтобы они могли дать ему все, но, как говорила мама, "Менч трахт ун Гот лахт" (что соответствует русской, менее саркастической, поговорке "Человек предполагает, а Бог располагает"); Даниэль Дэвид умер восемнадцати лет от тяжелой болезни, находясь в рядах американской армии. После этого заболел Фред. Он потерял ногу и много лет пролежал в постели. Но Клара никогда себя не оплакивала, продолжала усиленно работать и, несмотря на все трагедии, добилась больших профессиональных успехов. Еще до того, как умер Дэвид и заболел Фред, они переехали в Бриджпорт (штат Коннектикут), и там она стала главой объединенного Еврейского комитета. Но тогда, в 1929 году, я поняла только, что моя младшая сестра не поедет к нам в Палестину, и это меня огорчало.

В 1930 году я опять уехала — на конференцию жен-

щин-социалисток в Англию. Там было более 1000 делегатов и я, пожалуй, впервые поняла, до какой степени люди за пределами Палестины, неевреи, могут быть заинтересованы тем, что уже называли "Палестинской проблемой". Я выступала всего несколько минут — но после этого меня попросили выступить в разных частях Англии и впервые я встретила британцев в их собственной стране. Женщины-социалистки, бомбившие меня вопросами о Гистадруте, о киббуцах, о Женском рабочем совете, о том, как мы живем и как обращаемся с арабами, ничуть не походили на тех немногих англичанок, которых я встречала в Палестине. Там англичане смотрели на нас, как на странно-непонятное туземное племя, куда менее очаровательное, чем смиренные и живописные арабы, и куда более претенциозное и требовательное. Но в Англии — в Лондоне, Манчестере и Гулле — я разговаривала с женщинами, по-настоящему восхищенными сионистским "экспериментом", которые, пусть не всегда с сочувствием, все же стремились узнать факты.

Я решила, что на них сионистская риторика не произведет большого впечатления, и что тут сослужит службу правдивое освещение кое-каких домашних дел. В 1929 году опять поднялась волна арабских беспорядков, направляемая муфтием Иерусалима Хадж Амином аль-Хуссейни (тем самым, который стал известен своей профашистской и нацистской агитацией во время Второй мировой войны) и, хотя британцы восстановили порядок, они сделали это с расчетом создать у арабов впечатление, что никто не будет особенно сурово наказан за убийство или ограбление евреев. Поэтому я была особенно рада, что могу объяснить как было дело моим английским сестрам-социалистам.

Тогда же я встретилась — и тоже впервые — с женщинами, членами британских кооперативных обществ, и слушала их восторженные рассказы о чудесах Советской России. Помнится, я думала, что если бы их можно было привезти в Палестину и показать, что мы осу-

ществили там, они бы и о нас говорили захлебываясь. Я и теперь так думаю и верю, что одно посещение Израиля стоит больше, чем сотня речей.

Я еще раз побывала в Лондоне в том году — как делегат имперской лейбористской конференции. Рамзи Макдональд был тогда премьер-министром. Несмотря на то, что сам он сочувствовал прогрессу ишува и даже был им озабочен, именно его правительство выпустило в 1930 году печально знаменитую "Белую книгу" Пасфилда, приостановившую еврейскую иммиграцию и создание новых поселений. Через тринадцать лет после Декларации Бальфура оказалось, что англичане куда более озабочены умиротворением арабов, чем выполнением своих обещаний евреям. В Лондоне мне цинично сказали: "Вы, евреи, хотели получить во владение национальный дом, а получили всего-навсего квартиру в наем". Но правда была еще горше. Начиная казаться, что квартирохозяин хочет и вовсе разорвать контракт, хотя в 1930 году никто, разумеется, и представить себе не мог, что всего через восемнадцать лет британцы заявят, что мандат совершенно несуществим.

Может быть оттого, что я так долго жила в Америке, я не в такой мере была очарована британцами, как многие мои коллеги. Мне нравился английский народ, и в том числе лейбористское руководство, я даже восхищалась ими, но не могу сказать, что меня так уж поражало, когда они обманывали наши ожидания. В те годы многие, если не все, палестинские евреи сохраняли патетическую уверенность, — несмотря ни на что! — что Британия будет верна своим обязательствам, несмотря на все усиливающееся арабское давление и на традиционную проарабскую позицию министерства колоний. Вероятно, такое нежелание посмотреть фактам в лицо и увидеть, что британское правительство меняет взгляды на свою ответственность перед сионистами, коренилось в глубочайшем уважении, которое британская демократия внушала евреям, выросшим в Центральной Европе 19 века.

Даже много лет спустя большинству моих коллег британские парламентские и гражданские установления и обычаи казались почти что чудом, тогда как меня, выросшую в демократической стране, они ослепляли меньше. Замечательно, что несмотря на долгий, тяжкий и порою трагический конфликт между нами и британцами, несмотря на то, каким финалом он закончился в 1948 году, мы, израильтяне, все еще относимся к британскому народу с большим и сердечным уважением, и в тех случаях, когда от нас отворачиваются англичане, страдаем больше, чем когда это делают другие нации. Этому есть много причин. Одна из них, конечно, та, что Британия дала нам Декларацию Бальфура. Другая — евреи никогда не забывали, как британцы в одиночку противостояли нацистам, а третья, думаю, основана на врожденном еврейском уважении к традиции. Во всяком случае за тридцать лет существования мандата ишув всегда подчеркивал разницу между Палестинским мандатным правительством и британским народом, между простыми людьми Англии и чиновниками министерства колоний и иностранных дел и надеялся добиться британской поддержки. Но на политическом уровне, во всяком случае, это осталось историей безответной любви.

Вероятно, меня раньше или позже так или иначе послали бы опять в США, но в 1932 году Сарра по-настоящему серьезно заболела, и тут я сама предложила поехать в Америку с детьми, чтобы девочка могла получить там квалифицированную медицинскую помощь (правда, наши врачи были не уверены, сможет ли она перенести такое путешествие). Выглядела она ужасно. Лицо ее распухло так, что почти не видно было глаз, и температура не спадала. "Ты ее убьешь, если повезешь в Штаты, — сказал один врач. — Нельзя везти ее через океан". Специалисты его поддерживали. Она ничего не ела; были дни, когда она могла проглотить только шесть-семь стаканов очень сладкого чая и ничего больше. "Это суп, — говорила она, выпивая один стакан — Это мясо, это хлеб, это морковка, а это — пудинг"

Однажды ночью, когда Менахем и Сарра уже спали, мы с Моррисом до утра просидели на балконе, решая, что делать — и к утру приняли решение. Я пошла в Женский рабочий совет и спросила, нельзя ли направить меня представителем к Женщинам-пионерам.

“Если ее отсюда не увезти, она может умереть тут, и мы до конца дней своих будем знать, что сделали не все возможное”, — объясняла я родителям, которые считали дальнейшее путешествие с таким больным ребенком полным безумием. Но я знала, что у нас нет альтернативы и что я не могу сидеть сложа руки у ее постели, наблюдая, как она слабеет, бледнеет и распухает день ото дня, пока не угаснет совсем.

План поездки был сложный. Моррис оставался работать в Хайфе, а я отправлялась одна с детьми — сначала поездом в Порт-Саид, потом на французском корабле в Марсель, оттуда поездом в Шербург и оттуда, наконец, на пароходе “Бремен” — в Нью-Йорк. Это продлится недели две — а кто знает, что случится с Саррой за эти две недели? Но я знала, что другого выхода нет — и мы пустились в наше опасное путешествие.

Мне кажется, за эти две недели я не отдыхала ни минуты. Менахем вел себя очень хорошо и все время занимался своими делами, а Сарра, учитывая, что ей было всего шесть лет и она была так больна — просто изумительно. Казалось, она чувствует, как я за нее боюсь, и чувствует, что должна меня успокоить. У нас была каюта с двумя койками, и по ночам я приносила с палубы складное кресло, лежала около Сарры, наблюдая за ней и, может быть, по-своему молилась.

Милые старые друзья, Фанни и Джейкоб Гудмэн, поместили нас в своей квартире в Бруклине, и я тут же начала хлопотать об устройстве Сарры в больницу Бет-Израэль в Нижнем Манхэттене (Ист-сайд). Кому приходилось класть в больницу ребенка, не нужно рассказывать, что значит оставлять его на попечение больничного персонала. Для Сарры не только больница была непривычна, но и язык — она ведь ни слова не знала по-

английски, и первые две недели она только рыдала, умоляя меня не оставлять ее одну.

Врачам Бет-Израэль понадобилось немного времени, чтобы поставить диагноз. У Сарры действительно была болезнь почек, но не та, от которой ее лечили в Палестине. При ее болезни не нужна была ни строгая диета, ни постельный режим. Как только она наберется сил, как оказалось, она сможет пойти в школу, кататься на роликах, плавать, ходить и бегать по лестницам. Ее стали лечить, она стала поправляться, набирать вес и через шесть недель ее выписали из больницы "совершенно здоровой", как я, заливаясь слезами облегчения, написала Моррису.

Теперь у меня было время и для своей работы, и для Менахема, которому не разрешалось навещать Сарру в больнице и который поэтому почти не видел меня с тех пор, как мы приехали в Нью-Йорк. Он был страшно сердит, что она уже немного научилась английскому языку у больничных сестер, в то время как он старался объясняться на смеси иврита и идиш. Дети очень скучали по Моррису и ненавидели мои поездки по городам по делам Женщин-пионеров, из-за которых, случалось, я по месяцам не бывала "дома". Но я возила их к Кларе с Фредом и к матери Морриса, на детские концерты, в кино и в оперу, и надеялась, что пребывание в более богатом, чем Тель-Авив, мире возместит их пересадку в чужую почву. Как бы то ни было, оба они расцвели, а Сарру было буквально не узнать. Конечно, ни один из них не говорил вслух, что в Штатах лучше или роскошнее, чем в Палестине, и я не могу сказать, что их не смущало пребывание за границей. Помню, что Менахем никак не мог понять, почему все нью-йоркские друзья говорят, что будут голосовать за Рузвельта. "Почему не за Бен-Цви или Бен-Гуриона?" — спрашивал он.

Я же в эти два года напряженно работала. Когда я уехала, журнал Женщин-пионеров, который я некоторое время редактировала, воздал мне несколько преувеличенную хвалу. Вот что там было написано:

”Голди привезла нам дуновение душистых апельсиновых рощ в цвету, распускающихся деревьев; ухаживаемые коровы и куры, победа над неподдающейся землей и опасными стихиями — все это результат работы, работы, работы. Это работа — не под принуждением, не ради личной выгоды, нет; пот и кровь, поля и пашни, дороги и цемент, бесплодная сушь и терпенье, болота и болезни, опасности, лишения, препятствия, скорби, вдохновение — и работа, работа во имя работы, во имя восторга созидания... Ее красноречие и искренность, гордость и простота внушили слушателям ее почтение к нашему делу и уважение к нашей организации. Мы постараемся вовлечь ее почитателей в нашу работу и надеемся, что достигнем успеха”.

Но сама я из этих долгих поездок (одна из них продолжалась восемь недель подряд; я везде рассказывала о Палестине, старалась собрать для нее деньги и завербовать новых членов для нашей организации) лучше всего запомнила запах вокзалов и звук моего собственного голоса. Конечно, собирали тогда не миллионы долларов, как случается ныне, и редко когда община собирала даже столько, сколько предполагала. Но каждый грош и тогда значил не меньше, чем теперь. Женщины-пионеры Нью-Арка (штат Джерси) рассчитывали с октября 1933 до июля 1934 собрать 165 долларов, а собрали лишь 17 долларов 40 центов; чикагский Вестсайдский клуб думал собрать 425 долларов, а наскреб всего 76; это означало, что члены организации должны сделать еще дополнительное усилие. Опять надо устроить базар или лотерею, а может быть — бал-маскарад (за вход куда можно было брать по 25 центов), а может — еще одну лекцию ”Роль женщины в киббуце” или ”Жизнь трудящихся в Палестине”.

Вот что было в типичном письме (из Виннипега), которое мне прислали в штаб Женщин-пионеров в Нью-Йорке:

”У нас есть председатели, которые занимаются отдельными участками нашей работы, и им помогают комитеты. Мы собираемся еженедельно, и на каждом

собрании у нас читают важные лекции. На прошлой неделе у нас с лекцией выступал д-р Хеннел, очень интересно рассказавший о своей поездке в Палестину. Первым нашим финансовым предприятием в этом году был "серебряный чай" — мы собрали 45 долларов. Теперь мы собираемся устроить праздник Ханукки, но еще не решили в какой форме. Сейчас все наши члены с энтузиазмом готовятся к ланчу по 5 долларов с человека и очень ждут вашего приезда сюда".

Той же почтой пришло письмо из Кливленда — просили меня помочь с организацией пикника: будет игра в поиски сокровищ и кухня на воздухе, а также — культурная программа: лекция "Зарождение и развитие политических групп в сионизме". Тут же — письмо из Канзаса, в котором меня просили выступить на митинге и прочесть на общей "встрече субботы" лекцию "на какую-нибудь еврейскую тему". Мне пришлось ночевать в десятках семейств Соединенных Штатов и Канады, и набросать, по-английски и на идиш, сотни программ для учебных групп. Я бывала очень утомлена, но мне никогда не было скучно, а главное — я никогда ни на минуту не усомнилась в большом и актуальном значении той работы, которую вели Женщины-пионеры.

Об этих бесконечных разъездах сохранились и забавные воспоминания. В метельное зимнее утро я приехала в Виннипег на поезде, который прибывал очень рано. Не увидев никого из тех, кто должен был меня встретить, я предпочла поехать в близкую гостиницу вместо того, чтобы будить кого-нибудь из женщин в такой ранний час. Не успела я распаковать вещи, как зазвонил телефон. Голос, в котором было отчаянье: "Миссис Меерсон, мы все на вокзале. Вас приветствовать пришла большая делегация. Как же я могу сказать им, что мы вас пропустили? Как можно нанести такой удар их энтузиазму, их восторгу, что они первые пожмут вам руку? Они будут так огорчены!"

И я сказала: "Не беспокойтесь, я буду там через несколько минут". Я сложила вещи, вызвала такси и

через пятнадцать минут опять была на вокзале, где встретилась с делегацией, которая благополучно и проводила меня туда, где я должна была остановиться.

В одном из городов Восточного побережья мне нужно было выступать три раза: в субботу вечером, в воскресенье утром и в воскресенье вечером. В воскресенье днем я прилегла на часок отдохнуть, но тут пришла председательница местного отделения организации, села ко мне на кровать и сказала целую речь. "Слушайте, Голда, — твердо сказала она, — вы говорите очень хорошо, но не так, как должна говорить женщина. Когда тут была Рахел Янаит-Бен-Цви, она плакала и мы плакали с ней вместе. Но вы говорите, как мужчина, и никто не плачет".

Я только и могла на это ответить, запинаясь: "Мне очень жаль, но я в самом деле не могу говорить иначе". Она видела, что я смертельно устала, но хотела выполнить свою миссию и просидела у меня весь этот дорогой для меня час, снова и снова повторяя, что я должна научиться говорить, как женщина. Особенно ее огорчило, сказала она, что я рассказывала Женщинам-пионерам не только о Женском рабочем движении, но и вообще о Гистадруте, о проблемах иммиграции и политическом положении, и она сомневается, чтобы это помогло собрать деньги.

С другой стороны, я конечно знала далеко не все о том, как эти деньги собирают. В маленьком городке на Среднем Западе все члены организации были, встречая меня, очень взволнованы. В этом году они собрали больше денег, чем когда-либо, хотя это была очень маленькая группа. Я спросила: "Как вы это сделали?"

— О, ответили они, — мы играли в карты.

Я так и взвилась.

— Для Палестины вы играете в карты? Разве так и деньги нам нужны? Хотите играть в карты — играйте, но не ради нас.

Все промолчали, только одна женщина спросила очень спокойно: "Хавера Голди, а вы в Палестине не играете в карты?"

— Конечно, нет, — с яростью ответила я. — За кого вы нас принимаете?

Через год, вернувшись домой, в Тель-Авив, я заметила, что кое-кто из членов Гистадрута по вечерам играет в карты у себя на балконе — но, слава Богу, не на деньги. Мне захотелось написать той женщине и извиниться, но я не знала ее имени.

Между поездками я писала редакционные статьи для журнала и открывала распродажу продуктов, изготовленных или выращенных в Палестине. В Бронксе я осуществила еще один проект — продажу на Пасху мацы, выпеченной в Палестине. Продажу мы устроили в огромном складе — там мы ее паковали, а затем сами продавали всему району. И так как я всегда твердо верила, что нельзя терять драгоценное время, то, пока мы паковали мацу, я учила женщин последним песням ишува.

Статьи мои всегда бывали посвящены политическим вопросам, близко касавшимся Поалей Цион, и теперь я понимаю, почему та говорливая дама находила меня недостаточно сентиментальной — хотя, как писал однажды Бен-Гурион одному из своих коллег, с которым спорил, "Сентиментальность — не грех, ни с социалистической, ни с сионистской точки зрения". Я думала, и сейчас думаю, что люди, посвятившие себя великому делу, заслуживают, чтобы с ними об этом говорили как можно серьезнее и умнее, и вовсе нет необходимости исторгать слезы у участников сионистского движения. Ведает Бог, причин для того, чтобы поплакать, хватает с избытком.

Весной 1933 года я написала статью в ответ на обвинение руководителя Хадассы, что успех Поалей Цион зависит от финансовой поддержки "еврейских буржуев и капиталистов".

Вот что я писала:

"Мы всегда утверждали, что успех работы сионистов зависит от двух внутренних факторов — от работников, которые будут работу делать и от денег, которые дадут возможность эту работу вести. Мы не знали, что

деньги, которые идут от широких еврейских масс, должны носить ярлык "классовых денег"... Мы рассматриваем и деньги Еврейского Национального Фонда, и деньги Керен ха-исод (финансировавшую еврейскую иммиграцию и поселения), и рабочую силу, и пионерское движение (Халуц) как проявление воли и решимости всей нации в целом... Означает ли это, что мы против частного капитала и частной инициативы? Нет, не означает. Поалей Цион прежде всего заинтересован в массовой иммиграции в Палестину. Если мы не сможем осуществить ее с помощью национального капитала, мы приветствуем частный капитал. Да, мы в самом деле говорим, что даже частный капитал должен служить целям сионизма. Частный капитал, не использующий еврейскую рабочую силу, не помогает нашему делу... К сожалению, мы слишком часто видим, что частные предприятия Палестины используются только для личной выгоды, и при этом забывается, что еврейская иммиграция в Палестину прежде всего зависит от наличия рабочих мест в стране. И мы подчеркиваем снова: частный капитал, не использующий еврейскую рабочую силу, в стране не приветствуется, потому что такой частный капитал не способствует массовой эмиграции, которой желаем и мы, и Хадасса..."

Летом 1934 года мы собрались домой. Я совершила последнюю поездку по Штатам, чтобы проститься с Женщинами-пионерами, с их клубами, и собраниями, с которыми я так близко познакомилась. Я была полна уважения к этим немодным, преданным, работающим женщинам, которые так хорошо отнеслись ко мне, и мне хотелось, чтобы они знали, как я им благодарна. Я была уверена: что бы ни случилось в Палестине, они всегда будут нам поддержкой и помощью -- и, конечно, время доказало, что я была права.

Я приехала в Нью-Йорк в 1932 году с двумя маленькими детьми, ни слова не говорившими по-английски. Я вернулась в Палестину в 1934 году с двумя маленькими детьми, говорившими и по-английски, и на иврите -- и полными радости, что снова увидят Морриса. В

жизни Морриса было много разочарований, но источником постоянного счастья было то, что Менахем глубоко интересовался музыкой и имел к ней несомненный талант. Хотя впоследствии я, а не Моррис, носила за Менахемом виолончель на его уроки музыки (пока он не вырос, чтобы носить ее сам), но именно Моррис много лет слушал по субботам его упражнения, ставил для него пластинки, укреплял и углублял его любовь к музыке.

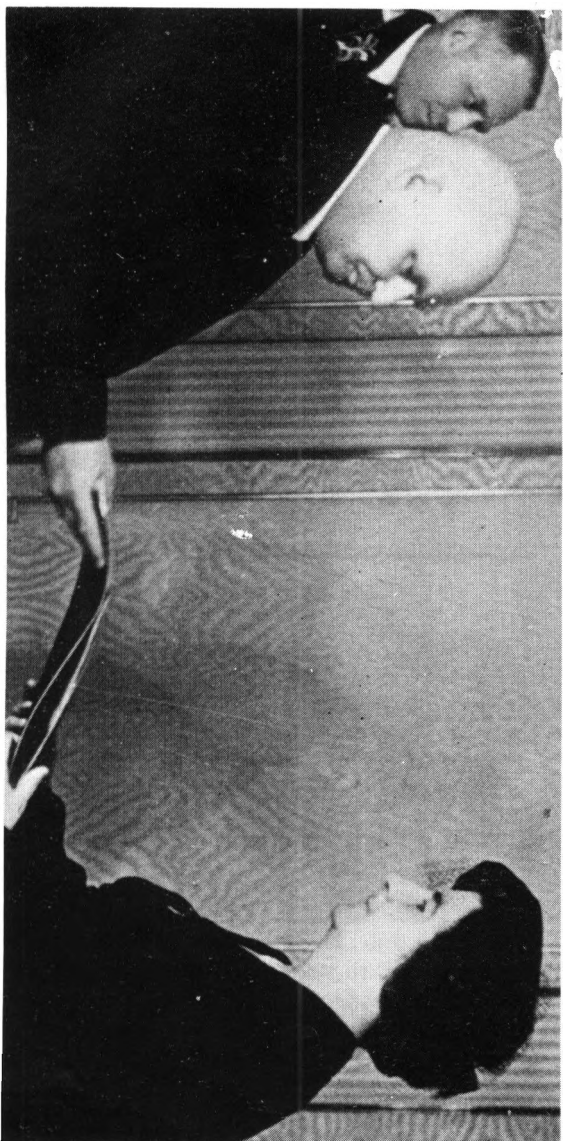
Но меня в Палестине ожидало дело, еще более серьезное, чем должность национального секретаря Женщин-пионеров в Соединенных Штатах. Через несколько недель после нашего приезда мне предложили войти в Ваад ха-позл (Исполнительный комитет Гистадрута).

Поскольку Гистадрут в целом представлял очень развитую форму еврейского самоуправления в Палестине, то Ваад ха-позл был его "кабинетом министров" и в этом кабинете, в течение последующих бурных 14 лет, мне поручались разные портфели и ответственные участки работы. Ни один из них, как я вижу теперь, не был легким, ни один не способствовал особой популярности внутри самого Гистадрута. Но одно преимущество у них было: все они так или иначе были связаны с тем, что меня больше всего заботило и интересовало — с проведением социалистических принципов в каждодневной жизни.

Думаю, что если бы экономическая и политическая ситуация в Палестине 1930 и 1940 годов была хорошей — или хотя бы получше, чем была, — то было бы сравнительно нетрудно справедливо распределить тяготы между всеми членами трудовой общины. В конце концов, кроме способа заработать на жизнь, между так называемыми рядовыми членами партии и так называемым руководством Гистадрута не было никаких различий — ни экономических, ни социальных. Все мы получали "фикс" на жизнь, менявшийся лишь в зависимости от старшинства и количества иждивенцев в семье, и у этого правила не было исключений. Знаю, что теперь люди в Израиле, да и везде, считают такой



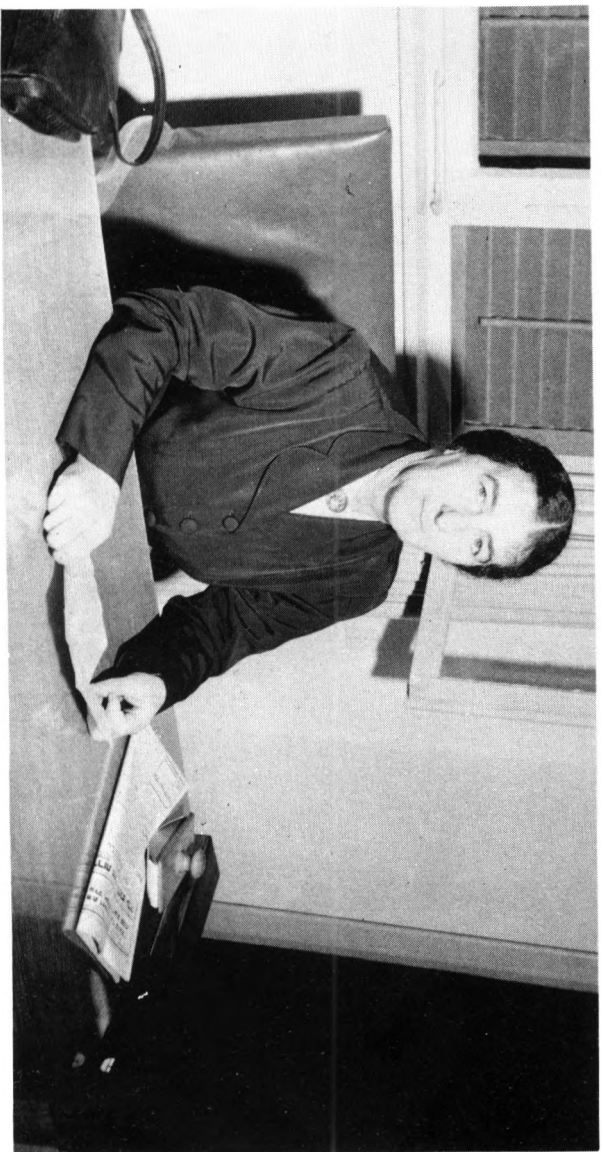
*Голда Меир во время работы в киббуце Мерхавия.
1921 год.*



Г. Меир вручает верительные грамоты заместителю председателя Президиума Верховного Совета СССР Власову. Октябрь 1948 года.



Г. Меир беседует с заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР Власовым после подачи верительных грамот. Справа – Сорин, заместитель министра иностранных дел СССР; на заднем плане А. Горкин, секретарь Президиума Верховного Совета СССР. Октябрь 1948 года.



Г. Меур – министр труда. Октябрь 1949 года.



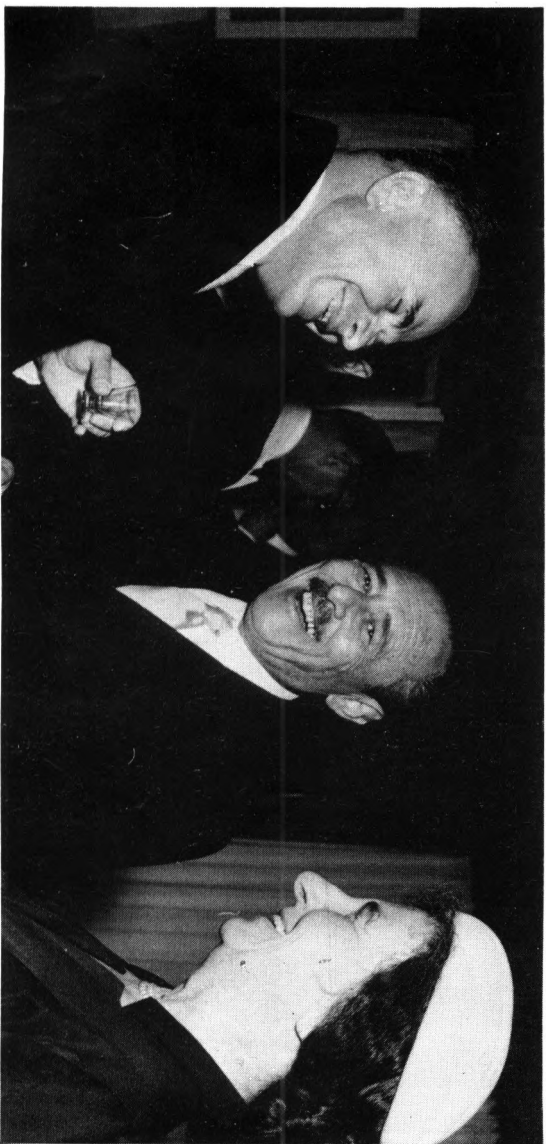
Г. Меир, секретарь партии Авода, на автобусной остановке. Февраль 1968 года.



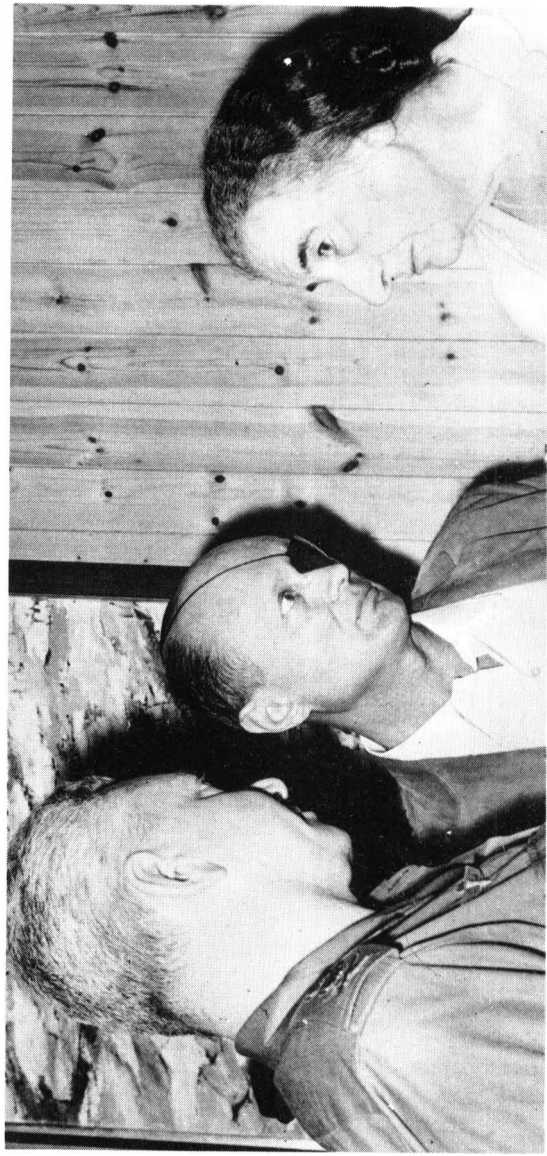
Г. Меир беседует с вождями делегации друзов, возглавляемой шейхом Амином Тарифом, приехавшими пригласить ее участвовать в их празднике в честь Неби Шуэйб в дер. Кфар-Хиттим. 8 апреля 1969 года.



Г. Меир с президентом Кении Джомо Кениатой и Томом Мбоиа. Кения, 1961 год.



Слева направо: Г. Меир, министр иностранных дел Израиля; посол СССР в Израиле М. Бодров и сотрудник израильского министерства иностранных дел Леви Аллон на приеме у президента государства Израиль по случаю празднования Дня независимости. 12 мая 1959 года.



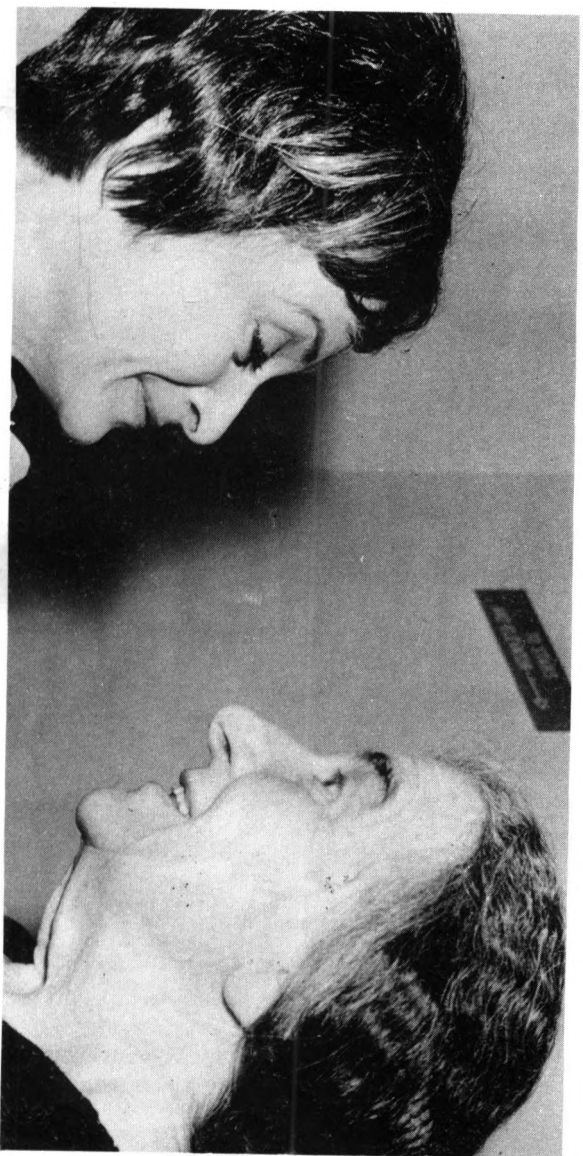
Справа налево: Г. Меир, премьер-министр Израиля; М. Даян, министр обороны Израиля, и Х. Бар-Лев, начальник генерального штаба Армии Обороны Израиля. Иерусалим, 23 апреля 1969 года.



Г. Меир благодарит Л. Бернштейна и А. Стерна после концерта в Белом доме. Вашингтон, 25 сентября 1969 года.



Американские школьники приветствуют Голду Меир, премьер-министра Израиля, на аэродроме в Милуоки (США). 3 октября 1969 года.



Г. Меир, премьер-министр Израиля, приветствует нелицу Н. Лифшиц после ее концерта в Лин-колн-Центре. Нью-Йорк, 5 октября 1969 года.

эгалитаризм старомодным и даже совершенно неприемлемым. Может быть, но я его всегда поддерживала и с ним соглашалась. Я и сейчас считаю, что был добрый социалистический смысл — обычно это и есть добрый здравый смысл — в том, что смотритель здания Гистадрута в Тель-Авиве, имевший девять детей, получал гораздо более толстый конверт, чем я, у которой было только двое.

Социализм на практике не ограничивался тем, что я называла этого смотрителя "Шмуэль", а он меня — "Голда". Это означало еще и то, что у него те же обязанности по отношению к другим членам Гистадрута, что и у меня, а так как экономическая ситуация в Палестине, как и везде в ту пору, была трудная, то именно этот аспект тред-юнионизма стал основным вопросом во многих боях, которые я дала внутри Гистадрута.

Платили же в Гистадрут по скользящей шкале, как платят подоходный налог. Ежемесячно вносилась некая сумма, включавшая плату в союзную кассу, в пенсионную кассу и в купат-холим (рабочая больничная касса), которая называлась единым налогом. Я считала, что этот единый налог должен взиматься со всех денег, которые работающий получил, а не только с основной зарплаты, или среднего заработка, или какой-то теоретической суммы. А иначе — где же "равенство", о котором мы так много говорим? "Все поровну", — верно ли это только для киббуцов, или годится как образ жизни и для рабочих Тель-Авива? И как быть с коллективной ответственностью коллектива Гистадрута за своих безработных членов? Можно ли допустить, чтобы Гистадрут подавал голос в каждом случае, жизненно касавшемся ишува — иммиграция, поселения, самооборона — и отворачивался от своих безработных, чьим детям еле-еле хватает на пропитание? Взаимопошь — одна из основ Гистадрута — без сомнения есть и предварительное условие социализма, каким бы трудным ни было положение работающего члена Союза, и как бы тяжело ему ни было ежемесячно отчислять в

специальную кассу свой однодневный заработок. Я очень остро чувствовала эти вещи и, несмотря на шумное сопротивление, настояла на создании кассы для безработных. Мы назвали ее "Мифдэ", что значит — "искупление", а когда количество безработных выросло (в 1930 годы одно время насчитывалось 10000 безработных членов Гистадрута), я настояла, чтобы налог на безработицу был повышен, и мы создали "Мифдэ-2".

Кое-кто из друзей обвинял меня, что я "разрушаю Гистадрут" и "требую невозможного", но и Бен-Гурион, и Берл Кацнельсон, и Давид Ремез поддерживали меня, и Гистадрут, несмотря ни на что, остался невредин. К тому же оказалось, что кампания за "Мифдэ" была важным прецедентом для куда более тяжелого самообложения, так называемого "Кофер ха-ишув", который несколько времени спустя пришлось ввести, ибо арабские беспорядки 1936 года стоили такое количество жизней и имущества, что нам пришлось наложить оборонный налог на все еврейское население в целом. Даже потом, во время Второй мировой войны, когда мы создали фонд военных нужд и помощи, мы опирались на опыт тех же дней, на создание ненавистного "Мифдэ".

Не прошли мимо меня и горькие последствия (ощущавшиеся еще много лет) ужасной трагедии, поразившей рабочее движение, когда я была в Штатах. Молодой Хаим Арлозоров, одна из восходящих звезд партии Мапай, только что вернувшийся из Германии, где он старался найти пути для спасения немецких евреев после прихода Гитлера к власти, был убит, когда гулял по набережной Тель-Авива со своей женой. В убийстве был обвинен Абрахам Ставский, член ревизионистской партии — ее правого крыла; он был осужден, но потом оправдан кассационным судом за отсутствием улик. Вероятно, личность убийцы никогда не будет установлена, но в то время все руководство, ошеломленное и осиротевшее, было убеждено в виновности Ставского, как и я сама. Арлозоров воплощал умеренность, осторожность, сбалансированный подход к мировым проб-

лемам и, конечно, к нашим собственным тоже, и его трагическая гибель представлялась неизбежным последствием того антисоциалистического правого милитаризма и яростного шовинизма, который защищали ревизионисты. Я не успела хорошо познакомиться с Арлозоровым; но я, как и все знавшие его, находилась под большим впечатлением его интеллектуальной силы и политической прозорливости и была глубоко потрясена, когда в Нью-Йорк пришла весть о его убийстве.

Но больше всего ужаснуло меня то, что в Палестине один еврей мог убить другого, что политический экстремизм внутри ишува мог привести к кровопролитию. Как бы то ни было, трения, много лет существовавшие между левым и правым крылом сионистского движения, после убийства Арлозорова превратились в такую широкую брешь, что она не закрылась вполне и поныне — и, может быть, никогда окончательно не закроется.

В конце 1933 — начале 1934 года в ишувe, особенно в рабочем движении наметились как бы две враждующие группы. Ревизионисты обвиняли Гистадрут в "кровавом навете" и в том, что он держит ишув за горло, не давая работы несоциалистам и стараясь буквально уморить с голоду своих политических оппонентов; по всей стране происходили постоянно столкновения между рабочими, иногда кровавые. Бен-Гурион считал, что любой ценой должно быть сохранено единство еврейской общины в Палестине; многие из нас (я в том числе) с ними соглашались. Он предложил "перемирие" в форме рабочего соглашения между левыми и правыми, которое, по его мысли, должно было положить конец распрям. Неделью за неделей мы с жаром, иногда и с истерикой, обсуждали "договор", — но над всеми спорами тяготело убийство Арлозорова и предложение Бен-Гуриона было, к моему большому сожалению, отвергнуто.

Но наши проблемы не исчерпывались безработицей и внутренними конфликтами. На очереди стояли вопросы еще более серьезные. Тучи собирались над

Палестиной, тучи нависли и над другими странами. В 1933 году Гитлер пришел к власти, и хотя его открыто провозглашенная программа господства арийской расы над миром сперва всем показалась абсурдной, яростный антисемитизм, который он с самого начала проповедовал, явно был не только риторическим ухищрением. Одним из первых действий Гитлера было введение дикого антиеврейского законодательства, лишившего немецких евреев всех гражданских и человеческих прав. Разумеется, тогда еще никто и подумать не мог, что гитлеровский обет истребить евреев будет выполняться буквально. По-моему, это говорит в пользу нормальных, приличных людей: мы не могли поверить, что такое чудовищное злодеяние может быть совершено — или что мир позволит ему свершиться. Нет, мы не легковерны. Просто мы не могли вообразить то, что тогда было невообразимо. Зато теперь для меня не существует невообразимых ужасов.

Но и задолго до гитлеровского "окончательного решения" самые первые результаты нацистских преследований — легально оформленных — были достаточно ужасны, и опять я почувствовала, что существует только одно место на земном шаре, куда евреи могут приехать по праву, какие бы ограничения ни налагали британцы на их иммиграцию в Палестину. К 1934 году тысячи бездомных, исторгнутых из привычной почвы беженцев от нацизма двинулись в Палестину. Кое-кто из них вез с собой то немного, что сумел спасти из своего имущества, у большинства же не было ничего. Это были высокообразованные, трудолюбивые, энергичные люди, и вклад их в ишув был огромен. Но это означало, что население, не достигавшее и 400 000 человек, еле-еле сводящее концы с концами, должно немедленно абсорбировать 60 000 мужчин, женщин и детей, и все вместе они должны противостоять не только растущему арабскому террору, но и равнодушию — чтобы не сказать враждебности -- британских властей.

Одно дело — приветливо принять иммигрантов, особенно беженцев, и совсем другое — абсорбировать их.

Надо было расселить тысячи мужчин, женщин и детей, приехавших к нам из Германии и Австрии, надо было дать им работу, обучить их ивриту, помочь акклиматизироваться. Адвокат из Берлина, музыкант из Франкфурта, химик-исследователь из Вены должны были тут же превратиться в птицевода, официанта, каменщика — иначе никакой работы для них не будет. Им надо было приспособиться — и тоже немедленно — к новому, более трудному образу жизни, к новым опасностям и лишениям. Нелегко это было, и для них, и для нас, и я по сей день считаю из ряда вон выходящим событием, что ишув перенес те трудные годы и вышел из них сильнее, чем когда-либо. Но, по-моему, существует только два разумных — или возможных — способа встречать национальные невзгоды. Один — рухнуть, сдаться и сказать: "Тут ничего не поделаешь". Другой — стиснуть зубы и бороться, бороться на всех фронтах, бороться столько, сколько понадобится — что мы и сделали тогда, что делаем и теперь.

Я теперь часто вспоминаю Палестину 30 и 40 годов, и черпаю запасы бодрости из этих воспоминаний, хотя далеко не все они приятны. Но когда в 1975 году мне говорили: "Как может Израиль со всем этим справиться? Арабы решили уничтожить еврейское государство, у них огромное преимущество в деньгах, людях, вооружении; из России прибывают тысячи иммигрантов; большинство стран мира относится к вашим проблемам в лучшем случае равнодушно; экономическая ситуация такова, что, по-видимому, ей ничем не поможешь!" — я могла ответить только одно, и вполне честно: "Сорок лет назад все было гораздо труднее, и мы все-таки справились — хотя, как и всегда, дорогой ценою". Порой мне в самом деле кажется, что только те из нас, кто действовал сорок лет назад, могут понять, как много с тех пор сделано и как велики были наши победы; может быть потому-то в Израиле самые большие оптимисты — старики вроде меня, которые знают, что такое великое дело, как возрождение нации, не

может совершиться быстро, безболезненно и без усилий.

Мы старались решать главные задачи. Но какой бы острой ни была сиюминутная проблема, надо было выполнять и будничную работу. Для меня это была работа в качестве председателя совета директоров рабочей больничной кассы, проверка условий труда членов Гистадрута, используемых на строительстве британских военных лагерей в разных частях страны, ведение различных деловых переговоров — а также и вся работа по дому, да и Менахему и Сарре надо было помогать готовить уроки. Такова была рутина.

Но в то же время нам надо было принять и сформулировать целый ряд важнейших решений по вопросам общего положения в ишуве. И первейшим был вопрос — что мы можем предпринять в связи с постоянно повторяющимися взрывами арабского террора. За один 1936 год были зверски уничтожены сотни тысяч деревьев, которые евреи сажали с такой любовью, заботой и надеждой; сожжены сотни полей; подстроены бесчисленные крушения поездов и автобусов; и — самое ужасное — было совершено 2000 вооруженных нападений на евреев, в результате которых 80 человек было убито и многие серьезно ранены.

Беспорядки начались в апреле 1936 года. К лету евреям стало небезопасно ездить из одного города в другой. Когда мне надо было поехать из Тель-Авива на митинг в Иерусалим — что случалось часто — я целовала детей на прощанье, зная, что могу и вовсе не вернуться, что мой автобус может быть взорван, что арабский снайпер может застрелить меня при въезде в Иерусалим, что на выезде из Яфо меня может забросать камнями арабская толпа. Хагана (подпольная еврейская организация самообороны) была теперь больше и лучше вооружена, чем во времена беспорядков 1929 года, но, во-первых, мы не хотели делать ее инструментом контртеррора, направленного против арабов, потому что они арабы, а во-вторых, не желали дать англичанам повод для дальнейшего сокращения им-

миграции и поселений, к чему они прибегали всякий раз, когда наша самооборона становилась слишком активной. Хоть сдерживаться и труднее, чем наносить ответные удары, но мы руководствовались одним принципом: несмотря на опасности и страдания наши, нельзя делать ничего такого, что побудит англичан срезать квоту на въезд евреев в Палестину. Политика сдержанности ("хавлага" на иврите) проводилась строжайшим образом. Где и когда было возможно, евреи оборонялись от нападающих, но за все три года, которые англичане с блистательной недоговоренностью решили называть "беспокойными", Хагана не наносила ответных ударов.

Однако весь ишув приветствовал наше решение обороняться, но не наносить ответных ударов. Меньшинство требовало контртеррора и изобличало политику сдержанности как трусливую. Я всегда находилась среди большинства, где все были убеждены, что "хавлага" — одно-единственное этически приемлемое решение, которому можно следовать. Мне по моральным причинам была отвратительна самая мысль, что можно нападать на арабов, независимо от того, виновны ли они в антиеврейских действиях. Конкретное нападение должно быть отражено, конкретный преступник наказан. Это правильно. Но мы не будем убивать арабов только потому, что они арабы, и не будем совершать хулиганских действий, характерных для их методов борьбы.

И здесь я очень коротко отвечаю на смешное обвинение, которое слышу много лет — будто мы игнорировали палестинских арабов и развивали страну, словно арабского населения не существует вовсе. Когда зачинщики беспорядков конца тридцатых годов заявляли, что арабы нападают на нас потому что их "вытесняют", мне не надо было справляться с цифрами британской переписи населения, чтобы знать, что за то время, как евреи стали селиться в Палестине, арабское население ее удвоилось. Я сама наблюдала, с самого своего приезда, этот прирост арабского населения. И дело

было не только в том, что уровень жизни палестинских арабов был гораздо выше уровня жизни других арабов Ближнего Востока, но и в том, что целые толпы арабов переселялись сюда из Сирии и других пограничных стран в течение всего этого времени. Когда какой-нибудь добродушный представитель британского правительства собирался прекратить еврейскую иммиграцию на том основании, что в Палестине недостаточно места, я, помнится, произносила речи о широких абсорбционных возможностях Палестины, опираясь на статистические данные, почерпнутые, как должно, из британских источников, но фактически основанные на том, что я видела собственными глазами.

Добавлю, что в течение тридцатых годов я не переставала надеяться, что наступит время, когда палестинские арабы будут жить в мире с нами как равные граждане еврейского национального очага — так же точно как не переставала надеяться, что евреям, живущим в арабских странах, позволят жить там в условиях мира и равенства. Это было второй причиной, почему наша политика сдержанности перед лицом арабских нападений казалась мне такой жизненно важной. Я чувствовала, что ничто не должно усложнять и отравлять будущее. Получилось не так, но всем нам понадобилось много времени, чтобы признать факты и понять, что примирение, которого мы ожидали, не состоится.

Затем мы приняли решение заполнить экономический вакуум, создавшийся, когда Верховный арабский комитет, под председательством муфтия, объявил всеобщую забастовку с расчетом полностью парализовать ишув. Ни один араб во всей Палестине — приказал муфтий — не выйдет на работу, пока не будет прекращена полностью еврейская иммиграция и покупка евреями земли. На это у нас нашелся простой ответ. Если не будет работать Хайфский порт, мы откроем наш собственный порт в Тель-Авиве. Если арабские крестьяне не будут продавать урожай, еврейские фермеры удвоят и утроят усилия. Если на дорогах Палестины прекратится арабский транспорт, шоферы еврей-

ских грузовиков и автобусов будут работать сверхурочно и покроют свои машины броней. Все, что арабы откажутся делать, так или иначе будем делать мы.

Конечно, было немало людей, чьи суждения, мнения и личность оказали влияние на принятие этих решений — в их число в какой-то небольшой мере входила и я, но тут в первую очередь надо говорить о человеке, чьим выдающимся качеством лидера и чьей поразительной политической интуиции мы все доверяли и тогда, и в последующие годы. Этим человеком был Бен-Гурион, единственный из нас, чье имя — я в это глубоко верю — будет известно и евреям и неевреям даже через сто лет. Я побывала недавно на его могиле в киббуце Сде-Бокер в Негеве, где он провел свои последние годы и где пожелал быть похороненным. Когда я стояла одна у его могилы, я вспомнила свой разговор с ним в 1963 году, после того, что он (во второй и последний раз) ушел в отставку с поста премьер-министра Израиля. Многие из нас упрасивали его изменить свое решение.

”Конечно, — сказала я, — нет на свете человека, без которого действительно никак нельзя было бы обойтись. Ты это знаешь, и мы это знаем. Но я скажу тебе одну вещь, Бен-Гурион. Если бы мы сегодня вышли на Таймс Сквер и стали бы спрашивать прохожих, как зовут президентов и министров всяких больших стран, они не сумели бы ответить. Но если спросить их, кто премьер-министр Израиля? — все они будут знать”. Это не произвело на Бен-Гуриона особенного впечатления; но, по-моему, я сказала правду; более того, я уверена, что в памяти людей имя Бен-Гуриона будет связано со словом ”Израиль” очень долго, может быть — всегда. Никто, конечно, не может предсказать, что или кого явит будущее, но не думаю, что еврейский народ выдвинет когда-нибудь лидера более крупного масштаба или более проницательного и отважного государственного деятеля.

Что он представлял собой как человек? Мне трудно ответить на этот вопрос, потому что трудно описать то-

го, чьим восторженным последователем я была так долго и кому я так упорно противостояла, как в свое время я противостояла Бен-Гуриону. Но я попытаюсь — не претендуя ни на то, что мой взгляд на него единственно правильный, ни на то, что он особенно проницательный.

Первое, что приходит мне в голову сейчас, когда я о нем пишу — с Бен-Гурионом была невозможна тесная близость. Не только для меня — для всех это было невозможно, за исключением, может быть, его жены Поли и, возможно — его дочери Ренаны. Все мы — Берл, Шазар, Ремез, Эшкол — были не только товарищами по оружию, но и любили общество друг друга: мы заходили друг к другу просто поговорить — не только о важных политических и экономических делах, но о людях, о себе, о своих семьях. Но только не Бен-Гурион. Мне и в голову не могло прийти, например, позвонить Бен-Гуриону и сказать: "Слушай, что, если я вечером забегу?" Или у тебя было к нему какое-нибудь дело, которое ты хотел обговорить, или же не было, и тогда ты оставался дома. Он не нуждался в людях так, как все остальные. Ему хватало себя самого — не то что нам. И потому он знал о людях немного, хотя страшно сердился на меня, когда я ему это говорила.

Я думаю, что немалую роль в том, что ему никто не был нужен, сыграло то, что ему было очень трудно беседовать. Он совершенно не умел просто разговаривать, болтать. Как-то он рассказал мне, что в 1906 году, когда он только приехал в Палестину, он почти всю ночь проходил по улицам Иерусалима с Рахел Янаит и не сказал ей ни единого слова. Я могу сравнить это только с историей, которую мне рассказал о себе Марк Шагал. Отец Шагала был в Витебске водоносом. Он целый день таскал ведра и домой приходил поздно вечером. "Он приходил, садился, и мать давала ему поесть, — рассказывал Шагал. — Не помню ни разу, чтобы он ко мне обратился, чтобы у нас был какой-нибудь разговор. Отец весь вечер сидел молча и барабанил по сто-

лу пальцами. Вот я и вырос, не умея разговаривать с людьми". Потом Шагал влюбился в девушку, они встречались несколько лет, но он не мог с ней разговаривать. Он уехал из Витебска, она ждала его, он хотел написать ей письмо и попросить ее стать его женой — но он, как не умел разговаривать, так не сумел и написать письмо. Девушка перестала ждать и вышла замуж за другого. Бен-Гурион был в этом же роде; он, правда, умел писать, но я не могу представить, чтобы он с кем-нибудь разговаривал о своей женитьбе, или о детях, или о чем-нибудь подобном. Для него это была бы пустая трата времени.

С другой стороны, то, что его интересовало или представлялось важным, он делал с полной самоотдачей — и это не все и не всегда могли оценить и понять. Однажды — по-моему, в 1946 году — он попросил освободить его на несколько месяцев от обязанностей по Еврейскому Агентству, которое он тогда возглавлял, чтобы изучить вопрос о Хагане: чем она располагает и что ей понадобится для борьбы, которая, как он был уверен, ей несомненно предстояла. Все смеялись: Бен-Гурион уходит на учебу. Кто в эти дни непрекращавшегося кризиса брал отпуск "для учебы"? Только Бен-Гурион. И когда он вернулся на работу, он знал о реальных силах Хаганы больше, чем все мы, вместе взятые. Через несколько дней после того, как он вышел на работу, он меня вызвал. "Голда, — сказал он, — зайди. Я хочу с тобой поговорить". Он ходил взад и вперед по своему большому кабинету на верхнем этаже. "Слушай, — сказал он, — мне кажется, что я схожу с ума. Что с нами будет? Я уверен, что арабы нападут, а мы к этому не готовы. У нас ничего нет. Что с нами будет?" Он был вне себя от волнения. Мы сели и начали разговаривать, и я рассказала, как боится будущего один из наших партийных коллег, который был всегда против бен-гурионовского "активизма", а теперь, в темные годы нашей открытой борьбы против англичан — и подавно. Бен-Гурион слушал очень внимательно. "Знаешь, нужна большая храбрость, чтобы бояться — и еще большая,

чтобы признаться в этом. Но даже И. не знает самого страшного". К счастью, Бен-Гурион знал. Он присоединил к своей фантастической интуиции всю полученную информацию и начал действовать. Почти за три года до того, как началась Война за Независимость (1948), он отправился к американским евреям за помощью на случай, как он выразился, "вероятной" войны с арабами. Он не всегда был прав, но ошибался нечасто; в данном случае он был прав абсолютно.

Бен-Гурион вовсе не был грубым или бессердечным человеком, но он знал, что иногда необходимо принимать решения, которые стоят человеческих жизней. В те времена, когда многие в ишув думали, что мы не в состоянии создать государство Израиль и наладить его эффективную оборону, Бен-Гурион не видел другого решения, — и я была с ним согласна. Даже у таких людей, как Ремез, были серьезные сомнения. Однажды ночью в 1948 году мы сидели с ним у меня на балконе, смотрели на море и беседовали о будущем. Ремез отчеканил: "Вы с Бен-Гурионом разобьете последнюю надежду еврейского народа". Тем не менее Бен-Гурион осуществил создание еврейского государства. Не один, разумеется, но сомневаюсь, чтобы оно могло быть создано, если бы не его руководство.

Мы с ним сработались с самого начала. Бен-Гурион мне доверял и, думаю, хорошо ко мне относился. Много лет он не разрешал никому критиковать меня в его присутствии, хотя бывали случаи, когда я не соглашалась с ним по важным вопросам — например, предложение комиссии Пилиа о разделе Палестины (1937) или вопрос о "нелегальной" иммиграции, которую Бен-Гурион поначалу не принимал всерьез.

Были ли у него диктаторские замашки? В сущности нет. Говорить, что люди его боялись — вульгаризация, но уж, конечно, он не был человеком, которому легко перечить. В числе людей, впавших у Бен-Гуриона в немилость — и кому он очень осложнял жизнь — были два израильских премьер-министра, Моше Шарет и Леви Эшкол. Были и другие.

Он терпеть не мог, когда его обвиняли в том, что он руководит партией, а позже — правительством, с авторитарных позиций. Как-то на партийном собрании, услышав это обвинение, он воззвал к министру, которого считал безупречным в смысле интеллектуальной честности и который, как Бен-Гурион слишком хорошо знал, нисколько его не боялся. "Скажи, Нафтали, — спросил он, — разве я веду партийные собрания недемократично?"

Перец Нафтали минуту глядел на него, улыбнулся своей чарующей улыбкой и задумчиво ответил: "Нет, я бы не сказал. Я бы скорее сказал, что партия, самым демократическим образом, всегда решает голосовать так, как ты хочешь". Поскольку у Бен-Гуриона совершенно не было чувства юмора (не помню ни одного случая, когда бы он пошутил), то его полностью удовлетворил этот ответ — кстати сказать, не грешивший неточностью.

Рассказывая о правительственных собраниях и голосованиях, я вспомнила разговор, который произошел несколько лет назад на приеме по случаю съезда Социалистического Интернационала. Я сидела с Вилли Брандтом, Бруно Крайским, премьер-министром одной скандинавской страны и Гарольдом Вильсоном, который тогда не был премьер-министром. Мы болтали о разных государственных процедурах, и тут один из них повернулся ко мне и спросил: "Как вы проводите заседания кабинета?"

Я сказала: "Мы голосуем".

Все пришли в ужас. "Вы г о л о с у е т е на заседаниях кабинета?"

"Ну, конечно, — сказала я. — А вы что делаете?"

Брандт объяснил, что он в Бонне докладывает вопрос, затем происходит обсуждение, он резюмирует его и затем выносит решение. Крайский кивнул в знак согласия и добавил: "Если бы кто-нибудь из министров осмелился сказать, что он возражает против этого резюме, которое дал канцлер, и его решения — то ему осталось бы только уйти домой". Но в Израиле все

происходит и происходило, даже в дни Бен-Гуриона, совсем не так. У нас всегда ведутся долгие дискуссии и, если надо, происходит настоящее голосование. Мне не приходилось оказываться в меньшинстве в бытность мою премьер-министром, но поскольку у нас правительства коалиционные и кабинеты министров поэтому большие — а большинство членов израильского кабинета считают, что они не исполняют своего долга, если не будут просить слова по каждому вопросу — то заседания кабинета длятся часами, даже когда вопрос может быть за полчаса решен. Не забуду изумления, выразившегося на лицах Брандта и Крайского, когда я терпеливо объясняла им все это.

Но вернемся к Бен-Гуриону. Самым удивительным в течение его политической жизни было то, даже когда он совершенно ошибался в теории, на практике он обычно оказывался прав, и этим, в конце концов, государственный деятель и отличается от политика. Хотя я никогда и не смогла ему простить обиды, которую он нанес нам в деле Лавона, брани, которой он осыпал прежних товарищей, вреда, который он нанес рабочему движению в последние десять лет своей жизни, я по-прежнему ощущаю то, что ощущала, посылая ему из заграничной поездки телеграмму к дню его рождения. "Дорогой Бен-Гурион, — писала я. — Мы много спорили в прошлом и без сомнения будем спорить и в будущем, но что бы будущее нам ни готовило, никто не сможет отнять у меня сознания, что мне неслыханно посчастливилось, ибо десятки лет я проработала бок о бок с единственным человеком, кто сделал больше любого другого для создания еврейского государства". Я верила в это тогда и верю теперь.

В 1937 году меня опять послали в Соединенные Штаты, на этот раз для сбора средств на новый проект Гистадрута, который я принимала необыкновенно близко к сердцу (кроме того, к моей радости, и мои дети были им прямо-таки очарованы). Речь шла об основании нового предприятия — морских перевозок. Названо оно было по имени первого из детей Израиля, бросив-

шегося в Красное море по приказу Моисея во время Исхода из Египта — "Нахшон". Все в этом проекте радовало мое сердце. Зародился он в уме Давида Ремеза накануне арабской всеобщей забастовки. Древние палестинские евреи были мореходами, конечно; искусство мореплавания было забыто за две тысячи лет изгнания и жизни в гетто и только сейчас оно стало возвращаться к жизни. Забастовка портовых рабочих в Яфо в 1936 году стала для ишува сигналом, что надо собраться с силами и подготовить собственных людей. Как я говорила американской аудитории в разных городах Соединенных Штатов: "Нам надо готовить людей для работы в море, подобно тому, как мы много лет готовили их к работе на земле". Это означало — открыть собственный порт, купить корабли, обучить моряков и вообще, опять превратиться в мореходную нацию.

День, когда открылся Тель-Авивский порт, был в полном смысле слова праздничным днем для евреев Палестины. Меня и сейчас охватывает волнение, когда я вспоминаю, как толпа, ожидавшая на берегу, ринулась в воду, чтобы помочь докерам, евреям из Салоник, выгружать мешки с цементом с югославского корабля — первого, бросившего якорь в Тель-Авиве. Мы все понимали, что деревянный причал — еще не порт, во всяком случае, не Роттердам и не Гамбург — но это был наш причал, и мы очень им гордились и испытывали большой подъем. Позднее деревянный причал был заменен железным и каждый вечер (если англичане не объявляли в Тель-Авиве комендантский час), весь город собирался на берегу, чтобы посмотреть, как идут работы. Поэты писали поэмы о порте, песни складывались в его честь, и, что еще важнее, туда стали заходить корабли.

Что-то привлекало меня в самой идее возвращения евреев к морю, и я, когда только могла, путешествовала на "еврейских" кораблях, первым из которых был пароход "Тель-Авив", на палубах которого впервые обсуждались подробности будущего "Нахшона",

когда Ремез, Берл Кацнельсон и я вместе ехали на сионистский конгресс в Швейцарию. Были, конечно, и скептики, которые не могли понять, почему нам не безразлично, что почти весь палестинский морской транспорт сосредоточен не в еврейских руках; но для меня "Нахшон" был еще одной ступенькой к еврейской независимости, и некоторое время я только и могла говорить о кораблях и рыболовстве и ради сбора средств на это дело снова поехала в США. В каком-то смысле это была, можно сказать, романтическая интерлюдия. Иногда по вечерам, покончив с домашними делами (обед на завтра, починка одежды), зная, что сегодня не будет собрания Рабочего совета и никто не должен ко мне прийти, я усаживалась на своей веранде, остывала под легким бризом, смотрела на море и думала, что было бы, если бы у нас был собственный военно-морской флот и процветающий торговый флот, и пассажирские лайнеры, которые ходили бы под звездой Давида в Европу, Азию и Африку. Это был мой отдых, как у Бен-Гуриона, в тайне от всех, кино и детективные романы, а у других — коллекционирование марок. Я ни на минуту не забывала, что понятие "море" подразумевало для нас куда более мрачные вещи, ибо только морем еврейские беженцы из нацистской Европы могли добраться до Палестины, если им это разрешат англичане. А в 1939 году, когда замаячила на горизонте мировая война, уже было ясно, что британское министерство колоний окончательно поддается арабскому напору и фактически прекратит еврейскую иммиграцию в Палестину.

Комиссия Пиля, объездившая Палестину в 1936 году, внесла рекомендацию — разделить страну на два государства: еврейское, площадью в 2000 квадратных миль, и арабское — вся остальная территория, за исключением интернационализированного Иерусалима и коридора от него к морю. Это не соответствовало моему представлению о жизнеспособном национальном очаге для еврейского народа. Государство получалось слишком маленькое и перенаселенное. Мне это предло-

жение показалось смехотворным, и так я и сказала, несмотря на то, что большинство моих коллег, с Бен-Гурионом во главе, решили, хоть и неохотно, принять предложение комиссии Пиля. "Когда-нибудь мой сын спросит меня, по какому праву я отдала большую часть страны, и я не буду знать, что ему ответить", — сказала я на одном из партийных собраний, где обсуждалось предложение Пиля. Конечно, я не была в партии совершенно одинока. Берл, как я уже говорила, и еще несколько руководящих партийцев со мной соглашались. Но ошибались мы, а прав был Бен-Гурион, самый опытный из всех, настаивая, что любое государство лучше, чем ничего.

Мы так и не получили государства в 1937 году и, слава Богу, не из-за меня, а из-за арабов, которые на чисто отвергли план раздела — хотя, если бы они его приняли, они получили бы "Палестинское государство" сорок лет назад. Но основным принципом поведения арабов в 1936 и 1937 годах был тот самый, который действует и поныне: решения принимаются, руководствуясь не тем, хороши ли они для них, а тем, плохи ли они для нас. Теперь, в свете дальнейшего, ясно, что и сами британцы никогда не собирались осуществить план Пиля. Во всяком случае, я не смогла бы жить, если бы в дальнейшем стало ясно, что план провалился из-за меня. Будь у нас крошечное, смехотворное государство хоть за год до того, как разразилась война, сотни тысяч евреев — а может быть, и больше, — можно было бы спасти от нацистских крематориев и газовых камер.

Несмотря на то, что вопрос об иммиграции очень быстро превращался в вопрос жизни и смерти евреев Европы, мы, казалось, были единственным народом в мире, понимавшим это — и кто стал бы нас слушать? Что мы были такое? Какие-то несколько сотен тысяч евреев, далеко не хозяева собственной судьбы, засунутые в дальний уголок Ближнего Востока, даже полностью не входящий в Британскую империю, не имеющие элементарного права сказать европейским

евреям, находившимся под угрозой: "Идите к нам сейчас, пока еще не поздно". Ключ от ворот в так называемый еврейский национальный дом держали британцы, и ясно было, что они вот-вот эти ворота запрут, независимо от того, что уже тогда происходило.

Но если для европейских евреев недостижима Палестина, как же обстоит дело с другими странами? Летом 1938 года меня послали на международную конференцию о судьбе европейских беженцев, созванную Франклином Рузвельтом во французском курорте Эвиан-ле-Бэн. Я присутствовала там в странном качестве "еврейского наблюдателя из Палестины" и даже сидела не с делегатами, а в зале, хотя беженцы, о которых шла речь, принадлежали к моему народу, к моей семье, и не были для меня нежелательной цифрой, которую нужно, если это вообще возможно, втиснуть в рамки квоты. Страшное это было дело — сидеть в роскошном зале и слушать как делегаты тридцати двух стран поочередно объясняют, что они хотели бы принять значительное число беженцев, но что, к несчастью, не в состоянии это сделать. Человек, не переживший этого, не может понять, что я испытывала в Эвиане — всю эту смесь горя, ярости, разочарования и ужаса. Мне хотелось встать и крикнуть всем им: "Вы что, не понимаете, что эти "цифры" — живые люди, люди, которые, если вы не впустите их, обречены сидеть до смерти в концлагерях или скитаться по миру, как прокаженные?" Конечно, я не знала тогда, что этих беженцев, которых никто не хотел, ожидали не концлагеря, а смерть. Если бы я это знала, то не смогла бы молча сидеть там час за часом, соблюдая дисциплину и вежливость.

И там я вспомнила, что на конгрессе Социалистического Интернационала год назад я видела, как плачут члены испанской делегации, умоляя о помощи, чтобы спасти Мадрид. Эрнст Бевин только и сказал: "Британские лейбористы не готовы воевать за вас". Других слов он в своем сердце не нашел. Много позже я сама получила урок от социалистического братства, но в

Эвиане я впервые с тех пор, как в России маленькой девочкой с ужасом прислушивалась к грохоту казацких копыт, поняла: если народ слаб, то как ни справедливы предъявляемые им требования, этого все равно мало.

На вопрос "быть или не быть?" каждая нация должна ответить по-своему, и евреи больше не могут и не должны зависеть от кого бы то ни было, чтобы им разрешено было оставаться в живых. Немало всего произошло с миром, с ишувом и со мной лично после 1938 года, и многое из того, что произошло — ужасно. Но по крайней мере слов "еврейские беженцы" не слышно больше нигде, потому что теперь существует еврейское государство, готовое и способное принять каждого еврея — квалифицированного и неквалифицированного, старого и молодого, больного и здорового — каждого, кто пожелает там жить.

В Эвиане дело так и окончилось пустыми фразами, но я перед отъездом устроила пресс-конференцию. Все-таки журналистам захотелось услышать, что я скажу, а через их посредство можно было надеяться снова привлечь к себе внимание мира. "Только одно хочу я увидеть прежде чем умру, — сказала я прессе, — чтобы мой народ больше не нуждался в выражениях сочувствия".

И в мае 1939 года, несмотря на эскалацию преследований и убийств евреев в Австрии и Германии, англичане решили, что время пришло, наконец, окончательно захлопнуть ворота Палестины. Правительство Чемберлена поддалось арабскому шантажу почти так же, как поддавалось нацистскому. Если уж чехословацкую проблему можно было разрешить путем "умиротворения", то не ясно ли, что такая же политика должна проводиться и в Палестине — о которой вообще никто особенно не заботился. Фактически британский мандат кончился с "Белой книгой" в 1939 году, хотя еще девять лет ему наносились смертельные удары. В течение ближайшего десятилетия предполагалось создание Палестинского государства, основанного на конституции, гарантирующей "права меньшинств". Еврей-

ские закупки земли прекращаются (кроме 5% территории, где это было возможно) и еврейская иммиграция сначала сокращается до минимума (75 000 человек за предстоящие 5 лет), а затем и прекращается навсегда, "если на нее не согласятся палестинские арабы".

За день или два до опубликования "Белой книги" я написала статью для журнала, издававшегося Женским рабочим советом. Я писала ее почти всю ночь напролет и сказала Менахему, что даже если никто ее не прочтет, я, по крайней мере, облегчила душу. Когда я перечитываю ее сегодня, меня поражает ирония судьбы.

"Каждый день приносит новые указы, вырывающие почву из-под ног сотен тысяч людей. Мы, матери, знаем, что еврейские дети рассеяны по всему свету, и что во многих странах еврейские матери просят только об одном: "Увозите наших детей. Увозите их куда хотите. Только спасите их от этого ада".

Дети переезжают из Германии в Австрию, из Австрии в Чехословакию, из Чехословакии в Англию — а кто может заверить их матерей, что, покидая один ад, они не попадут в другой?

Но здесь, во всяком случае, наши дети будут сохранены для еврейского народа. И я даже вообразить не могу, что у нас могут быть поражения в труде или при обороне даже самых маленьких поселений, если в глазах наших будет стоять образ: тысячи евреев в европейских концлагерях. Вот в чем наша сила... И мы глубоко уверены: то, что было сделано в других странах с другими людьми, не сможет у нас повториться".

Не знала я, что то, что будет сделано с евреями, будет несравнимо с тем, что мы тогда воображали.

Совершенно очевидно, "Белая книга" была неприемлема. Мы собирали митинги протеста, устраивали забастовки, подписывали заявления. Но надо было также принимать решения. Недостаточно было оплакивать измену британцев или демонстрировать, понурившись, с тоской в сердце, на главных улицах Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы. Что нам теперь делать? Бросить вы-

зов англичанам? Если да — то как? Какую цель поставит себе сионистское движение теперь, когда англичане, в самую злую для нас минуту, предпочли снять с себя ответственность за чаяния и национальные устремления евреев?

В августе мне пришлось снова объяснять детям, что я опять еду за границу, на этот раз — на Сионистский конгресс в Женеву, где будут приняты решения огромной важности для жизни всего ишува. Я видела, что дети очень огорчились; однако в других случаях бывало, что они начинали спорить, спрашивали, в самом ли деле это необходимо — на этот раз они не спорили вовсе. Собственно, к тому времени, как я уехала в Женеву, политика Мапай была уже сформулирована. Какую бы позицию ни заняли сионистские делегаты из-за границы, наша собственная была нам ясна. Иммиграция будет продолжаться, даже если дойдет до вооруженных столкновений с англичанами, и мы будем продолжать селиться на земле и оборонять наши поселения. Это означало, что мы пойдем на столкновение с англичанами, если придется. Мы, значившие так мало, что нас даже не нашли достойными иметь настоящую делегацию на международной конференции беженцев? Но выбора у нас, по-видимому, не было — разве что принять систему квот и таким образом примкнуть к обществу наций, "глубоко сожалеющих", что не в состоянии участвовать в спасении евреев.

К сентябрю 1939 года, когда разразилась война, Бен-Гурион резко, но очень ясно определил нашу позицию: "Мы будем бороться с Гитлером так; как если бы не было "Белой книги", и будем бороться с "Белой книгой" так, как если бы не было Гитлера".

7. БОРЬБА ПРОТИВ БРИТАНЦЕВ

Тысячу раз с самого 1939 года я пыталась объяснить себе и, конечно, другим, каким образом британцы, в те самые годы, когда они с таким мужеством и решимостью противостояли нацистам, находили время, энергию и ресурсы для долгой и жестокой борьбы против еврейских беженцев от тех же нацистов. Но я так и не нашла разумного объяснения — а, может быть, его и не существует. Знаю только, что государство Израиль, возможно, родилось бы только много лет спустя, если бы британская "война внутри войны" велась не с таким ожесточением и безумным упорством.

В сущности, ведь только тогда, когда британское правительство, вопреки всем резонам и всякой гуманности, решило встать железной стеной между нами и всякой возможностью для нас спасти евреев из рук нацистов, мы поняли окончательно, что политическая независимость уже не отдаленная цель. Именно необходимость самим контролировать иммиграцию, ибо от этого контроля зависели человеческие жизни, подтолкнула нас принять решение, которое в противном случае дожидалось бы куда лучших (если не идеальных) условий. Но "Белая книга" 1939 года, ее правила и регулирования, предписанные чужими людьми, для которых, как явствовало, жизнь евреев имела второстепенное значение, превратили абстрактный разговор о праве ишсува на самоуправление в самую конкретную и острую необходимость. Из этой необходимости, в основном, и поднялось государство Израиль, всего через три года после окончания войны.

Чего мы требовали от британцев и в чем они нам так

упорно отказывали? Даже мне ответ на это сегодня представляется невероятным. С 1939 по 1945 годы мы хотели только одного: принять в страну всех евреев, которых можно было спасти. Вот и все. Всего-навсего права поделиться тем немногим, что у нас было, с мужчинами, женщинами и детьми, которым посчастливилось не быть расстрелянными, отравленными газом или похороненными заживо теми самыми людьми, поражения которых добивалась вся Британская империя.

Мы не просили ничего другого: ни привилегий, ни власти, ни обещаний на будущее. Мы просто умоляли — потому что смертный приговор, вынесенный миллионам евреев Европы уже приводился в исполнение — чтобы нам разрешили спасти кого сможем от неминуемой гибели и привезти в то единственное место, где они были желанны. Когда же британцы сперва не ответили ничего, а потом ответили, что по разным техническим и совершенно ничего не стоящим причинам не смогут с этим "справиться" (якобы не хватало "кораблей", которые нашлись в избытке в 1940 году, когда стало "необходимо" увезти "нелегальных" иммигрантов из Палестины на остров Св.Маврикия) — мы перестали просить и начали настаивать.

Но ничто не помогало — ни просьбы, ни слезы, ни демонстрации, ни заступничество влиятельных друзей. "Белая книга" оставалась в силе, и ворота Палестины открывались только лишь для того, чтобы впустить то количество, которое было указано в этом позорном документе — и ни одним человеком больше. И тогда мы все поняли то, что многие из нас всегда подозревали: ни одно чужое правительство не может и не сможет никогда почувствовать нашу мучительную тревогу так, как ее чувствуем мы, и ни одно чужое правительство никогда не будет ценить жизнь евреев, как мы ее ценим. Не такой уж трудный это был урок, но, когда мы его усвоили, мы уже не смогли его забыть, хотя, как это ни невероятно, весь мир, за очень небольшими исключениями, его в наше время забыл. И учтите, — выбора тогда не было никакого: не надо думать, что

перед английским министерством колоний стояла длинная очередь стран, просивших пустить к ним беженцев, чтобы их кормить и лечить под своим кровом. Было несколько стран — к их вечной славе — готовых принять какое-то количество евреев, если тем удастся спастись от Катастрофы. Но нигде на земном шаре не было страны, за исключением Палестины, которая стремилась принять евреев, готова была заплатить за них любую цену, предпринять все, рискнуть чем угодно, чтобы только их спасти.

Британцы были непоколебимы. Они сражались как львы против немцев, итальянцев и японцев, но не могли или не хотели сопротивляться арабам, хотя большая часть арабского мира была открыто пронацистской. Режьте меня, но я и сейчас не понимаю, почему британцы — учитывая все, что происходило с евреями, — не сочли возможным сказать арабам: "Вам не о чем беспокоиться. Когда окончится война, мы проследим за тем, чтобы каждый параграф "Белой книги" строжайше выполнялся, и если они нас не послушаются, мы пошлем на их усмирение армию, авиацию и флот. Но сейчас речь идет не о будущем Ближнего Востока, или мандата, или каких бы то ни было национальных устремлений. На карте миллионы человеческих жизней, и мы, англичане, не можем препятствовать спасению людей от Гитлера. "Белой книге" придется подождать до конца войны".

В конце концов, что случилось бы, если бы британцы издали подобную декларацию? Несколько арабских лидеров произнесли бы угрожающие речи. Произошла бы демонстрация протеста — ну, две. Может быть, даже случился бы еще один акт пронацистского саботажа где-нибудь на Ближнем Востоке. И во всяком случае, очень может быть, что вообще было уже слишком поздно и большую часть евреев Европы не удалось бы спасти. Но тысячи из 6 000 000 могли бы остаться в живых. Тысячи борцов гетто и еврейских партизан можно было бы вооружить. И тогда над цивилизованным миром не тяготело бы страшное обвинение в том, что он

и пальцем не шевельнул, чтобы избавить евреев от их страданий.

За все долгие трагические годы войны и первого послевоенного времени, я ни разу не встретила палестинского еврея — даже не слышала о таком — который бы хоть минуту поколебался, прежде чем принести любую жертву, личную или в национальном масштабе, необходимую для спасения евреев Европы. Нельзя сказать, что между нами было единодушие по вопросу о том, как это сделать, но, насколько мне известно, вопрос о том, нужно ли это делать вообще, никогда не поднимался. Если никто не будет нам помогать, мы попытаемся делать это сами — и именно так мы и поступали.

На том Женевском сионистском конгрессе, в 1939 году, я провела большую часть времени, закрывшись с делегатами молодежных сионистских социалистических организаций, где мы планировали, как будем сноситься друг с другом, если разразится война. Разумеется, ни я, ни они тогда не знали о гитлеровском "окончательном решении", но помню, как я смотрела в глаза каждому, когда мы пожимали друг другу руки и говорили "шалом", думая при этом о том, что ожидает его, когда он вернется домой.

Не раз я снова и снова проигрывала в своей памяти наши сравнительно оптимистические беседы в моей женевской комнате, в конце августа 1939 года. Почти все эти преданные делу молодые люди погибли потом в Освенциме, Майданеке или Собиборе, но среди них были и лидеры еврейского сопротивления в Восточной Европе, которые сражались с нацистами внутри гетто и за его пределами — в партизанских отрядах и, наконец, за колючей проволокой лагерей смерти. Мне мучительно тяжело думать о них теперь, но я всем сердцем верю, что в их неравной борьбе до самого конца им помогало сознание, что мы все время с ними, и потому они не были совершенно одиноки. Я не мистик, но надеюсь, что мне простят, если я скажу, что в самые черные наши часы память о них, их дух вселяли в нас му-

жество, вдохновляли нас на дальнейшую борьбу и, главное, прибавили веса и значимости нашему собственному отказу уничтожиться ради того, чтобы остальному миру легче жилось. Анализируя все это теперь, видишь, что именно евреи Европы, пойманные, обреченные и погибшие, научили нас раз и навсегда, что мы сами должны стать хозяевами своей жизни и смерти, и, думаю, мы остались верны их завету.

Лозунг "Мы будем бороться с Гитлером, как если бы не было "Белой книги", и с "Белой книгой", как если бы не было Гитлера" звучал хорошо, но выполнять его было не просто. Собственно говоря, борьба в Палестине в первые годы войны велась сразу на три фронта, независимых, но и связанных между собой, и я, как член Рабочего правления, принимала участие во всех трех ее направлениях. Шла отчаянная борьба за то, чтобы ввезти в Палестину как можно больше евреев, и другая, унижительная и необъяснимая, которую пришлось вести, чтобы убедить англичан позволить нам принять участие в военных действиях против нацистов и, наконец, третья, при почти полном равнодушии британцев — за сохранение экономики ишува, дабы он вышел из войны достаточно крепким, чтобы абсорбировать большую волну иммигрантов — если к тому времени еще останутся евреи.

Не раз я удивлялась, как нам удалось пережить эти годы и не рассыпаться; вероятно, физическая и эмоциональная жизненная сила есть, в основном, дело привычки, а уж чего нам хватало, так это возможностей проверить себя в час испытаний. Всю жизнь, сколько я себя помню, люди, особенно члены моей семьи, упрекали меня за то, что я слишком себя загоняю, что бы они при этом ни имели в виду. Даже теперь, когда жить мне стало полегче, мои дети вечно на меня нападают, что я недостаточно "отдыхаю". Но в те военные годы я усвоила очень важный урок: человек всегда может сделать чуть больше того, что вчера казалось пределом его сил. Как бы то ни было, я не помню, чтобы в те годы я почувствовала усталость — а это означает, что я к ней

привыкла. Как и всех в то время, тревога и страдание так сильно прищипывали меня, что казалось, не хватит ни дня ни ночи, чтобы сделать все, что нужно. И, конечно, главной причиной было то, что как ни трудно человечеству было поверить, будто нацисты занимаются уничтожением евреев Европы, большинство из нас поверило в это сразу же, а когда вы понимаете, что каждая минута уносит жизни людей твоего народа, не может быть речи о том, что работы слишком много.

Отчетливо помню, как впервые дошли до нас страшные сообщения о газовых камерах, о мыле и абажурах из еврейских тел. Мы созвали срочное заседание в Гисадруте. Страшно и примечательно то, что никто из нас не усомнился в правдивости полученной информации. Мы все поверили — сразу и полностью. На следующий день у меня была назначена встреча по какому-то незначительному поводу с британским чиновником, который мне всегда был симпатичен, и я, конечно, рассказала ему то, что мы только узнали о зверствах нацистов. Через несколько минут он посмотрел на меня как-то странно и сказал: "Но миссис Меерсон, вы-то ведь не верите во все это, не так ли?" И начал мне рассказывать про пропаганду времен Первой мировой войны, где тоже говорилось о зверствах. Я не могла объяснить, как и почему я знаю, что тут другое дело, но по встревоженному взгляду его добрых голубых глаз я поняла, что он счел меня сумасшедшей. "Не надо верить всему, что вы услышите", — ласково сказал он мне на прощанье.

Днем мы делали свою обычную работу, а по ночам и между делом — то, что могли, чтобы отразить антиеврейскую войну. Поскольку я и прежде занималась проблемами труда, я продолжала заниматься этим и теперь, хотя теперь мне пришлось иметь дело почти исключительно с британскими военными властями. Как я уже писала, британцы категорически противились вступлению в армию евреев-добровольцев (хотя 130000 записались и изобрели целую серию сложных мер,

большая часть которых потерпела неудачу), чтобы удержать запись членов ишува на минимуме — в частности, настаивая на том, чтобы еврейских рекрутов было ровно столько же, сколько арабских. Но когда война распространилась на Ближний Восток, то выяснилось, что союзники все больше и больше зависят от единственного в районе резерва высококвалифицированной (и, конечно, политически совершенно надежной) рабочей силы. Десятки тысяч молодых палестинских евреев, не допущенных в английские боевые части, проработали всю войну армейскими шоферами во вспомогательных и медицинских частях. Конечно, их называли "палестинцами", а не евреями, и обращались с ними как с "туземцами", но по крайней мере они были частью армии. Гражданские же работники ишува — квалифицированные и неквалифицированные — не только считались "туземцами", но и оплату за труд получали по египетским расценкам. Поскольку для Гистадрута это было неприемлемо, я много месяцев подряд вела споры и переговоры с генеральным штабом ближневосточных войск. Множество палестинских арабов присоединилось к нам во время этих бурных споров, хотя один из них, прелестный человек из Хайфы, заплатил за этот объединенный фронт своей жизнью — арабские террористы убили его в 1947 году.

Типичный эпизод этого времени — переговоры, которые я несколько недель вела с фирмой, прежде действовавшей в Бирме, а теперь назначенной сюда в качестве транспортного агентства палестинского мандатория. Думаю, что этим джентльменам никогда прежде не приходило в голову, что они не смогут нанимать и увольнять шоферов, когда им заблагорассудится, а я твердо решила заставить их признать существование профсоюзов и необходимость коллективных договоров. "В Бирме, — весело рассказывали они мне при первой нашей встрече, — нам не нужны были никакие рабочие федерации. У нас была своя собственная "федерация" — восемьдесят тысяч рабочих". И все-таки в конце концов они согласились вести переговоры с Гис-

тадрутом, и может быть даже узнали кое-что про ишув и в чем тут было дело.

По мере ухудшения военного положения на Ближнем Востоке, все больше и больше палестинских евреев втягивалось в работу для войны, и правительство мандата вынуждено было решиться на создание специального органа, с которым оно могло бы консультироваться по экономическим вопросам. Был создан Военный экономический совет, членом которого я была до тех пор, пока война не кончилась.

Все это надо было делать, все было важно, но не это было в центре нашего внимания. По-настоящему меня заботило другое. Посланный нами в Анкару Меллех Найштадт (позже — Ной) возвратился с известиями, от которых нас бросило в дрожь. Он словно привез послание с другой планеты. Он нашел в Турции людей, имевших возможность связаться с еврейским подпольем в Польше. Он предупредил нас, что они, конечно, не ангелы. За свои услуги они затребовали большие деньги, но, как он думал, немалая часть того, что они получают для гетто, будет ими урезана в свою пользу, а кроме того, некоторые из них почти наверняка нацисты. Но мы и не нанимали официальных посланников. Мы искали людей, которые смогут более или менее свободно передвигаться по оккупированной нацистами Европе, и их послужной список нас не интересовал. В тот же день мы приняли решение основать тайный фонд. Мы поставили себе целью собрать огромную для нас сумму — 75000 фунтов стерлингов — хоть уже знали, что только малая часть ее дойдет по назначению, если дойдет вообще. Но на эту малую часть евреи может быть смогут купить оружие и еду, очень немного, конечно, но, может быть достаточно, чтобы хоть ненадолго поддержать еврейское движение сопротивления.

С этого начались наши отчаянные попытки пробиться в оккупированную Европу и поддержать жизнь евреев там. К тому времени как окончилась война, не было пути, которого мы бы не разведали, лазейки, в которую мы бы не проникли, возможности, которой

мы бы немедленно не изучили. Годами мы упрашивали союзников помочь нам заслать наших молодых людей в центр Европы — пешком, на подводной лодке, на самолете... Наконец летом 1943 года британцы, с большими оговорками, все-таки дали согласие. Не несколько сотен, как мы просили, но тридцать два палестинских еврея будут заброшены на оккупированную территорию для выполнения двойной задачи: помочь бежать военнопленным из числа союзников (это в основном были летчики) и оказать помощь и поддержку еврейским партизанам.

Когда я пишу эти строки, я вижу двух людей, которых нет уже в живых. Они ничем не походили друг на друга — ни происхождением, ни внешностью, ни манерами — но оба были мне дороги, и, с болью думая о них, я вижу, что они персонифицируют те темные и страшные времена. Один был Элияху Голомб, другой — Энцо Серени. Писатели и историки когда-нибудь расскажут подробно о том, что пытались сделать — и сделали — палестинские евреи во время Катастрофы. Я же напишу только об этих двоих, хоть было немало других мужчин и женщин, которые отдали своему народу столько же, сколько Элияху и Энцо.

Элияху я знала лучше и дольше, чем Энцо. Он принадлежал к замечательной семье — все родственники через жен, — сыгравшей большую роль в создании ишува и его рабочего движения. Об одном из них — о Моше Шарете — я буду говорить позже, потому что нас тесно связала и жизнь, и работа, но и трое остальных во время войны сыграли не меньшую роль. Все они, и вместе, и порознь, могли бы быть героями книги, которая неизбежно стала бы сагой об ишуве, — и я очень надеюсь, что когда-нибудь эта книга будет написана.

Моше Шарет в те времена возглавлял политический департамент Еврейского Агентства. Он в 1933 году наследовал Хаиму Арлозорову и всегда (подозреваю, даже и в то время) считал себя несомненным кандидатом на пост министра иностранных дел — если когда-нибудь будет создано еврейское государство. Из всех четве-

рых, это был самый "светский человек" — умный, одаренный, блестящий лингвист. Однако он был формалист и педант. Несмотря на все свои таланты, он не был ни Бен-Гурионом, ни Берлом Кацнельсоном. Но в течение многих лет он был достойным министром иностранных дел Израиля и даже премьером — в короткий и очень тяжелый период между первой и второй отставкой Бен-Гуриона. Именно Шарет, больше, чем кто бы то ни было, отчаянно боролся за создание Еврейской бригады, которая в конце концов была создана в последние годы войны, как раз когда начались военные действия в Италии.

Одна из сестер Шарета была замужем за Довом Хозом, который много лет был "человеком Гистадрута" в Лондоне, и установил теплые личные отношения со многими лидерами британских лейбористов. Внешность у него была не слишком импозантная, но он обладал огромным обаянием и любил и понимал англичан. Поэтому мы часто просили Дова представлять нас перед властями мандата. Любимым его проектом был проект развития авиации в Палестине; он и сам был летчиком, что нас всех восхищало. В 1940 году он вместе с женой Ревеккой и дочерью погиб в автомобильной катастрофе в Палестине, и с его смертью мы лишились одного из наших столпов общества. Бывая в Лондоне перед войной, я много времени проводила с ним вместе, да и потом мы вместе занимались вопросом о еврейских добровольцах для британской армии.

Надо отметить, что не все в ишуве относились к службе в английской армии как мы. Было немало людей, считавших, что "складывая все яйца в одну корзину", мы ставим под удар безопасность еврейских городов и поселений в случае поражения Англии на Ближнем Востоке. "Вы ведете кампанию за то, чтобы еврейские добровольцы сражались с нацистами за границей, — говорили они, — это все очень хорошо, конечно, но что будет с ишувом, если победят державы Оси? Кто будет оборонять Тель-Авив, Дганию, Реховот? Кучка

плохо вооруженных членов Хаганы?” Смысл в этом был — но, по-моему, ошибочный. Ждать, пока Гитлер подойдет к границам Палестины, не вступая с ним в борьбу — мне это казалось абсурдом. Мы хотели помочь свержению нацизма, где бы это ни было, и день за днем мы старались убедить наших противников в Гистадруте, в партии и за их пределами, что они ошибаются.

Другой шурин Моше Шарета (брат его жены Ципоры) был Шаул Авигур. Никто, ни теперь, ни тогда, увидев Авигура на улице Тель-Авива или за работой в саду киббуца Киннерет (членом которого он и теперь является), в жизни бы не догадался по его зауряднейшей и неподтянутой внешности, что все годы, предшествовавшие созданию государства Израиль, он был нашим подпольным министром обороны. Именно Шаул поставил на ноги легендарную разведывательную службу Хаганы; именно он, когда кончилась война, стал во главе того, что мы называли ”Мосад” (”учреждение”), организуя и направляя сложную и опасную нелегальную иммиграцию в Палестину остатков европейского еврейства. Ни его внешность, ни манера говорить не указывали на то, что в отличие от Шарета, Дова Элияху да и меня, он — прирожденный конспиратор. В жизни не видела, чтобы Шаул написал ненужную записку или сказал не необходимое слово. Что бы он ни делал, что бы ни приказывал сделать, все выполнялось совершенно секретно, и каждого он подозревал, что тот может секретность нарушить. Иной раз мы смеялись над его, как казалось нам, излишней осторожностью. Например, его дочь, будучи в Англии, попросила отца прислать ей ивритских газет и ничуть не удивилась, обнаружив, что на обертке написано: ”Совершенно секретно”. Но все мы безгранично его уважали. По всем вопросам, касавшимся подполья — тайные закупки оружия в Европе в 1947 году, переселение в Палестину еврейских беженцев из арабских стран в разгар войны, сбор информации и составление досье по поводу британской разведывательной службы — авторитет

его был непререкаем. И вот типичная черта: Шаул был первым из нас, кто много лет тому назад посвятил себя делу еврейской эмиграции из России.

Но в те дни в центре всего происходившего находился четвертый — Элияху Голомб. Именно через его дом в Тель-Авиве и его кабинет (комната №17) в Гистадруте проходил главный нерв нашей жизни. По-моему, за все время войны в доме Элияху так и не выключался свет — там никогда не бывало пусто. Если можно говорить о нашей штаб-квартире в то время, то это она и была. Когда бы вы ни пришли посоветоваться с Элияху, днем и ночью, причем непременно приходилось пройти через кухню, вы неизменно заставали там его тещу (мать Шарета, которую мы все называли "мамочка") за гладкой белья, будь то хоть в полночь, и Аду Голомб с уже налитым стаканом чая. Бен-Гурион, Шарет, Дов Хоз — все они были политики, посредники, представители ишува перед внешним миром; Элияху Голомб, как Берл, в сфере чистой идеологии — был нашим главнокомандующим, фактически возглавлявшим Хагану с 1931 до 1945 года, который стал годом его смерти. Как и Берл, он никогда не увидел государства Израиль, и отсутствие его в первые годы существования Израиля, как и отсутствие Берла, ощущалось нами как огромное, я бы сказала даже — постоянное лишение, ибо во многих отношениях он был одним из основателей государства.

Как он выглядел, наш "главнокомандующий"? Да как и все мы. Кроме Бен-Гуриона с его развевающимися белыми волосами, никто из "отцов-основателей" государства Израиль не обладал запоминающейся внешностью, и, конечно, Элияху не являлся исключением. Это был человек маленького роста, с очень высоким лбом, изрезанным морщинами, и глубоко посаженными красивыми глазами. Как и Берл, он носил что-то вроде формы — косоворотку и мятые брюки защитного цвета. Не помню, чтобы я хоть раз видела его в костюме. Говорил он очень спокойно, очень медленно, очень убедительно и был чрезвычайно начитан. Из всех

известных мне людей он меньше всего был похож на военного и был напрочь лишен манерности или аффектации, которую нередко развивают в себе руководители-подпольщики, чтобы производить впечатление на своих последователей. Он не выделялся ничем — только силой индивидуальности, да и это открывалось лишь тем, кто близко с ним сотрудничал. Но Хагана, ее философия и ее сила — в значительной степени создание Элияху. Он приехал в Палестину из России в 1909 году и, как и Шарет, был в числе первых выпускников гимназии Герцлия в Тель-Авиве. Во время Первой мировой войны в Еврейском легионе он подружился с Берлом и под влиянием Берла стал развивать свою концепцию еврейской самообороны в Палестине.

Хагана с самого начала представлялась ему не как партизанское движение или соединение отборных частей, а как общенациональный, на широкой основе, ответ на потребность ишува в самообороне, целиком включенный в сионистское движение. Он считал, что самооборона не менее и не более важна, чем завоевание пустыни или абсорбция. И потому Хагана должна быть и порождением, и частью всего еврейского населения, и потому она должна подчиняться высшим национальным органам ишува, какими бы секретными ни были ее особые функции. Из этой же концепции выросло отношение Элияху к двум впоследствии возникшим диссидентским военным организациям — Эцел (Иргун Цваи Леуми) и Лехи (Лохамей херут Исраэль), возникшим из-за несогласия с проводимой Хаганой политикой сдержанности, ненанесения ответных ударов и уклонения (чтобы не сказать — отвращения) от собственного еврейского терроризма.

Элияху с самого начала понимал необходимость готовить Хагану к ее решающей роли в борьбе за независимость и всегда рассматривал ее как ядро еврейской армии, которая будет способна выполнить возложенную на нее задачу — охранять право евреев приезжать в Палестину, селиться в Палестине и вести в Палестине свободную жизнь.

Поэтому роль, предоставляемая Хагане, была чрезвычайно важна. По понятиям Элияху, самооборона означала, что ишув будет использовать свои всегда доступные ресурсы там и тогда, где они больше всего понадобятся. Те самые молодые люди, мужчины и женщины, которые нелегально ввозили в Палестину евреев, охраняли и поселенцев, устанавливали частоколы и башни в местах, которые "Белая книга" объявила для евреев запретными, изготавливали и старались накапливать оружие против будущих атак и даже прыгали с парашютом в оккупированной Европе. Хагана была смоделирована как инструмент национального освобождения, со взаимозаменяемыми частями, и Элияху так ее подготовил, что в 1948 году, когда это понадобилось, она таким инструментом и стала. Национальное освобождение было той целью, которую он лелеял в душе, не позволяя, чтобы ее осквернили. И он сумел это сделать, потому что был настоящим пионером, идеалистом, социалистом и хорошим евреем, кроме того, что был лидером подполья.

Горько писать об Элияху сегодня, в мире, который решил прославить арабский терроризм и допустил в так называемый совет ООН такого человека, как Ясер Арафат, у которого на счету нет ни одного конструктивного деяния, ни одной конструктивной мысли, кустомированного убийцу, возглавляющего движение, у которого только одна цель — уничтожение государства Израиль. Но мое глубочайшее убеждение — и утешение, — что семена гибели арабского терроризма заключены уже в самой концепции террора. Ни одно движение, сколько ни давай ему денег и сколько его ни задабривай — а такое задабривание всегда приносило миру катастрофу, — не может быть успешным, если руководство прогнило, а его единственные подвиги — шантаж и кровопролитие. Настоящие освободительные движения добиваются своей цели не такими средствами, как убийство и калечение детей, угон самолетов и нападения на дипломатов. Оно имеет далеко идущие цели и,

говоря по-старинному, вправе претендовать на интеллектуальную и моральную чистоту.

Главное, что сделал Элияху для ишува — не уровень военной подготовки Хаганы, а ее основная цель, которая, когда пришло время, была у нее перенята почти полностью армией Израиля. Были, конечно, и ошибки (иной раз обходившиеся дорого), и упадок духа, и множество разочарований — но с первого же дня миссией Хаганы было служение еврейскому народу, а не стремление терроризировать другие народы или господствовать над ними. И потому, что она одинаково ценила и саморазвитие и самоопределение, она и взяла верх и дух ее остался жить.

Я лично не занималась отбором добровольцев Хаганы, которые были сброшены с парашютами в Европе. Но я видела их всех, потому что все они приходили к нам в Гистадрут проститься. Тогда-то я и попробовала отговорить от участия в этой группе Энцо Серени. Как-то днем я работала в своей комнате в Рабочем совете, когда отворилась дверь и вошел Энцо. Глаза его за очками блестели больше обычного. "Я пришел попрощаться, — сказал он. — Я уезжаю".

"Не уезжай, — сказала я. — Во-первых, ты в самом деле слишком для этого стар и слишком нужен здесь. Прояви благоразумие, ради всех нас оставайся". Я знала, что мне его не убедить, хотя я и уговаривала его битых четверть часа.

И когда я замолчала, он взял меня за руку и сказал: "Голда, ты должна понять. Не могу я оставаться, раз я сам столько туда послал. Ты только не беспокойся. Даю тебе слово, что мы еще встретимся".

Но мы никогда больше не встретились. Ветреной ночью 1945 года я видела, стоя на палестинском берегу, как принадлежавший Хагане корабль под названием "Энцо Серени" высадил на прибрежный песок более тысячи человек, переживших лагеря смерти — теперь он доставил их сюда, живыми и невредимыми, сквозь кольцо британской блокады. Я подумала, что каждый народ славит своих героев по-своему, и назвать именем

героя корабль — это по-нашему, и Энцо бы понравилось.

По происхождению Энцо принадлежал к среде, совершенно чуждой большинству моих коллег. Он родился и вырос в Италии, его отец был лейб-медиком короля. Семья была богатая, очень ассимилированная, высококультурная. Дядя был знаменитым адвокатом, брат стал сенатором от коммунистов. Ничто не связывало Энцо с сионизмом — только интерес к социализму и к kibbutz-движению, о котором он много читал и думал. В конце двадцатых годов, после серьезной стычки с фашистами, он приехал в Палестину, помог основать kibbutz Гиват-Бреннер (близ Реховота; там мы с ним и познакомились) и стал принимать активное участие в рабочем движении. Он верил в особую ветвь социализма, связанную с религией и, что типично, он был убежденным пацифистом. У нас сложились очень хорошие отношения, хотя мы много спорили, особенно во время беспорядков 1936—1939 годов: Энцо хотел ходить по арабским деревням, ночью, безоружным, ибо он считал, что его долг — попытаться успокоить арабское население. Но переубедить его в том, что касалось его принципов, было невозможно. Если какое-то дело стоило трудов, то он сам должен был его сделать. И потому мы не слишком удивились, когда почти сразу же после начала войны он записался добровольцем.

Одно дело записаться в добровольцы, другое — быть сброшенным на парашюте за неприятельскую линию фронта. Ему уже исполнилось сорок лет, у него была семья, он был очень нужен в Палестине и не имел никаких шансов выжить, если попадет в плен. Он и так уже полностью работал для войны. Он вел регулярное радиовещание на Италию в пользу союзников и издавал антифашистскую газету, которую читали тысячи итальянских солдат. И в приключениях недостатка у него не было. Когда-нибудь еще будет рассказано о его подвигах в Ираке в 1941 году, где он, в частности, вывел молодых евреев из иракских гетто и с огром-

ным риском для собственной жизни через пустыню привел в Палестину. Но он не находил покоя, думая о страданиях итальянских евреев, и решил либо попытаться спасти их, либо с ними вместе переживать их беды. Он помог Элияху отобрать парашютистов, стал с ними вместе тренироваться и настоял, чтобы его сбросили в Италии. Его поймали почти сразу же, транспортировали с другими евреями в Дахау, и там нацисты его убили. Он был только один из тридцати двух наших парашютистов, и самой знаменитой из всех была молодая поэтесса Хана Сенеш — но для меня он остался символом этого отряда и нашей беспомощности в этой ситуации.

Иногда журналисты спрашивают меня, что я чувствую к немцам, — вероятно, сейчас будет уместно и своевременно ответить на этот вопрос. Послевоенная Германия была тем, с чем государству Израиль пришлось иметь дело, завязывать контакты, работать. Такова была послевоенная действительность, а действительности надо смотреть в лицо, как это ни мучительно. Нечего и говорить, ничто не уменьшит удара, который нанесла Катастрофа. Шесть миллионов убитых евреев — тоже действительность, которая никогда не должна изгладиться из человеческой памяти, и, конечно, ни один еврей — и ни один немец — не должен этого забывать. И хотя прошли годы, прежде чем я заставила себя — в 1967 году — снова вступить на землю Германии, я всегда была сторонницей репараций, всегда была за то, чтобы мы взяли у немцев деньги на строительство государства Израиль, ибо, по-моему, это-то они во всяком случае были нам должны, дабы абсорбировать оставшихся в живых евреев. И я верила, что сам Израиль — сильнейшая гарантия от другой Катастрофы.

И, когда пришло время, я была сторонницей дипломатических отношений с германским правительством, хотя и яростно противилась назначению избранного правительством посла и особенно возмутилась, узнав, что Рольф Паульс воевал и даже был ранен (он

потерял руку) на войне. "Неважно, что он блестящий дипломат, — сказала я, — неважно, что он не был членом нацистской партии. Пусть немцы пришлют посла, который не воевал вовсе". Но германское правительство отказалось сделать это. Рольф Паульс прибыл в Израиль, против него были демонстрации, и я была уверена, что он будет отозван. К счастью, я ошиблась. Теперь он — посол Бонна в Пекине, но по-прежнему остается одним из лучших и преданнейших друзей Израиля.

Когда Паульс впервые вручал в Иерусалиме свои верительные грамоты, я была министром иностранных дел. Это был нелегкий момент; я предполагала, что ему сказали, как я отнеслась к его назначению, но, решила я, это во всяком случае момент для правды. "Перед вами очень трудная задача, — сказала я. — Страна наша в значительной степени состоит из жертв Катастрофы. Вряд ли есть семья, которая живет без кошмарных воспоминаний о крематориях, о младенцах-мишенях для нацистских пуль, о нацистских "научных" экспериментах. Вам не приходится ожидать теплого приема. Даже у женщин, прислуживающих за столом, вы, если когда-нибудь придете ко мне завтракать, увидите на руках вытатуированные нацистские номера".

"Я знаю, — ответил Паульс. — Я пришел к вам из Яд ва-Шем (Израильский мемориал шести миллионам) и одно я, во всяком случае, могу вам обещать. Сколько бы я здесь ни пробыл, я вменяю себе в обязанность проследить, чтобы каждый приезжающий сюда немец, первым делом посетил мемориал, как это сделал сегодня я". И он сдержал свое слово.

Однажды я рассказала Паульсу про свою поездку в Германию, продолжавшуюся одни сутки, и я не забуду, как он побелел, слушая мой рассказ. Я поехала туда после Шестидневной войны, не будучи членом правительства. Я была на конференции социалистов в Париже, вместе со своим старым другом Реувеном Баркатом. Утром позвонил телефон — звонил из Нью-Йорка Абба Эвен, наш министр иностранных дел. Он вел в

это время неравный и, казалось, заранее проигранный бой в ООН против так называемой югославской (а на самом деле, русской) резолюции, одной из тех стандартных резолюций, которые осуждали нас, как "агрессоров" и требовали нашего немедленного безоговорочного отступления с "оккупированных территорий". Эвен сказал, что французы, поддерживающие эту резолюцию, оказывают огромное давление на представителей франкоязычных африканских государств, стараясь, чтобы и они проголосовали "за". Главной африканской делегацией была делегация Берега Слоновой Кости; министр иностранных дел этой страны очень симпатизировал Израилю, а президент, Феликс Уфуэ-Буаньи был моим личным другом и остался им и поныне. Эвен спросил, не встречу ли я с Уфуэ-Буаньи, который где-то в Европе — где в точности, Эвен не знал, — чтобы поговорить с ним насчет этой резолюции?

Оказалось, что Уфуэ-Буаньи отдыхает на одном из германских курортов, прежде, чем начать свой официальный визит в эту страну. Я бы лучше отдала правую руку, чем туда ехать, но Эвен настаивал, и я его вполне понимала. Словом, я поехала и встретила с президентом, и побеседовала с ним, но почти ничего не ела и не пила и уехала как только смогла. В Париже Баркат, знавший, как тяжела для меня была эта поездка, сказал: "Это досталось тебе труднее, чем все, что ты раньше делала для Израиля, верно?" Но я ничего не ответила. Ни Баркату, ни, потом, Паульсу, я не могла передать того чувства ужаса и отвращения, которое я испытывала в течение двадцати четырех часов. Я все время видела перед собой лица людей на процессе Эйхмана, и самого Адольфа Эйхмана, и глаза мужчин, женщин и детей, которых мы вызволили из этого ада в сороковые годы.

Ничто не вернет к жизни убитых, но суд над Адольфом Эйхманом в Иерусалиме в 1961 году был, по моему, великим и необходимым актом исторической справедливости. Он произошел через два десятилетия после тех отчаянных лет. Я совершенно убеждена и теперь,

что только израильтянам принадлежало право суда над Эйхманом от имени мирового еврейства, и до глубины души горжусь, что мы это осуществили. Это ни в коем случае не реванш. Как писал еврейский поэт Бялик, сам дьявол не в состоянии придумать казнь за убийство одного ребенка, но оставшиеся в живых — и еще нерожденные поколения — заслуживают, во всяком случае, чтобы мир узнал во всех гнусных деталях, что учинили над евреями Европы и кто это сделал.

До конца жизни не забуду, как мы с Шейной сидели в набитом людьми зале суда, слушая показания оставшихся в живых. Многие из моих друзей нашли в себе силу день за днём ходить на судебные заседания, но я должна признаться, что пошла туда только два раза. Не так уж много в моей жизни было такого, от чего я сознательно уклонялась; но живые свидетельства о пытках, унижениях и смерти — которые давались в леденящем присутствии самого Эйхмана, — были для меня буквально невыносимы, и я слушала процесс по радио, как и большинство людей в Израиле. Но и это не давало возможности продолжать нормальную жизнь. Конечно, я работала, и каждый день приходила в свой кабинет, и ела, и причесывалась — но все мое внимание было сосредоточено на том, что происходило в зале суда, и радио всегда было включено, и в течение недель и для меня, и для других, суд этот господствовал над всем. Слушая тех, кто давал показания, я думала, как же после всего они еще нашли в себе волю к жизни, к созданию новых семей, к тому, чтобы снова стать людьми. Думаю, ответ на это один: все мы, в конце концов, жаждем жить, что бы ни было у нас в прошлом; но точно так же, как я не могу знать по-настоящему, что такое лагеря смерти, я не могу знать, что это такое — опять начать все с начала. Только выжившим дано это знание.

В 1960 году, стоя перед Советом безопасности и отвечая на обвинения аргентинского правительства, что Израиль совершил незаконное действие, похитив Эйхмана, я пыталась по крайней мере объяснить, что

этот суд означает для евреев. Ни одна публичная речь не потребовала от меня столько, сколько потребовала эта — она меня буквально опустошила. Я чувствовала, что говорю от имени миллионов, которые уже не могут сказать ничего, и мне хотелось, чтобы каждое слово было значащим, а не просто на несколько минут растрогало или привело в ужас. Я давно уже открыла, что людей легче заставить плакать или ахать, чем думать.

Речь моя была недлинной, но здесь я приведу только часть ее. И делаю я это не ради того, чтобы увидеть свои слова в печати, а потому, что к глубокому моему огорчению, есть еще люди, не понимающие, что мы обязались жить и вести себя так, чтобы евреи, погибшие в газовых камерах, были последними евреями, умершими не обороняясь. И потому, что эти люди не понимают или не могут понять э т о г о, они и не могли никогда понять нашего так называемого "упрямства".

"В протоколах Нюрнбергского суда мы читаем, что Дитер Вислицкий, помощник Эйхмана, сказал об "окончательном решении":

— До 1940 года политикой сектора было решение еврейского вопроса в Германии и в областях, оккупированных Германией, способом запланированной эмиграции. После этой даты, вторая фаза была концентрация всех евреев Польши и других оккупированных Германией восточных территорий в гетто. Этот период продолжался примерно до начала 1942 года. Третий период был периодом так называемого "окончательного решения" еврейского вопроса — т.е. планового искоренения и истребления еврейской расы; этот период продолжался до октября 1944 года, когда Гиммлер отдал приказ прекратить истребление.

Далее, на вопрос, знал ли он в силу своих официальных связей с сектором IУ А 4 о каких-нибудь приказах об уничтожении всех евреев, он ответил: "Да, я впервые узнал о таком приказе от Эйхмана летом 1942 года".

Гитлер не разрешил еврейский вопрос соответствен-

но своему плану. Но он уничтожил шесть миллионов евреев — евреев Германии, Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Польши, Советского Союза, Венгрии, Югославии, Греции, Италии, Чехословакии, Австрии, Румынии, Болгарии. С этими евреями было уничтожено более тридцати тысяч еврейских общин, бывших в течение столетий центрами еврейской веры, учения и учености. Из этой еврейской среды поднялись гиганты искусства, литературы и науки. Но разве только это поколение евреев Европы погибло в газовых камерах? Уничтожено было и следующее поколение — миллион детей. Кто может охватить эту картину во всем ее ужасе, во всех последствиях для многих будущих поколений еврейского народа, для Израиля? Здесь был погублен естественный резервуар всего, в чем нуждается новая страна — ученость, знания, преданность, идеализм, пионерский дух”.

Я говорила и о самом Эйхмане, и о личной его ответственности и далее сказала:

”Я убеждена, что много людей во всем мире страстно желали суда над Эйхманом, но факт остается фактом: за пятнадцать лет его так никто и не нашел. И он мог нарушать законы каких угодно стран, въезжая туда под фальшивым именем и с фальшивым паспортом, злоупотребляя гостеприимством тех стран, которые, я уверена, в ужасе отшатнулись бы от его поступков. Но евреи, и в их числе те, кто лично явились жертвами его жестокости, не находили покоя, пока не обнаружили его и не привезли его в Израиль — в страну, куда сотни тысяч переживших эйхмановские ужасы приехали домой; в страну, существовавшую в сердцах и мыслях шести миллионов, которые, идя в крематории, пели великий символ нашей веры: ”Ани маамин бе эмуна шлема бевиат ха-Машиах” (”Я верую в пришествие Мессии”).

Закончила я вопросом:

”Должен ли Совет безопасности заниматься этой проблемой? Эта организация занимается охраной мира. Разве угроза миру — привлечение Эйхмана к суду

тем самым народом, полному физическому уничтожению которого он отдал всю свою энергию, даже если способ его ареста нарушил законы Аргентины? Не заключается ли угроза миру в существовании Эйхмана на свободе, Эйхмана не покаранного, Эйхмана вольного изливать яд своей изломанной души на новое поколение?”

Потом у меня несколько часов дрожали руки, но я надеялась, что хоть частично сумела объяснить, почему мы привезли Эйхмана на суд.

Это было через пятнадцать лет после конца Катастрофы. Но в начале сороковых годов никто не знал, как и когда она закончится — и даже закончится ли она вообще. Несмотря на усиление английской блокады, корабли Хаганы, один за другим (всего их было более шестидесяти) закупались, наполнялись евреями и отправлялись к берегам Палестины. С каждым разом английские патрули делались бдительнее, с каждым разом морское путешествие на этих еле-еле плавающих, переполненных, несчастных посудилах становилось опаснее. Но британцы охотились как одержимые не только за евреями, спасшимися из европейских лагерей. Они охотились и за Хаганой, за оружием, которое ей удавалось собрать, хотя порой наступало и короткое затишье в преследованиях — до нового притеснения, до новой антиеврейской меры, заставлявшей Хагану глубже уйти в подполье.

Особенно запомнились мне два года и по личным, и по политическим причинам. В 1943 году Сарра сообщила мне, что она уходит из гимназии и будет участвовать в основании нового киббуца в Негеве, хотя ей оставалось учиться еще год. Она выросла и стала очень милой, очень скромной и очень серьезной девушкой, а училась лучше Менахема, поглощенного своей музыкой и уже решившего, что станет профессиональным виолончелистом. Оба, как почти все подростки ишува, были связаны с деятельностью Хаганы, хотя дома об этом никогда открыто не говорилось. Но хоть дети ничего и не говорили, родители и школьные учителя зна-

ли, что подростки нередко ложатся спать поздно: то они исполняют обязанности курьеров подполья, то распространяют листовки Хаганы. Я и сама написала дома одну из этих афиш, конечно же, очень стараясь, чтобы не увидели дети. Дня через два Сарра сказала: "Мама, я сегодня приду поздно, может быть даже очень поздно". Я, конечно, захотела узнать, почему. "Не могу сказать", — ответила она и ушла с пакетом под мышкой. Я прекрасно знала, что в этом пакете, и знала, что расклеивание "нелегальных" афиш — дело очень рискованное. До рассвета я не спала, ожидая ее прихода — но мы соблюдали все правила, и на следующее утро я и не заикнулась ни о чем, хотя мне и до смерти хотелось спросить.

Сарра, как и Менахем, много лет принадлежала к юношеской организации рабочего движения, так что я не очень удивилась, когда она заявила о своем желании вступить в киббуц. Начать с того, что я и сама хотела когда-то провести жизнь в киббуце и с моей точки зрения это был прекрасный образ жизни. Во-вторых, я понимала ее желание участвовать более непосредственно во всем, что происходило в стране. Британцы объявили 85% Негева "землей, совершенно непригодной для обработки", хотя по своей величине эта территория равнялась половине Палестины. Но Еврейское Агентство выработало подробный долгосрочный план, как сделать поливными, хоть частично, эти 2000000 акров горячих песков в надежде, что тогда сотни тысяч иммигрантов смогут там поселиться; Сарра и ее друзья по молодежному движению решили принять участие в великом эксперименте. План призывал создать три поселения — в сущности, три наблюдательных поста — к югу от Беер-Шевы, которая тогда была маленьким и пыльным арабским городишкой. "Если мы сумеем доказать, что люди могут жить в Негеве и получать там урожай, то мы сделаем для страны гораздо больше, чем если просто окончим школу", — заявила Сарра, и в глубине души я считала, что она права. Но, может быть, стоит годок подождать? Окончить гимназию

очень важно, и мало кто, бросив школу, туда возвращался, возражала я. А не может ли быть, что весь их план задуман для того, чтобы уклониться от последнего, самого трудного школьного года и выпускных экзаменов? Потому что уж этого я во всяком случае не одобряю.

Разговоры продолжались долго. Моррис был вне себя. Элияху Голомб, чья осиротевшая племянница явилась домой с таким же заявлением, умолял меня поддержать его против молодежи. Шейна сказала, что если я уступлю, то буду жалеть об этом всю жизнь, как и Сарра. Но, хоть кое-кого это и удивит, я никогда не была сторонницей непреклонности — если дело не касалось Израиля. В делах, касавшихся моей страны, я не уступала никогда, но люди — это другое. Словом, было маловероятно, что Сарра уступит, и потому, хоть и с тяжелым сердцем, уступила я.

Когда я в первый раз приехала посетить ее в Ревивиме, на километры вокруг не было ничего, ни деревца, ни стебелька травы, ни птицы — только песок и жгучее солнце. Есть тоже было нечего, а бесценная вода, до которой поселенцы докапывались, была такая соленая, что я не могла ее пить; правда, им все-таки удалось вырастить какие-то овощи, которые, к счастью, были в отношении воды не так разборчивы, как я. "Поселение" состояло из защитной стены, сторожевой башни и нескольких палаток. Большую часть года тут было невыносимо жарко, зато зимой — очень холодно, и я подумала, что для девушки, которая в детстве чуть не умерла от болезни почек — это самое неподходящее место в мире. Но я не сказала ни слова. При первой возможности я приезжала туда и проводила несколько часов с Саррой, слушая рассказы о том, как развивается киббуц, разглядывая водостоки и резервуар, который они строили для сбережения зимних дождей, а иногда, беседуя с очень милым молодым человеком, Зехарией Рехави, иеменитом из Иерусалима, которому Сарра, по-видимому, симпатизировала. Мне казалось, что жизнь в Ревивиме (на иврите это означает "кап-

ли росы”) можно было бы при некотором усилии сделать более комфортабельной — несмотря на окружение. Но я вспоминала, как на меня сердились мерхавийцы за такие советы, и держала язык за зубами.

В сентябре 1943 года я выступила свидетелем на процессе о похищении оружия, который стал в Палестине знаменитым. Два молодых еврея были обвинены англичанами в краже армейского оружия с целью передать его Хагане; меня, как члена Ваад ха-поэл, вызвали давать показания перед военным судом. Прокурор майор Бакстер — малосимпатичный джентльмен — гораздо меньше был заинтересован обоими юношами, чем еврейской организацией самообороны; он хотел представить ее как широко разветвленное террористическое движение, угрожающее спокойствию и безопасности Палестины. Он не остановился и перед прямой клеветой на ишув, сказав, что евреи в таком количестве записывались в добровольцы еще и потому, что рассчитывали получить доступ к оружию. Это было не только несправедливое обвинение — это было опасное обвинение. (Как же я была удивлена, когда в 1975 году получила письмо от майора Бакстера из Ирландии, в котором он меня поздравлял с тем, что американцы выбрали меня “Женщиной года”. “Если вам когда нибудь придется искать работу, — писал он, — то я вам ее предоставлю в Ольстере, тут ваши таланты очень быгодились”).)

Говоря по правде, я была рада случаю дать понять майору Бакстеру, что я о нем думаю, хотя и должна была соблюдать при этом осторожность. Я понимала, что больше всего Бакстеру хотелось бы доказать, что официальное Еврейское Агентство и незаконная Хагана работают рука об руку. И я поклялась себе, что Бакстер ничего из меня не выудит, только получит поделом. Лозунгом моим стала любимая поговорка мамы: “Если скажешь “нет” — то никогда не пожалеешь”. По-моему, цитаты из Бакстера расскажут о позиции и поведении англичан в отношении нас в 1943 году больше, чем все, что я могу написать. Вот часть отчета,

появившаяся в англоязычном "Палестайн Пост" (теперь "Джерузалем Пост") 7 сентября 1943 года. (Одно пояснение: Бен-Шемен — молодежная деревня, которую англичане перетряхнули до основания в поисках оружия.)

Майор Б.: Вы — хорошая, миролюбивая, законопослушная леди, не так ли?

Г.М.: Думаю — да.

Майор Б.: И вы всегда были такая?

Г.М.: Я никогда ни в чем не обвинялась.

Майор Б.: Хорошо, тогда прослушайте выдержку из вашей речи 2 мая 1940 года (читает): "Двадцать лет нас учили доверять британскому правительству, — но нас предали. Пример тому — Бен-Шемен. Мы никогда не учили свою молодежь применять огнестрельное оружие для нападения — только для самозащиты. И если эти юноши — преступники, то преступники и все евреи Палестины". Что вы на это скажете?

Г.М.: Если речь идет о самозащите — то я за самозащиту, как и все евреи Палестины.

Майор Б.: Вы лично обучались владению оружием?

Г.М.: Не знаю, должна ли я отвечать на этот вопрос. Во всяком случае я никогда не применяла огнестрельного оружия.

Майор Б.: Обучали ли вы еврейскую молодежь владению огнестрельным оружием?

Г.М.: Еврейская молодежь будет защищать жизнь и имущество евреев в случае беспорядков и в случае необходимости.

Председатель суда: Прошу вас только отвечать на вопросы.

Майор Б.: Имеется ли у вас в Гистадруте разведывательная служба?

Г.М.: Нет.

Майор Б.: Что?

Г.М.: Вы слышали. Нет.

Майор Б.: Слышали ли вы о Хагане?

Г.М.: Да.

Майор Б.: Есть у нее оружие?

Г.М.: Я не знаю, но полагаю, что да.

Майор Б.: Слышали ли вы о Палмахе?

Г.М.: Да.

Майор Б.: Что это такое?

Г.М.: Когда я впервые услышала о Палмахе, речь шла о группах молодежи, организованных с ведома властей, проходивших специальную тренировку в то время, когда германская армия приближалась к Палестине. Функция их была всячески помогать британской армии, если в страну вторгнется враг.

Майор Б.: И эти группы продолжают существовать?

Г.М.: Не знаю.

Майор Б.: Это легальная организация?

Г.М.: Я знаю только, что эти группы были организованы в помощь британской армии и с ведома властей.

(После того, как свидетельница подтвердила, что член Гистадрута может быть членом Хаганы и Палмаха, майор Бакстер спросил, готовы ли они делать то, о чем она говорила в своей речи в 1940 году.)

Г.М.: Они готовы защищать себя, если на них нападут. У нас тут в этом смысле есть уже горький опыт. Я говорю, что мы готовы защищаться, и я хочу, чтобы меня поняли. Самозащита — не теория. Мы помним беспорядки 1921, 1922 и 1929 годов, помним и беспорядки, которые длились четыре года — с 1936 по 1939 год. Все в Палестине — и власти, в том числе — знают, что, если бы народ не был готов к обороне, и храбрая еврейская молодежь не защищала бы еврейские поселения, то не только ничего не осталось бы от этих поселений, но и чести евреев был бы нанесен урон.

Майор Б.: Разве вы не знаете, что правительство назначило 30000 евреев специальными полицейскими с правом носить оружие?

Г.М.: Знаю, и знаю, что до 1936 года правительство помогало и нам. Но никто в правительстве не может отрицать, что если бы евреи не были подготовлены к самообороне, с нами произошли бы ужасные вещи. Мы гордимся евреями Варшавского гетто, которые почти без оружия восстали против своих преследовате-

лей, и мы уверены, что они брали пример с еврейской самообороны в Палестине.

Майор Б.: А как насчет дела о краже 300 армейских винтовок и боеприпасов?

Г.М.: Мы заинтересованы в победе британских вооруженных сил. Кража у армии в наших глазах — преступление.

Майор Б.: Но это оружие может пригодиться Хагане?

Г.М.: Нет еврея, который был бы равнодушен к этой войне и не был бы заинтересован в победе британской армии.

Майор Б.: Но вы ведь не можете сказать, что винтовки ушли сами собой? (Показывает свидетельнице "белый билет" одного из подсудимых). Этот билет, по-видимому, указывает на то, что вы производили набор в армию?

(Свидетельница заявляет, что ни для кого не секрет, что Еврейское Агентство в течение некоторого времени проводило кампанию за запись добровольцев, и каждый здоровый еврей получил приказ вступить в вооруженные силы. "Мы воюем против Гитлера с 1933 года", — сказала она.)

Председатель суда: Не кажется ли вам, что правительство — лучший судья в вопросе, следует или нет проводить набор в армию? Не разумнее ли было лояльно выполнять решение правительства — не проводить набора в армию в этой стране?

Г.М.: Мы не в том положении, чтобы проводить в Палестине набор в армию; с другой стороны, и правительство, и армия хотели, чтобы в войска были направлены евреи; они обращались с этой просьбой к Агентству, и мы сочли правильным сказать евреям, что это — их война.

Майор Б.: Вы называете "добровольной записью" такой порядок, когда, если человек отказывается записаться добровольцем, его увольняют с работы?

Г.М.: Это только моральное давление. Для евреев эта война имеет большее значение, чем для кого бы то ни было. (Допрошенная представителем защиты д-ром

Джозефом, миссис Меерсон сказала, что даже высшие офицеры британской армии участвовали в кампании Еврейского Агентства и некоторые просили у Гистад-рута совета о помощи в вербовке евреев для британской армии.)

Д-р Джозеф: Правда ли, что в Хевроне произошла страшная резня и почти все еврейское население погибло только потому, что там не было еврейской самообороны?

Г.М.: Да, это было в 1929 году; в том же году то же самое случилось в Цфате; в 1936 году произошла ночь убийств в еврейском квартале Тверии — и все лишь потому, что в тех местах не было Хаганы.

Майор Б.: А у Хаганы было оружие и до того, как началась война?

Г.М.: Не знаю, но полагаю, что да. Беспорядки случались и до войны.

Председатель суда: Прошу вас ограничиваться тем, что относится к настоящему делу и не возвращаться назад, а то скоро мы отойдем на две тысячи лет.

Г.М.: Если бы еврейский вопрос был разрешен две тысячи лет назад...

Председатель суда: Замолчите!

Г.М.: Я возражаю против такого обращения ко мне.

Председатель: Вам следовало бы уметь вести себя в зале суда.

Г.М.: Прошу прощения, если я вас перебила, но вам не следовало обращаться ко мне в такой форме.

На следующий день я поехала в Герцлию навестить родителей. Мама открыла мне двери и сказала: "Твой отец целое утро ходил по соседям и показывал газету: "Смотрите! Моя Голда!"

И все-таки большинству из нас казалось, что когда война закончится победой союзников, в которой никто уже не сомневался, англичане задумаются над своей катастрофической палестинской политикой. Как только начнется новая, послевоенная эра, "Белая книга", конечно же, будет отменена, тем более, что в Великобритании к власти пришли лейбористы. Тридцать лет

британские лейбористы осуждали ограничение еврейской иммиграции в Палестину и печатали одно за другим просионистские заявления. Может быть, это и было с нашей стороны наивно — верить, что теперь все изменится, но это никак не было неразумно, особенно же в свете того страшного зрелища, которое представляли собой сотни тысяч живых скелетов, падавших из ворот лагерей уничтожения в объятия англичан-освободителей.

Конечно, мы ошиблись. Британская политика действительно переменилась, но к худшему. Правительство м-ра Эттли не только не отказывалось от "Белой книги", но и заявило, что не видит необходимости выполнять свои обещания по поводу Палестины — данные не только нам, но и миллионам английских рабочих и солдат. У Эрнста Бевина, нового министра иностранных дел, было собственное "окончательное решение" для еврейской проблемы в Европе, в котором евреи уже именовались "перемещенными лицами". Если они возьмут себя в руки и сделают настоящее усилие, они опять смогут поселиться в Европе. И неважно, что континент превратился в кладбище для миллионов убитых евреев, и неважно, что есть только одно место в мире, куда все эти несчастные "перемещенные лица" хотят ехать — Палестина.

Мне было трудно, почти невозможно поверить, что британское лейбористское правительство, вместо того, чтобы, как оно давно и неоднократно обещало, заложить основы еврейской независимости в Палестине, теперь готово было послать солдат против невинных людей, просивших только об одном: чтобы им было разрешено доживать свои дни в Палестине, среди других евреев. В общем, не такое уж это было трудное дело, но Бевин отверг их просьбу с такой небывалой грубостью и сопротивлялся с таким безумным упорством, словно судьба и будущее всей Британской империи зависели от того, чтобы удержать за пределами Палестины несколько сот тысяч полумертвых людей.

Я не могла — и да и теперь не могу — найти объясне-

ния той слепой ярости, с которой британское правительство преследовало этих евреев — да и нас. Но эта ярость заставила нас понять, что у нас нет другого выхода, кроме как принять вызов, хотя мы, конечно, не были к этому достаточно подготовлены. С лета 1945 до зимы 1947 года мы, на наших весьма неподходящих для этого судах, перевезли из лагерей перемещенных лиц в Палестину около 70000 евреев, пробравшись с ними сквозь жесточайшую блокаду, установленную правительством, члены которого на бесчисленных лейбористских конференциях, где я бывала, еще так недавно с таким волнением провозглашали сионистские идеи.

Настоящая борьба — "маавак" — началась с 1945 года, но решающим был 1946. Именно тогда, ко всеобщему изумлению, британское правительство отказало самому президенту Трумэну, обратившемуся к нему с призывом — в виде исключения, из милосердия и гуманности, разрешить ста тысячам беженцев из Германии и Австрии въехать в Палестину. Но м-р Эттли и м-р Бевин, считавшие, по-видимому, что проблема европейских евреев придумана только для того, чтобы ставить палки в колеса британскому правительству, сказали президенту Трумэну "нет". Однако, добавили они, если правительство США так беспокоится о евреях, то, может быть, оно окажет помощь в разрешении палестинской проблемы? Была создана англо-американская комиссия для рассмотрения палестинского вопроса. Она посетила лагеря перемещенных лиц, услышала там от евреев, что они хотят ехать только в Палестину, провела собеседования с лидерами британского и американского еврейства, после чего ранней весной 1946 года прибыла в Палестину, чтобы там проводить свои заседания.

25 марта 1946 года я предстала перед комиссией в качестве представительницы Гистадрута. Снова понадобилось излагать все факты (наверняка всем известные), включая кратчайшую историю евреев и их деятельность в Палестине. Я попыталась объяснить, како-

во было нам наблюдать из Палестины за истреблением миллионов евреев и быть лишенными возможности что бы то ни было сделать. Я также предупредила комиссию, что мы твердо решили положить конец тому, что великий еврейский поэт Хаим Нахман Бялик называл "бессмысленной жизнью и бессмысленной смертью" нашего народа.

"От имени почти ста шестидесяти тысяч членов Гистадрута мне поручено заявить здесь в самых недвусмысленных выражениях: еврейское рабочее движение готово сделать все, что понадобится, в этой стране ради того, чтобы принять, без ограничений и условий, широкие массы еврейских иммигрантов..." Но поняли ли почтенные члены комиссии, что именно я имела в виду? Я хотела быть в этом уверенной, и потому решила рассказать, каково бывает, когда приходится давать перед судом "свидетельство" по таким вопросам. Повредить делу это не могло — могло бы, возможно, даже помочь. В конце концов передо мной были культурные и образованные люди. Я сказала им:

"Я не знаю, господа, можете ли вы, имеющие счастье принадлежать к двум великим демократическим нациям, британской и американской, даже при самом искреннем желании, понять наши проблемы, представить себе, что значит принадлежать к народу, чье самое право на существование постоянно ставится под вопрос: под вопросом — наше право быть евреями, какие мы есть, не лучше, но и не хуже других людей мира, с нашим языком, нашей культурой, правом на самоопределение и готовностью к дружбе и сотрудничеству с ближними и дальними. Еврейские трудящиеся этой страны, вместе с оставшимися в живых молодыми и старыми евреями в лагерях для перемещенных лиц решили в течение жизни одного поколения навсегда покончить с беспомощностью и зависимостью от других. Мы хотим только того, что естественно дано всем народам земли — быть хозяевами собственной судьбы — только собственной, а не чужой; жить по праву, а не потому, что

нас терпят; иметь возможность перевезти оставшихся в живых еврейских детей, которых не так-то много осталось теперь в мире, сюда, в эту страну, чтобы они росли, как наши дети, родившиеся здесь, которые свободны от страха и высоко держат головы. Наши дети здесь не понимают, почему самое существование еврейского народа ставится под вопрос. Для них быть евреем естественно”.

Но по выражению их лиц я так и не могла сделать вывод — поняли они или нет. Как бы то ни было, трое из членов комиссии вскоре стали нашими друзьями — Бартли Крам, Ричард Кроссмен и Джеймс Дж.Макдональд, который был первым послом США в Израиле.

В Палестине в это время было очень неспокойно. Корабли, один за другим, доставляли к ее берегам новых и новых беженцев, а британцы тут же вычитали этих ”нелегальных” иммигрантов из месячной квоты сертификатов на въезд; когда же Хагана отказалась прекратить иммиграцию, британцы издали специальные правила, равнявшиеся переходу на военное положение.

В апреле, когда комиссия готовила свой отчет, британцы сделали новый ход в своей войне против беженцев. Мало того, что королевский флот, королевская авиация и тысячи британских солдат патрулировали побережье Палестины, стараясь схватить ”опасных политических преступников”, помогавших привозить перемещенных из Европы. Теперь битва перекинулась в другую страну. Два корабля Хаганы (”Федэ”, переименованный в ”Дов Хоз” и второй, ”Элияху Голомб”) были захвачены в Специи, на Итальянской Ривьере, перед самым их выходом в море с 1014 беженцами на борту. Под давлением англичан итальянские власти запретили кораблям выйти в море, а беженцы, со своей стороны, отказались сойти с корабля. Они объявили голодовку и сделали заявление, что если против них применяют силу, они убьют друг друга и потопят корабли.

Не сомневаюсь, что все они дошли в своем отчаянии

до того, что были бы способны это сделать; мысль об этих несчастных, истощенных людях, стиснутых как сельди в бочке, которые лишают себя той скудной еды, которой мы могли их снабдить, была для меня невыносима. Если уж мы не можем сами привести в страну эти корабли, то мы можем хоть показать иммигрантам — и всему миру — как глубоко мы оскорблены. Я отправилась сначала в Рабочее правление, а потом в Еврейский Национальный Совет (Ваад Леуми, представлявший весь ишув, председателем которого тогда был Ремез) и предложила, чтобы мы тоже объявили голодовку в поддержку беженцев Специи. Мы поставили два условия: чтобы каждая крупная группа ишува прислала в представительство Ваад Леуми в Иерусалиме, где должна была происходить голодовка, не более одного делегата, и что всего в ней примет участие пятнадцать человек, совершенно здоровых.

В этом смысле мое положение было нетвердым, потому что я только что перенесла болезнь, и меня не удивило, когда врач сказал, что мне никак нельзя присоединяться к голодовке. "О'кей, — сказала я, — выбирай. Одно из двух: или я буду сидеть вместе со всеми в Ваад Леуми, или я буду сидеть одна и голодать дома. Ты ведь не можешь думать, что я не приму в этом участия". Он был недоволен, но через некоторое время уступил и выдал мне бесценное медицинское удостоверение. Не у меня одной были неприятности с докторами. Шазар тоже перенес болезнь, но он пошел к знакомому гинекологу в Реховоте и без всяких затруднений получил от него требуемое удостоверение (хотя, кстати сказать, после голодовки его сразу же отвезли в больницу, где он пробыл около месяца).

Мы поставили в кабинетах Ваад Леуми кровати, пили чай без сахара, когда нас иссушала жажда, и не ели ничего в течение 101 часа, хотя я, слава Богу, решила, что курение разрешается. Была одна трудность: третий день голодовки совпал с началом Пасхи, и главный раввин Герцог сообщил нам, что надо кончать, ибо, по еврейскому Закону, на седере все евреи долж-

ны есть. Мы провели консультацию, наши эксперты сказали, что достаточно съесть кусочек мацы с оливку величиной, и мы продолжили голодовку. Это был очень трогательный седер. И тогда, и во все дни голодовки евреи собирались во дворе под нашими окнами, молились и пели, и со всех концов страны прибывали делегации с добрыми пожеланиями для нас. Однажды, к моей радости, появились Менахем и Сарра, нередко бывал с нами и Бен-Гурион, хотя по какой-то причине он был против этой голодовки. Теоретически нас разрешалось посещать только раз в день, от 12 до часу дня, но в действительности мы редко бывали одни.

За несколько минут до начала голодовки мы решили посетить генерального секретаря Палестинского правительства и в последний раз просить о том, чтобы людей из Специи впустили в страну. Он все выслушал, потом повернулся ко мне и сказал: "Миссис Меерсон, неужели вы хоть на минуту допускаете, что правительство его величества изменит свою политику оттого, что вы не станете есть?" "Нет, — сказала я, — таких иллюзий у меня нет. Если уж смерть шести миллионов не изменила эту политику, то я не рассчитываю, что она изменится, если я не буду есть. Но, по крайней мере, это будет знаком нашей солидарности".

Тем не менее, голодовка произвела впечатление. 8 мая "Дов Хоз" и "Элияху Голомб", под эскортом британских кораблей, отплыли в Палестину — и из майской квоты было вычеркнуто 1014 сертификатов. В этом же месяце англо-американская комиссия опубликовала свой доклад. В нем предлагалось, чтобы 100000 иммигрантов было немедленно допущено в Палестину и запрет "Белой книги" на продажу евреям земли был отменен. В нем содержалось и предложение на будущее — чтобы мандат был передан на попечение Объединенных наций. Но мистер Бевин опять сказал "нет". Он сказал, что если, несмотря на возражения арабов, в страну въедет 100000 беженцев, то понадобится целая британская дивизия, чтобы навести порядок в Палестине. "В таком случае, — сказала я на партийной кон-

ференции в Хайфе, — нам придется доказать м-ру Бевину, что если он не изменит своей политики, ему придется послать армейскую дивизию, чтобы бороться с нами". В сущности м-ру Бевину больше всего хотелось именно этого — и так он и сделал.

29 июня 1946 года британское правительство фактически объявило войну ишуву. Сто тысяч британских солдат и две тысячи полицейских ворвались в десятки киббуцов и деревень; вторглись в национальные учреждения — в Еврейское Агентство, Ваад Леуми, Ваад ха-поэл; ввели комендантский час во всех городах Палестины с еврейским населением; наконец, посадили в лагеря более 3000 евреев, в том числе большую часть национальных лидеров. Этим предполагалось убить сразу трех зайцев: деморализовать и наказать ишув, разгромить Хагану и раз навсегда покончить с "нелегальной" иммиграцией, бросив в тюрьму тех, кто был за нее ответственен. Британцы потерпели поражение на всех трех фронтах, но именно с этой "Черной субботы", как она теперь называется в Израиле, Палестина стала буквально полицейским государством.

К счастью, мы были предупреждены, что готовится эта операция. Десятки командиров Хаганы ушли в подполье, оружие было перенесено в новые хранилища, придуманы были новые коды. Бен-Гурион, во всяком случае, был за границей, но Ремез, Шарет и фактически все члены Еврейского Агентства и Ваад Леуми были схвачены и отправлены в Латрун, в лагерь. Меня, однако, не арестовали, и нашлись злые языки, утверждавшие, что ничего хуже этого правительство мандатории не могло мне сделать. Может, я была не такая важная птица, а может, они не могли помещать в Латрун женщин. Как бы то ни было, многие считали арест в эти дни за честь, и один из моих коллег так стремился, чтобы его посадили вместе с остальными, что вместо того, чтобы спрятаться, он разгуливал по улицам весь день, пока полицейский не предложил ему идти домой. Поля Бен-Гурион, не славившаяся тактичностью, звонила мне каждые несколько часов: "Голда, ты еще до-

ма? Тебя еще не взяли?" Я отвечала "нет" и вешала трубку. Через некоторое время — опять звонок: "Голда, они еще не пришли за тобой?" И все это по телефону, словно никто не мог этого услышать.

Британцы не только арестовывали людей и искали оружие и документы, но причинили массу бессмысленного ущерба. Один из больших киббуцов, Ягур, был оккупирован солдатами целую неделю. Там нашли арсенал Хаганы и потому все было перевернуто вверх дном. Киббуцники, которых британцы, всех поголовно, заподозрили, что они члены Хаганы, отказались называть свои имена и говорили только "палестинский еврей". За это все мужчины были отправлены в лагеря и после ухода войск в Ягуре остались только женщины и дети. Сразу после ухода солдат я поехала туда, чтобы посмотреть, какой нанесен ущерб. Не забуду, как я подбирала испорченные детские фотографии: глаза детей на них были выколоты.

Поскольку Шарет сидел в Латруне, я стала исполнять обязанности начальника политического отдела Еврейского Агентства и внесла предложение, чтобы ответом ишсува на массовые аресты было гражданское неповиновение. Невозможно было покорно принять все происходящее, не говоря уже о том, что я была уверена — если мы ничего не будем делать, то Эцел и группа Штерна (Лехи) возьмут дело в свои руки.

Все мое место и свое время, и тут не место и не время рассказывать подробно всю, в общем — трагическую историю существовавших тогда в ишсуве двух диссидентских подпольных организаций и их взаимоотношений с Хаганой. Оставляю это другим, на будущее. Но нечестно будет, если я тут с совершенной ясностью не выскажу своего отношения и к методам, и к философии Эцела и штерновцев. Я всегда, и по моральным, и по тактическим соображениям была неизменной противницей любого террора, как против арабов, потому что они арабы, так и против британцев, потому что они британцы. Моим твердым убеждением было и есть то, что, несмотря на участие в этих дисси-

дентских группах многих лично очень храбрых и преданных людей, их позиция была ошибочна от начала до конца и потому вредна для ишува. И летом 1946 года я утверждала, что если мы не будем эффективно реагировать на события "Черной субботы", то это сделают они и навлекут на нас еще большие несчастья.

При первой возможности я отправилась в Реховот к д-ру Хаиму Вейцману, надеясь убедить его, чтобы он призвал к массовой демонстрации. В то время д-р Вейцман был председателем Всемирной Сионистской организации и главой Еврейского Агентства. Он являлся бесспорным лидером и выразителем мнений всемирного еврейства.

Этот замечательный ученый родился в России, но много лет жил и работал в Англии и сыграл важную роль в появлении Декларации Бальфура. Красивый, величественный, он отличался и своей королевской осанкой. Для евреев всего мира это был "царь иудейский"; не принадлежа ни к какой политической партии, он был очень заинтересован киббуцным движением в частности и рабочим движением в целом — хотя тут между постепеновцем Вейцманом и активным деятелем Бен-Гурионом шли неизбежные трения. Во время войны их отношения еще ухудшились: по мнению Бен-Гуриона, Вейцман недостаточно нажимал на создание Еврейской бригады там, где это было нужно, и он даже внес предложение, чтобы партия попросила Вейцмана уйти со своего поста. Мы, конечно, не согласились с Бен-Гурионом, но позже, на Базельском конгрессе 1946 года, Вейцман получил вотум недоверия.

Но несмотря на все, что теперь рассказывают в Израиле об отношениях этих двух столь различных по темпераменту и взглядам людей, Бен-Гурион восхищался Вейцманом и любил его, как и все мы, хоть и не разделял его доверия к англичанам. Вейцман даже после 1946 года все еще верил, что англичане одумаются, и не мог уразуметь всю меру их предательства по отношению к нам. Но все тридцать лет мандата, независимо от того, занимал ли он свой пост или нет, он был живым

воплощением сионизма для всего внепалестинского мира, и влияние его было огромно.

Только Вейцман мог убедить Трумэна в решающий час 1948 года признать еврейское государство, включающее Негев. Он был уже стар и слаб, и почти ничего не видел, но когда 14 мая 1948 года Трумэн подписал признание Израиля Соединенными Штатами, он вспомнил именно доктора Вейцмана. "Теперь старый доктор мне поверит", — сказал он. А у Бен-Гуриона и сомнений не было, что когда у нас будет свое государство, первым его президентом будет Хаим Вейцман.

Я нередко навещала Вейцмана в Реховоте, где они с Верой (так звали жену Вейцмана) построили себе в тридцатые годы дом, с 1948 по 1952 годы, т.е. до смерти Вейцмана, считавшийся резиденцией президента. Иногда он звонил мне сам: "Приходи к нам, пообедаем вместе!" Я приходила, и мы весь вечер сплетничали и разговаривали о политике. Под конец жизни он стал очень желчным, называл себя "реховотским узником" и чувствовал, что его сознательно отстраняют от политических дел. Как-то мы с ним завтракали; он с грустью говорил о де Голле, что тот может, если хочет, присутствовать на заседаниях кабинета и даже председательствовать на них, а наша парламентская система этого не позволяет. Может быть, ему и не следовало продолжать жить в Реховоте, хотя он, разумеется, хотел быть поближе к Институту Вейцмана, великолепному центру научных исследований, который вырос из научно-исследовательского института, основанного Даниэлем Зифом в 1934 году. Если бы Вейцман жил в Иерусалиме и открыл двери своего дома народу Израиля, как это сделали в свое президентство Бен-Цви и Шазар, он бы меньше ощущал свою позицию. И если бы г-жа Вейцман была не так элегантна и высокомерна — это тоже бы не повредило. Как бы то ни было, это был очень большой человек, и я сочла большой честью для себя, когда директор Института Вейцмана и мой друг Меир Вейсгал попросил меня в 1974 году быть по-

четным председателем на праздновании столетия со дня рождения Хаима Вейцмана.

Но в 1946 году, в тот день, когда я к нему пришла, он был в расцвете сил и обладал большой властью. "Если к политике гражданского неповиновения призовешь ты, — сказала я, — весь мир увидит, что мы не можем примириться с тем, что происходит. Надо иметь твой авторитет, чтобы сделать такое заявление эффективным".

"Хорошо, — сказал он. — Но мне нужно подтверждение Хаганы, что она не предпримет ничего — никаких действий! — до того, как Еврейское Агентство проведет свое августовское заседание в Париже". Я обещала сделать все, что смогу, чтобы получить эту гарантию от пяти человек, от которых это зависело (я еще не входила тогда в их число), и немедленно отправилась к Эшколу, выяснить, насколько это возможно. В сущности вопрос о действиях Хаганы уже был решен положительно, тремя голосами против двух, но когда Эшкол услышал требование Вейцмана, он сказал, что отдаст свой голос тем, что был "против". Он тоже понимал, что если национальные организации смолчат, то Эцел непременно что-нибудь предпримет. И тут Вейцман отступился от своего обещания. Вероятно, английские друзья отговорили его от руководства кампанией гражданского неповиновения, но каковы бы ни были их резоны, я была очень огорчена и рассержена.

В августе, как и было намечено, состоялось заседание Еврейского Агентства в Париже. Мы не хотели, чтобы Бен-Гурион, все еще находившийся за границей, возвращался в Палестину, где его, вероятно, ожидал арест, поэтому мы поехали во Францию и услышали подробности нового предложения Бевина. На этот раз Бевин предложил "кантонизацию" Палестины — с одним еврейским кантоном. В это время британцы уже депортировали "нелегальных" иммигрантов в кипрские лагеря и вводили в Палестину все новые и новые воинские части. Казалось бы, речь следовало вести лишь о предложениях, имевших целью создание

еврейского государства, но переговоры, которые Вейцман вел с британцами, шли по несколько иной линии.

Бен-Гурион готов был поднять шум на весь мир, но я предложила полететь в Лондон и самим поговорить с Вейцманом. Бедняга! Он потерял на войне сына, его зрение ухудшалось, его сердце разрывалось — из-за британцев и от тревоги, что, отвергнув английский план кантонации, мы ввергнем ишув в тотальную войну. Я же, не в силах слышать, что нас же обвиняют в "безответственности", совершенно потеряла самообладание, что со мной случается нечасто. Я поднялась и вышла из комнаты. И прошлые годы, прежде чем Вейцман простил мне, что я была против него — и тогда, и позже, в Базеле.

Кстати, это был не единственный случай, когда я вышла из комнаты. Всего через несколько месяцев я зачем-то зашла к ответственному правительственному чиновнику и была ошелоmlена его любезными словами: "Миссис Меерсон, согласитесь, что у нацистов были кое-какие причины преследовать евреев". Я поднялась и вышла, не сказав ни единого слова и отказалась встречаться с ним вообще. Потом мне говорили, что он не мог понять, отчего я пришла в такое бешенство.

22 Сионистский конгресс в Базеле был первым конгрессом после войны. Он был похож на сбор семьи в глубоком трауре, оплакивающей бесчисленные утраты, но сплотившейся, несмотря на великое горе, чтобы спасти оставшихся в живых и рассмотреть текущие задачи. Теперь мы открыто говорили всему миру о создании еврейского государства. Я выступила на идиш. Вспомнила черные дни войны и последовавшие за ними события, рассказала о нашей молодежи, о сабрах, родившихся в Палестине, и о том, как мы спрашивали друг друга: "Что свяжет этих наших детей с еврейским народом всего мира?" Я хотела, чтобы делегаты конгресса узнали, что эта молодежь, еще недавно не понимавшая, что такое диаспора, предана идее свободной еврейской иммиграции не меньше, чем мы.

"Пришло время, и сами сабры дали на это свой от-

вет. Им чужда казуистика и абстрактные рассуждения. Они просты и чисты, как солнце Палестины. Для них все эти вопросы просты, ясны и несложны. Когда над евреями всего мира разразилась Катастрофа и они начали прибывать в Палестину на "нелегальных" кораблях, как делают и теперь, мы увидели, что эти наши дети бросаются в море, рискуя жизнью, в прямом, а не в переносном смысле — навстречу кораблям и на своих плечах перетаскивают репатриантов на берег. И это тоже надо понимать буквально: шестнадцати- и восемнадцатилетние палестинские мальчики и девочки перетаскивали выживших на собственных плечах. Я слышала от тех, кого перетаскивали, что они плакали впервые — после всего, что перенесли в Европе за семь лет! — когда увидели, что палестинские дети выносят взрослых мужчин и женщин на берег родной земли. Наше благословение — эта молодежь, готовая отдать жизнь не за свой родной кибуц или даже за палестинский ишув в целом, а за каждого еврейского ребенка, за каждого старика, ищущего убежище в стране.

То, что евреи все-таки приехали, несмотря на английские газовые бомбы, зная, что некоторые могут погибнуть и что все будут отправлены в кипрские лагеря — это уже чудо. А другое чудо — что наши дети принимали участие в нашей борьбе.

Что касается будущего, то удары, которые нам наносили, только укрепили нашу решимость добиваться полной политической независимости, а она может быть достигнута только через создание еврейского государства".

Но я не сказала конгрессу, потому что еще не знала этого сама, что в течение 21 месяца, отделявших нас от рождения Израиля, нам нанесут куда более жестокие удары, чем те, что прежде знала Палестина.

8. У НАС ЕСТЬ СВОЕ ГОСУДАРСТВО

1946 год был тяжелым, но о 1947 годе я могу сказать, что британцы полностью утратили контроль над тем, что происходило в стране. Борьба против нелегальной иммиграции превратилась в открытую войну, не только с ишувом, но и с самими беженцами. У Бевина, казалось, только одно и было на уме, как бы не впустить еврейских беженцев в еврейское отечество. И то, что мы отказались разрешить для него эту проблему, привело его в такое бешенство, что он и вовсе перестал рассуждать; честно говоря, я думаю, что некоторые его решения определялись именно бешенством против евреев, которые не могут и не желают согласиться с мнением британского министра иностранных дел о том, как и где им жить.

Не знаю — да сейчас это и неважно — помешался ли слегка Бевин, или просто был антисемитом, или то и другое вместе. Знаю лишь, что он настойчиво противопоставлял мощь Британской империи еврейской воле к жизни и принес этим не только тяжкие страдания народу, и так уже вынесшему страдания невероятные, но и навязал тысячам английских солдат и моряков такую роль, которая должна была преисполнить их ужасом. Я побывала в 1947 году на Кипре, и, глядя на молодых англичан, стороживших лагеря, я думала, как же могут они примириться с тем, что еще совсем недавно они освобождали из нацистских лагерей тех самых людей, которых теперь держат за колючей проволокой только потому, что те не хотят жить нигде, кроме Палестины. Я смотрела на этих славных английских ребят и меня переполняла жалость. Нель-

зя было не думать, что они такие же жертвы бевинской одержимости, как и те мужчины, женщины и дети, на которых день и ночь были нацелены их винтовки.

На Кипр я поехала, чтобы выяснить, что можно сделать — если вообще это возможно — для сотен находившихся там в заточении детей. В это время в кипрских лагерях находилось около 40 тысяч евреев. Ежемесячно англичане выдавали ровно 1500 разрешений на въезд в Палестину: 750 — евреям Европы и 750 — тем, кто был на Кипре. Принцип отправки с Кипра был: "кто первый приехал, первый уедет", а это означало, что множество маленьких детей были обречены месяцами находиться в очень тяжелых условиях. Наши врачи в кипрских лагерях были этим очень озабочены, и однажды в моем иерусалимском кабинете появилась медицинская делегация.

"Мы не можем взять на себя ответственность за здоровье детей, если они проведут в лагерях еще одну зиму", — заявили они. И я вступила в переговоры с палестинским правительством. Мы предложили, чтобы семьи с ребенком до года были отправлены с Кипра "вне очереди", с тем, чтобы потом их количество вычли из месячной квоты разрешений "очередникам". Таким образом надо было одновременно убедить палестинские власти, чтобы они проявили несвойственную им рассудительность и гибкость, а самих "перемещенных" — чтобы они установили специальную систему очередности. Мне понадобилось немало времени, чтобы договориться с властями, но в конце концов это удалось, и удалось даже получить разрешение отправлять с Кипра детей-сирот как можно быстрее.

После этого мне надо было ехать на Кипр договариваться с "перемещенными". "Они тебя и слушать не станут, — предупреждали меня друзья. — Ты только нарвешься на неприятности. Люди только и ждут, когда им разрешат уехать с Кипра, а ты хочешь просить их, чтобы они позволили рвануть оттуда тем, кто там находится всего неделю-другую. Это не пройдет!"

Но я представляла себе это не так, и считала, что во всяком случае стоит попытаться. И я поехала.

Прибыв на Кипр, я тут же представилась коменданту лагеря, пожилому, высокому, сухопарому англичанину, который много лет прослужил в Индии. Это было что-то вроде визита вежливости. Я вкратце объяснила ему, кто я такая и что мне нужно, и спросила, не будет ли он возражать, если я завтра начну обход лагерей.

Он выслушал меня и сухо сказал: "О семьях с детьми мне все известно, но я не получил никаких инструкций по поводу сирот".

"Но это входит в мое соглашение с верховным комиссаром", — сказала я.

"Придется проверить", — сказал он довольно не любезно. Тем не менее мы продолжали беседовать, и вдруг он сказал: "Да ладно! Включайте и сирот!" Я не могла понять, почему он так быстро сдался, но утром мне стало известно, что он получил правительственную телеграмму из Иерусалима, где говорилось: "Остерегайтесь миссис Меерсон, это незаурядная личность". По-видимому, он решил отнестись к предупреждению серьезно.

Лагеря производили еще более удручающее впечатление, чем я ожидала, и в чем-то были еще хуже, чем американские лагеря для перемещенных лиц в Германии. Выглядело это как тюрьма — уродливое скопление лачуг и палаток со сторожевыми вышками по углам, а вокруг только песок: ни деревьев, ни травы. Питьевой воды было мало, воды для мытья — еще меньше, несмотря на жару. Лагеря находились на берегу, но плавать беженцам не разрешалось, и они проводили почти все время в грязных, душных палатках, по крайней мере защищавших их от палящего солнца. Когда я проходила по улице, "перемещенные" толпами собирались у колючей проволоки, отделявшей их от меня, а в одном из лагерей двое крошечных детей поднесли мне букет бумажных цветов. Много букетов получила я с тех пор, но ни один не

растрогал меня так, как этот, изготовленный кипрскими детьми, вероятно, забывшими — если они когда и знали! — на что похожи настоящие цветы и которым помогали в работе посланные нами в лагеря учительницы. Кстати, на Кипре в это время находилась палестинская еврейка — потом ей удалось бежать — по имени Аян, хорошенькая радистка с корабля, принадлежавшего Хагане; теперь она детский психиатр в Тель-Авиве и моя невестка.

Первым делом я встретилась с комитетом, представлявшим всех беженцев, которому я объяснила цель своей миссии. Затем, прямо под открытым небом, я выступила на митинге кипрских лагерников; выразив свою уверенность, что они не останутся здесь надолго и через некоторое время их всех отпустят, я сказала, что в ожидании этого я нуждаюсь в их содействии, ради спасения детей. Сторонники Эцела, имевшиеся в лагерях, яростно возражали против моей договоренности с британцами. "Все или ничего!" — кричали они; кто-то даже попытался наброситься на меня с кулаками. Но в конце концов они успокоились, и мы обо всем договорились.

Оставался еще один беспокоивший меня вопрос. Мы просили, чтобы сиротам было разрешено въехать в Палестину вне очереди — и как же поступать с теми, у кого в живых остался только один из родителей? Вернувшись в Иерусалим, я отправилась к верховному комиссару, сэру Алэну Каннингэму и поблагодарила его за то, что он сделал. "Но у нашего договора есть один трагический аспект, — сказала я. — Получается несправедливо: ребенок, у которого мать или отец убиты в Европе, остается на Кипре, а его друг, которому "посчастливилось" потерять обоих родителей, может уехать. Нельзя ли что-нибудь сделать?"

Каннингэм — последний верховный комиссар Палестины, добрый и порядочный человек — покачал головой, подавил вздох с выражением покорности судьбе, улыбнулся и сказал: "Не беспокойтесь, миссис Мерсон, я сейчас же об этом позабочусь".

Я изредка встречалась с ним и потом, и какой бы напряженной и хаотичной ни была обстановка в Палестине, мы с ним всегда разговаривали как друзья. После того как Каннингэм 14 мая 1948 года уехал из Палестины, я уже не думала, что когда-нибудь о нем услышу. Но через много лет, когда я стала премьер-министром, я получила от него письмо. Оно было написано от руки, послано из сельской местности в Англии, куда он удалился после своей отставки, и в нем говорилось, что какое бы сильное давление на нас не оказывали, Израиль не должен уходить с территорий, занятых во время Шестидневной войны, пока у него не будет надежных и хорошо защищенных границ. Это письмо меня очень тронуло.

Но куда менее приятное воспоминание о том времени мне пришлось пережить в 1970 году в Хайфе, когда у прелестного подножия горы Кармел произошло перезахоронение ста детей, умерших в ужасных кипрских лагерях. Я не могла отогнать от себя мысль, что те две девочки, которые так торжественно поднесли мне бумажные цветы в 1947 году, быть может, находятся среди них. Но я часто сталкивалась с людьми, присутствовавшими на митинге кипрских лагерников и хорошо его помнившими. Пять лет тому назад в негевском киббуце ко мне робко подошла женщина средних лет.

— Вы меня простите за беспокойство, — сказала она, — но мне впервые представился случай вас поблагодарить.

— За что? — спросила я.

— Я в 1947 году была на Кипре с маленьким ребенком, и вы нас спасли. А теперь я бы хотела познакомиться с этим маленьким ребенком. "Маленький ребенок" оказался крепкой, хорошенькой двадцатилетней девушкой, только что окончившей военную службу, которая, видно, решила, что я свихнулась, когда я, не говоря ни слова, крепко расцеловала ее у всех на глазах.

На Базельском сионистском конгрессе в 1946 году

было решено, что Моше Шарет возглавит политический сектор Еврейского Агентства в Вашингтоне, а я — в Иерусалиме. Но жизнь в Иерусалиме в 1947 году была подобна жизни в городе, оккупированном враждебной державой. Британцы замкнулись в импровизированной крепости в центре города (мы прозвали ее Бевинградом) под сильной охраной и по малейшему поводу высылали на улицы танки, причем войскам было запрещено входить в какие бы то ни было отношения с евреями. Когда Эцел или группа Штерна брали дело в свои руки — что, к несчастью, происходило довольно регулярно — британцы обрушивали репрессии на весь ишув, особенно на Хагану, и не проходило недели, чтобы чего-нибудь не случилось: то обыски (искали оружие), то массовые аресты, то комендантский час, на несколько дней парализовавший нормальную жизнь, то депортации евреев без предъявления обвинений, не говоря уже о суде. Когда британцы начали наказывать членов Эцела или группы Штерна, дисидентские организации ответили похищением и казнью двух британских сержантов — и все это происходило в разгар нашей борьбы за свободную иммиграцию и устройство страны.

Конечно, теперь я вижу, что почти любая колониальная держава, стремясь подчинить себе строптивых туземцев (чем мы и были в глазах англичан), вероятно, действовала бы еще более сурово. Но и британцы не были мягкосердечными. Невыносимой ситуацию делали не только их жестокие карательные меры, но и то, что мы знали — они поддерживали и покрывали арабов, если не прямо их науськивали. С другой стороны вечное кровопролитие в Палестине тоже не устраивало Англию, особенно при ее послевоенных настроениях, и в феврале 1947 года сам г-н Бевин решил, что его правительству все это надоело, о чем и заявил на заседании Палаты общин. Пусть палестинской проблемой занимаются Объединенные нации. С британцев хватит. Не думаю, чтобы Объединенные нации пришли в восторг от того, что на них столкнули

эту ответственность, но и отказаться они не могли.

Специальная комиссия Объединенных наций по Палестине прибыла в страну в июне. 1 сентября 1947 года она должна была доложить Генеральной Ассамблее свои выводы и конкретные предложения. Палестинские арабы, как всегда, отказались с ней сотрудничать, но все остальные, хоть и без энтузиазма, согласились — и лидеры ишува, и палестинское правительство, и, под конец, даже лидеры некоторых арабских государств. Я проводила много времени с одиннадцатью людьми, составлявшими комиссию, чье полное незнание истории Палестины и сионизма приводило меня в ужас. Но поскольку очень важно было, чтобы они ознакомились с этим как можно скорее, мы стали им все объяснять и показывать, как столько раз делали прежде, и через некоторое время они стали понимать, из-за чего разгорелся весь сыр-бор и почему мы не собираемся отказываться от права привезти в Палестину уцелевших после Катастрофы.

Затем, как раз перед тем, как комиссия должна была покинуть Палестину, британцы — по причинам, непонятным для меня, да и для всех — решили продемонстрировать, как жестоко и беспощадно они относятся к нам и к проблеме еврейской иммиграции. На глазах у потрясенных членов комиссии они насильно отправили назад в Германию 4500 беженцев, прибывших в Палестину на корабле Хаганы "Эксодус-1947", и, думаю, этим в значительной мере повлияли на рекомендации, которые дала комиссия. Сколько жить буду — не забуду кошмарную картину: сотни британских солдат в полной боевой форме с дубинками, пистолетами и гранатами наступают на несчастных беженцев "Эксодуса", из которых 400 — беременные женщины, решившие дать жизнь своим детям в Палестине. И не забуду отвращения, которое я почувствовала, узнав, что этих людей перевезут, как животных в клетках, в лагеря перемещенных лиц, находящиеся в стране, ставшей символом кладбища для европейского еврейства.

За несколько дней до того, как пассажиры "Эксодуса" были отправлены в свое печальное обратное путешествие, я, выступая на митинге Национального комитета, попыталась выразить возмущение и горечь ишува — и проблеск надежды, что кто-нибудь, где-нибудь, как-нибудь вмешается, чтобы спасти беженцев от новых страданий:

"Британцы надеются, что депортация "Эксодуса" поможет им запугать евреев, содержащихся в лагерях, и терроризировать нас. Мы можем дать на это только один ответ: корабли будут прибывать сюда по-прежнему. Я знаю, какие трудности предстоят евреям, желающим въехать в Палестину, и тем, кто им помогает: вся мощь Британской империи сейчас сконцентрирована против этих утлых суденышек, нагруженных человеческим страданием. И все-таки я уверена, что ответ может быть только один — непрерывное прибытие новых и новых "нелегальных" кораблей. У меня нет сомнения, что евреи в лагерях готовы преодолеть все опасности — только бы покинуть эти лагеря. Уцелевшие в европейских странах евреи не могут оставаться там, где они находятся.

Если мы, евреи Палестины, а также американское, южноафриканское и английское еврейство не дадим себя запугать, прибытие кораблей не прекратится. Им придется положить на это еще больше тяжелого труда, чем раньше — но они будут прибывать. Ни на минуту я не закрываю глаза на то, что предстоит в ближайшем будущем тысячам таких кораблей. Знаю, что каждый из нас с радостью был бы на них и сделал все возможное. Всех нас тревожит судьба, которая постигнет евреев "Эксодуса" в Германии, притом, что никто не помещает британской армии проучить этих "нарушителей закона". Они-то будут упорствовать, как упорствовали до сих пор. Вопрос лишь в том, есть ли надежда, что в последнюю минуту британцы смягчатся.

Мы не умеем отчаиваться и потому обращаемся еще раз теперь и отсюда ко всему миру, к народам, которые так тяжело пострадали от войны, к тем, на чьих

фронтах евреи сражались и помогали освобождению. К этим народам мы обращаемся сейчас. Возможно ли, чтобы ни один голос не поднялся, чтобы сказать британскому правительству: перестаньте размахивать бичом и винтовкой над головами евреев "Эксодуса"? Британцам же мы должны сказать: считать нас слабыми — большое заблуждение. Пусть знает Британия с ее мощным флотом, с ее пулеметами и самолетами, что не так уж слаб этот народ и не намерен расслабляться".

Но судьба "Эксодуса" уже была решена, и корабль вернулся в Германию.

А лето 1947 года тянулось и тянулось. Несмотря на то, что дорога Тель-Авив—Иерусалим все больше попадала под контроль арабских вооруженных банд, с вершины холмов обстреливавших еврейские машины и грузовики, я не могла отказаться от челночных поездок между этими городами, совершаемых под защитой двух молодых членов Хаганы. Дело было не в том, что меня могли убить или ранить; на очереди стоял вопрос, удастся ли арабам, как они хотели, полностью перерезать дорогу и уморить иерусалимских евреев голодной смертью. И уж конечно не я стала бы им в этом помогать, избегая единственной дороги, соединявшей Иерусалим с еврейскими центрами страны. Раз два пули со свистом влетали в окно машины Еврейского Агентства, в которой я обычно ездила; один раз мы свернули не там и въехали в арабскую деревню, известную как разбойничье гнездо — но нам удалось уйти без единой царапины.

Бывали и другие "приключения". Однажды британские солдаты стали искать в моей машине оружие — как раз после того, как сам главный секретарь обещал мне, что эти обыски прекратятся, ввиду растущей опасности для еврейского транспорта на этой дороге. Мои протесты были бесполезны. У сопровождающей меня девушки (члена Хаганы) нашли пистолет — и ее тут же арестовали.

— Куда вы ее потащите? — спросила я офицера, возглавлявшего эту блистательную операцию.

— В Маэждал, — ответил он.

Маэждал (сейчас Ашкелон), арабский городок, явно не годился для ночлега молодой девушки, и я сказала командиру, что если ее туда повезут, то я буду настаивать, чтобы и меня повезли туда тоже. К этому времени он уже знал, кто я такая, и вряд ли ему улыбалось давать объяснения своим начальникам, почему член правления Еврейского Агентства отправился ночевать в Маэждал, поэтому он отказался от своего намерения, и все мы отправились в полицейский участок ближайшего еврейского города. Была уже полночь, но мне все-таки надо было добраться до Тель-Авива, что я и сделала под королевским эскортом британских полицейских и девушки из Хаганы, которую тут же освободили. Но не всем так везло. Количество жертв на дороге возрастало каждую неделю и в ноябре 1947 года арабы, на глазах у британцев, начали осаду Иерусалима.

31 августа, за минуту или две до того, как истекло их время, одиннадцать членов комиссии, собравшейся в Женеве, представили свой отчет о Палестине. Восемь членов комиссии рекомендовали — как и комиссия Пиля — чтобы страна была разделена на два государства — арабское и еврейское, с интернациональным анклавом, включающим Иерусалим и его окрестности. Меньшинство (в которое входили представители Индии, Ирана и Югославии — стран с большим мусульманским населением) предложили создание федерального арабо-еврейского государства. Генеральная Ассамблея ООН должна была теперь принимать решение. В это же время все заинтересованные стороны довели до ее сведения свой ответ — и нельзя сказать, чтобы ее ожидали какие-либо сюрпризы. Мы, разумеется, этот план приняли — без восторга, но с большим облегчением — и потребовали, чтобы мандату был немедленно положен конец. Все арабы ответили, что им дела нет до каких бы то ни было рекомендаций и пригрозили войной, если вся Палестина не будет объявлена арабским государством. Британцы заявили, что пока арабы и ев-

реи не примут план раздела с восторгом, они не будут сотрудничать при его осуществлении — а мы хорошо понимали, что это значит. Америка и Россия опубликовали — каждая со своей стороны — заявление, поддерживающее рекомендацию большинства.

На следующий день я дала пресс-конференцию в Иерусалиме. Поблагодарив комиссию за быстрое завершение работы, я подчеркнула, что "нам трудно представить себе еврейское государство без Иерусалима" и что "мы все еще надеемся, что Ассамблея ООН исправит этот недочет". Нас также очень огорчило, — сказала я, — исключение Западной Галилеи из еврейского государства, и мы рассчитываем, что и это будет принято Ассамблеей во внимание. Но главное, что я особенно выделила, было наше страстное желание установить иные, новые отношения с арабами, которых, как я думала, в еврейском государстве будет около 500 000. "Еврейское государство в этой части мира, — сказала я представителям прессы, — это не только решение вопроса для нас. Оно может и должно помочь каждому жителю Ближнего Востока". Сердце разрывается, как подумаешь, что мы без конца повторяем эти слова с самого 1947 года.

Голосование произошло 29 ноября в Нью-Йорке, в Лейк-Саксес*. Как и весь ишув, я сидела, словно прикованная, у радиоприемника с бумагой и карандашом и записывала, как кто голосует. Наконец, около полуночи по нашему времени, были объявлены результаты: тридцать три нации, включая Соединенные Штаты и Советский Союз, голосовали за план раздела; тринадцать, в том числе все арабские страны, голосовали против; десять, в том числе Великобритания, воздержались. Я немедленно отправилась в Еврейское Агентство. У здания уже толпился народ. Это было невероятное зрелище: сотни людей, среди них и британские солдаты, пели и танцевали, держась за руки, и к зданию, один за другим, подъезжали грузовики с новыми тол-

* Там помещалось временное здание ООН. (Прим. перев.)

пами. Я прошла в свой кабинет одна, не в силах принять участие в общем ликовании. Арабы отвергли план раздела и говорили только о войне. Пьяная от радости толпа требовала речей; я поняла, что нехорошо портить им настроение отказом. Выйдя на балкон своего кабинета, я сказала короткую речь. Но обращена была моя речь, в сущности, не к массам народа под балконом, но опять-таки к арабам.

”Вы провели битву против нас в Объединенных нациях, — сказала я. — Объединенные нации — большинство стран мира — выразили свое решение. План раздела — компромисс: не то, чего хотели вы, не то, чего хотели мы. Но давайте теперь жить в мире и дружбе”. Нельзя сказать, чтобы моя речь разрешила создавшееся положение. На следующий день по всей Палестине вспыхнули арабские волнения (семь евреев было убито из засады), а 2 декабря толпа арабов подожгла еврейский коммерческий центр в Иерусалиме, на глазах у британской полиции, которая вмешивалась только тогда, когда попытки активности проявляла Хагана.

Конечно же, мы были совершенно не готовы к войне. То, что нам так долго удавалось более или менее удерживать в известных границах местных арабов, во все не означало, что нам удастся справиться с регулярными армиями. Нам срочно нужно было оружие — если мы сумеем найти кого-нибудь, кто захочет нам его продать; но прежде этого, нам нужны были деньги — и не те малые деньги, на которые мы озеленили страну или перевезли в нее беженцев, а миллионы долларов. Во всем мире была только одна группа людей, от которой, может быть, можно было эти доллары получить: американские евреи. Больше некуда и не к кому было обращаться.

Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы Бен-Гурион в это время покинул Палестину. Он играл тут самую главную роль. Думаю, он и сам чувствовал, что никто другой не сможет собрать сумм, о которых говорилось на наших закрытых заседаниях в Тель-Авиве в декабре 1947 и в начале января 1948 года, и я, конеч-

но, была с ним согласна. Но он должен был оставаться в стране. Кто же поедет? На одном из этих заседаний я окинула взглядом своих усталых и измученных коллег, сидевших за столом, и впервые подумала: не предложить ли мне свою кандидатуру? В конце концов мне уже приходилось собирать деньги в Соединенных Штатах, и по-английски я говорила свободно. Моя работа в Палестине могла подождать недельку-другую. Хотя я и не привыкла предлагать себя, я почувствовала, что надо подсказать Бен-Гуриону. Сначала он и слышать об этом не хотел. Он сказал, что поедет сам и возьмет с собой Элизера Каплана, казначея Еврейского Агентства.

— Но тут тебя никто не может заменить, — возразила я, — а в Соединенных Штатах я, может быть, и сумею.

Он был непоколебим.

— Нет, ты мне нужна здесь.

— Тогда поставим вопрос на голосование, — сказала я. Он посмотрел на меня, потом кивнул. Мое предложение прошло.

— Но ехать немедленно, — сказал Бен-Гурион. — Даже в Иерусалим не возвращайся.

В тот же день я улетела в Соединенные Штаты — без багажа, в том же платье, в каком я была на заседании — только надела сверху зимнее пальто.

Первое мое появление в 1948 году перед американским еврейством было не запланировано, не отрепетировано и, разумеется, не объявлено. Таким образом, люди, перед которыми я выступала, совершенно меня не знали. Это произошло 21 января в Чикаго, на общем собрании совета еврейских федераций и благотворительных фондов. Это не были сионистские организации. Палестина у них не стояла на повестке дня. Но это было совместное заседание профессиональных сборщиков денег, людей с огромным опытом, контролировавших еврейскую машину денежных сборов в Соединенных Штатах, и я понимала, что если мне удастся их пронять, то, возможно, и удастся собрать нужные суммы

— ключ к нашей самообороне. Я говорила недолго, но высказала все, что у меня было на сердце. Я описала положение, создавшееся в Палестине к дню моего отъезда, и продолжала:

”Еврейское население в Палестине будет сражаться до самого конца. Если у нас будет оружие — мы будем сражаться этим оружием. Если его у нас не будет, мы будем драться камнями.

Я хочу, чтобы вы поверили, что цель моей миссии — не спасение семисот тысяч евреев. За последние несколько лет еврейский народ потерял шесть миллионов евреев, и было бы просто дерзостью беспокоить евреев всего мира из-за того, что еще несколько сот тысяч евреев находятся в опасности.

Речь не об этом. Речь идет о том, что если эти семьсот тысяч останутся в живых, то жив будет еврейский народ как таковой и будет обеспечена его независимость. Если же эти семьсот тысяч теперь будут перебиты, то нам придется на много веков забыть мечту о еврейском народе и его государстве.

Друзья мои, мы воюем. Нет в Палестине еврея, который не верил бы, что в конце концов мы победим. Таков в стране моральный дух... Но этот дух не может противостоять в одиночку винтовкам и пулеметам. Без него винтовки и пулеметы немногого стоят, но без оружия дух может быть сломлен вместе с телом.

Наша проблема — время... Что мы можем получить немедленно? И когда я говорю ”немедленно”, я имею в виду не через месяц. И не через два. Я имею в виду — сейчас, сегодня.

Я приехала довести до сознания американских евреев один факт: в кратчайший срок, не более, чем за две недели, нам нужно собрать чистоганом сумму от двадцати пяти до тридцати миллионов долларов. Через две-три недели после этого мы уже сумеем укрепиться. В этом мы уверены.

Египетское правительство может провести такой бюджет, который поможет нашим противникам. То же самое может сделать и правительство Сирии. У нас нет

правительств. Но в диаспоре у нас миллионы евреев, и я верю в евреев США не меньше, чем в нашу палестинскую молодежь; верю, что они поймут, в какой опасности мы находимся, и сделают то, что должно.

Знаю, что сделать это будет нелегко. Мне приходилось участвовать во всяких кампаниях по сбору средств, и я знаю, как непросто сразу собрать ту сумму, которую мы просим. Но я видела наших людей там, дома. Видела, как, когда мы призывали общину отдавать свою кровь для раненых, они пришли прямо со службы в больницы и стояли в длинных очередях, чтобы отдать свою кровь. В Палестине отдают и кровь, и деньги.

Мы не лучшей породы; мы не лучшие евреи из еврейского народа. Случилось так, что мы — там, а вы — здесь. Уверена, что если бы вы были в Палестине, а мы в Соединенных Штатах, вы делали бы там то же самое, что делаем мы, и просили бы нас здесь сделать то, что придется сделать вам.

В заключение я хочу перефразировать одну из самых замечательных речей времен Второй мировой войны — речь Черчилля. Я не преувеличиваю, говоря, что палестинский ишув будет сражаться в Негеве, в Галилее, на подступах к Иерусалиму до самого конца.

Вы не можете решить, следует нам сражаться или нет. Решать будем мы. Еврейское население Палестины не выкинет белый флаг перед муфтием. Это решение уже принято. Никто не может его изменить. Вы можете решить только одно: кто победит в этой борьбе — мы или муфтий. Этот вопрос могут решить американские евреи. Но сделать это надо быстро — за дни, за часы.

И прошу вас — не запаздывайте. Чтобы не пришлось вам через три месяца горько сожалеть о том, чего вы не сделали сегодня. Время уже настало”.

Они слушали, они плакали, они собрали столько денег, сколько еще никогда не собирала ни одна община. Я провела в Штатах шесть недель — больше я не могла находиться вне дома — и повсюду евреи слушали, плакали и давали деньги, иногда даже деля для этого бан-

ковские займы. В марте я вернулась в Палестину, собрав 50000000 долларов, немедленно ассигнованные на тайные закупки в Европе оружия для Хаганы. И даже когда Бен-Гурион сказал мне: "Когда-нибудь, когда будет написана история, там будет рассказано о еврейской женщине, доставшей деньги, необходимые для создания государства", — я никогда не обманивалась. Я всегда знала, что эти доллары были отданы не мне, а Израилю.

В тот год эта поездка в Штаты была моей единственной поездкой. За полгода, предшествовавшие созданию государства, я дважды встречалась с трансйорданским королем Абдаллой — дедом нынешнего короля Хуссейна. И хотя содержание наших переговоров много лет хранилось в тайне — даже долгое время после 1951 года, когда Абдалла был убит своими арабскими врагами (думаю, людьми муфтия) — никто до сих пор не знает, какие слухи об этих переговорах вызвали его убийство. Убийство — эндемическая болезнь в арабском мире, и первое, что узнает каждый арабский правитель, это прямая связь между соблюдением секретности и продолжительностью жизни. Убийство Абдаллы произвело незабываемое впечатление на всех арабских лидеров, пришедших затем к власти; однажды Насер сказал посреднику, которого мы направили в Каир: "Если бы Бен-Гурион приехал в Египет переговорить со мной, его встретили бы дома, как героя-победителя. Но если бы я поехал к нему, то по возвращении меня бы застрелили". И я боюсь, что в этом смысле ничего не изменилось.

Впервые я встретилась с королем Абдаллой в начале ноября 1947 года. Он согласился встретиться со мной — как с главой политического отдела Еврейского Агентства — в Нахараиме (на реке Иордан), в доме, где помещалась электростанция, принадлежавшая палестинской компании. Я приехала туда с одним из наших экспертов по арабским делам — Элияху Сассоном. Мы выпили, как полагалось по этикету, по чашечке кофе и потом начали беседовать. Абдалла был невы-

сокий, очень стройный человек, обладавший большим обаянием. Вскоре главное стало ясным: он не присоединится к нападающим на нас арабам. Он сказал, что всегда останется нашим другом, и больше всего, как и мы, он хочет мира. В конце концов враг у нас был общий — иерусалимский муфтий, хадж Амин эль-Хуссейни. Мало того: он предложил, чтобы после голосования в Объединенных нациях мы встретились опять.

По дороге обратно в Тель-Авив Эзра Данин, не раз встречавшийся с Абдаллой прежде, объяснил мне его концепцию роли евреев на Ближнем Востоке: Бог рассеял евреев по Западному миру для того, чтобы они усвоили европейскую культуру и потом принесли ее с собой обратно на Ближний Восток, чтобы его опять оживить. Однако в его надежности Данин сомневался. "Абдалла — не то чтобы лгун, — сказал он, — но он бедуин, а у бедуинов свое представление о правде, куда менее абсолютное, чем наше". Но, по его мнению, Абдалла был совершенно искренен в своих выражениях дружбы, хотя он из-за этого и не будет чувствовать себя связанным по рукам и ногам.

И в январе, и в феврале мы продолжали поддерживать контакт с Абдаллой, обычно через общего друга, передававшего ему мои послания. Эти послания постепенно стали выражать все большее беспокойство. Атмосфера была насыщена предположениями; были сведения, что, несмотря на свои обещания, Абдалла собирается вступить в Арабскую лигу. "Так ли это?" — спрашивала я. Из Аммана очень скоро пришел отрицательный ответ. Король был изумлен и обижен моим вопросом. Он просил меня запомнить три вещи: во-первых, он — бедуин, и потому человек чести; во-вторых, — король, и потому дважды человек чести; в-третьих, он никогда не нарушит обещания, данного женщине. Поэтому моя тревога ничем не оправдана.

Но мы-то знали другое. Уже к первой неделе мая не оставалось сомнений, что, несмотря на все свои заверения, Абдалла связал свою судьбу с Арабской лигой. Мы обсудили, стоит ли попросить о новой встрече, пока

еще не поздно. Может, удастся его отговорить в последнюю минуту. А если нет, то, может, удастся у него выяснить, что именно он и его обученный англичанами и возглавляемый английскими офицерами Арабский легион собираются предпринять в войне против нас. Много лежало тогда на чаше весов: легион не только намного превосходил все остальные арабские армии, но тут примешивались и другие жизненно важные соображения. Если случится чудо и Трансиордания не вступит в войну, то и иракской армии будет куда труднее вступить в Палестину и напасть на нас. Бен-Гурион считал, что мы ничего не потеряем, если сделаем еще одну попытку — поэтому я попросила о новой встрече, договорившись с Эзрой Данином, что он будет меня сопровождать.

Но на этот раз Абдалла отказался приехать в Нахараим. Как передал нам его посланец, это будет слишком опасно. Если я хочу его увидеть — я должна приехать в Амман, приняв риск на себя: он не может поднять легион по случаю того, что ожидает еврейских гостей из Палестины, и никакой ответственности за то, что может произойти с нами по дороге, он тоже на себя не возьмет. Начать с того, что в Тель-Авив попасть тогда было почти так же трудно, как и в Амман. Я с самого утра и до семи вечера ожидала в Иерусалиме тель-авивского самолета, а когда он, наконец, приземлился, то было так ветрено, что ему трудно было взлететь. В нормальной обстановке я отложила бы полет на завтра, но уже почти не было "завтра". Было 10 мая, а 14 мая должно было быть провозглашено еврейское государство. Это был наш последний шанс переговорить с Абдаллой. Поэтому я настояла, чтобы мы полетели, хотя, казалось, что наш "пайпер каб" перевернется от простого ветра, не говоря уже о буре. Когда мы уже взлетели, на иерусалимский аэродром сообщили, что погода слишком опасна для полета — но мы уже были в воздухе.

На следующее утро я поехала в Хайфу, где должна была встретиться с Эзрой. Было решено, что он только

наденет на голову арабскую "куфию". Он свободно говорил по-арабски, знал арабские обычаи и его легко было принять за араба. Я же должна была надеть традиционное, темное и широкое арабское платье. По-арабски я не говорила вовсе, но было маловероятно, чтобы от мусульманки, сопровождающей своего мужа, потребовались какие-то разговоры. Арабское платье и покрывало для меня уже были заказаны, а Эзра объяснил мне дорогу. Мы будем часто менять машины, предупредил он, чтобы убедиться, что за нами не следят, а вечером, в назначенном месте, недалеко от королевского дворца, нас будет ожидать человек, который проводит нас к Абдалле. Главное было — не вызывать подозрений у арабских легионеров на проверочных пунктах по дороге к дворцу.

Это была длинная поездка, в темноте, с несколькими пересадками. Сначала мы ехали на одной машине, потом вышли, потом пересели в другую, проехали еще несколько километров, потом, в Нахараиме, пересели в третью. Друг с другом мы во время пути не разговаривали. Я полностью доверяла способностям Эзры провезти нас через неприятельские линии и слишком занята была вопросом об исходе нашей миссии, чтобы думать о том, что случится, если нас, сохрани Боже, схватят. К счастью, хоть нам и пришлось несколько раз предъявлять удостоверения, мы прибыли на место встречи вовремя и не разоблаченные. Человек, который отвез нас к Абдалле, был его самым доверенным сотрудником; это был бедуин, с детства живший в его семье и привыкший исполнять самые опасные поручения своего господина.

Он отвез нас к себе домой в своей машине, с затянутыми плотной черной материей окнами. В ожидании Абдаллы я разговорила с привлекательной и умной женой нашего проводника, происходившей из богатой турецкой семьи; она горько жаловалась на монотонность своего существования в Трансиордании. Я подумала, что некоторая монотонность мне лично сейчас

бы не помешала, но продолжала сочувственно кивать головой.

В комнату вошел Абдалла. Он был очень бледен; казалось, его что-то мучило. Эзра переводил; мы беседовали около часу. Я сразу же взяла быка за рога, спросив: "Итак, нарушили вы данное мне обещание, после всего?"

Он не ответил на вопрос прямо. Он сказал: "Когда я давал обещание, я думал, что судьба моя в моих руках и я могу делать все, что считаю правильным, но с тех пор я узнал кое-что другое". Он объяснил, что прежде был один, а теперь "я — один из пяти". Мы поняли, что четверо остальных — это Египет, Сирия, Ливан и Ирак. И все-таки он считал, что войны можно избежать.

— Почему вы так торопитесь провозгласить создание своего государства? — спросил он. — К чему такая спешка? До чего же вы нетерпеливы!

Я сказала, что о народе, ожидавшем этого две тысячи лет, нельзя говорить, что он слишком тороплив. Он, по-видимому, принял это возражение.

— Неужели вы не понимаете, — сказала я, — что мы — ваши единственные союзники во всем районе? Все остальные — ваши враги.

— Да, — сказал он, — я это знаю. Но что я могу сделать? Это зависит не от меня.

И тогда я сказала: "Вы должны знать, что если нам навяжут войну, мы будем сражаться и мы победим".

Он вздохнул и повторил: "Да. Я это знаю. Ваш долг сражаться. Но почему бы вам не подождать несколько лет? Бросьте ваше требование свободной иммиграции. Я стану во главе всей страны, и вы будете представлены в моем парламенте. Я буду очень хорошо с вами обращаться, и войны не будет".

Я попыталась объяснить, почему этот план невозможен.

— Вы знаете все, что мы сделали, вы знаете, как тяжело мы работали, — сказала я. — И вы думаете, что мы сделали все это ради того, чтобы быть представленными в чужом парламенте? Вы знаете, чего мы хотим,

к чему стремимся. Если вы больше ничего не можете нам предложить, значит, будет война и мы победим. Но быть может, мы встретимся снова — после войны, когда будет существовать еврейское государство.

— Вы слишком уж полагаетесь на свои танки, — сказал Эзра. — У вас нет настоящих друзей в арабском мире, и мы разгромим ваши танки, как была разгромлена линия Мажино.

Это была очень смелая речь, особенно если учесть, что Данину было точно известно наше положение с оружием. Но Абдалла стал еще серьезнее и снова повторил, что мы должны исполнить свой долг. И еще он добавил — с грустью, как мне показалось, — что события должны идти своим чередом. В свое время мы все узнаем, что нам уготовила судьба.

Очевидно, говорить больше было не о чем. Я хотела сразу же уехать, но Данин и Абдалла затеяли новую беседу.

— Надеюсь, мы останемся в контакте и после того, как начнется война, — сказал Данин.

— Конечно, — ответил Абдалла. — Вы будете приезжать ко мне.

— Но как я смогу до вас добраться? — спросил Данин.

— О, я не сомневаюсь, что уж вы-то найдете дорогу, — с улыбкой сказал Абдалла.

Потом Данин попенял ему, что он недостаточно осторожен. "Вы молитесь в мечети, — сказал он, — и позволяете своим подданным целовать край вашей одежды. Какой-нибудь злодей, чего доброго, может учинить что-нибудь дурное. Пора вам отменить этот обычай, ради своей безопасности".

Абдалла был, видимо, шокирован этими словами. "Никогда я не стану пленником своей охраны, — сурово сказал он Данину. — Я родился бедуином, свободным человеком, и останусь свободным. Пусть те, кто хотят убить меня, попробуют это сделать. Я на себя цепей не надену". После этого он попрощался с нами и ушел.

Жена хозяина пригласила нас к столу. В конце комнаты стоял огромный стол, уставленный яствами. Я совершенно не чувствовала голода, но Данин сказал, что я должна наполнить свою тарелку, буду я есть или нет, а то получится, что я отказываюсь от арабского гостеприимства. Я наполнила свою тарелку до краев, но только поковыряла еду. У меня не осталось сомнений, что Абдалла поведет против нас войну. И, несмотря на всю браваду Данина, я хорошо знала, что танки Арабского легиона не игрушка, и сердце мое падало при мысли о том, какие известия я привезу в Тель-Авив. Время близилось к полуночи. Нам предстоял длинный и опасный путь — на этот раз без всяких обманчивых надежд.

Через несколько минут мы простились и уехали. Была очень темная ночь, и арабский шофер, который вез нас в Нахараим (откуда мы должны были отправиться в Хайфу), приходил в ужас всякий раз, когда машину останавливали на контрольном пункте легионеров. В конце концов на некотором расстоянии от электростанции он велел нам выходить. Было около трех часов ночи, и мы должны были сами найти дорогу. Мы не были вооружены, и должна признаться, что я была и подавлена, и испугана. Из окон машины мы видели иракские части, скопившиеся у лагеря Мафрак; шепотом мы рассуждали о том, что может случиться 14 мая. Помню, как застучало мое сердце, когда Данин сказал: "Если нам повезет и мы победим, мы потеряем только десять тысяч человек. Если же нам не повезет, наши потери могут дойти до пятидесяти тысяч". Я была подавлена. Тогда мы решили переменить тему разговора, и все остальное время пути мы беседовали только о мусульманских обычаях и об арабской кухне. Когда же мы остались одни в крошечной тьме, мы уже не разговаривали ни о чем. Мы боялись даже вздохнуть. Арабская одежда мешала мне двигаться, притом я вовсе не была уверена, что мы идем в нужном направлении, да еще не могла избавиться

ся от подавленности и ощущения полного провала моих переговоров с Абдаллой.

Вероятно, мы с Данином шли уже полчаса, когда нас заметил молодой солдат Хаганы, целую ночь с тревогой ожидавший нас. Я не могла разглядеть его лица, но никогда я так крепко и с таким облегчением не сжимала чужую руку. Без всякого затруднения он провел нас в Нахараим через холмы и вадии. Второй раз я увидела его несколько лет назад: пожилой человек подошел ко мне в фойе иерусалимского отеля и сказал: "Миссис Меир, вы меня не узнаете?" Я стала вспоминать, но так и не вспомнила. Тут он ласково улыбнулся и сказал: "Это я привел вас в ту ночь в Нахараим".

Но Абдаллу я больше никогда не видела, хотя после Войны за Независимость с ним велись долгие переговоры. Потом мне передавали, что он сказал обо мне: "Если кто-нибудь лично ответственен за войну, то это она, ибо она была слишком горда, чтобы принять мое предложение". Признаться, когда я думаю о том, что случилось бы с нами, если бы мы были меньшинством в государстве и под протекцией арабского короля, убитого арабами через каких-нибудь два года, я не жалею о том, что в ту ночь так разочаровала Абдаллу. Жаль, что ему не хватило храбрости на то, чтобы не вступать в войну. Насколько лучше было бы для него — да и для нас — если бы он был чуть более горд.

Прямо из Нахараима меня повезли в Тель-Авив. На следующее утро в помещении Мапай было назначено заседание — разумеется, в эти дни заседания шли непрерывно, одно за другим, — на котором, как я знала, будет присутствовать Бен-Гурион. Когда я вошла, он поднял голову и спросил: "Ну?" Я села и написала ему записку: "Не удалось. Будет война. Мы с Эзрой видели у Мафрака скопления войск и огни". Мне тяжело было смотреть на лицо Бен-Гуриона, читавшего мою записку, но, слава Богу, он не изменил ни своего, ни нашего решения.

Окончательное решение надо было принимать через два дня. Провозглашать еврейское государство или

нет? После моего доклада о переговорах с Абдаллой множество народу из так называемой "Минхелет ха-ам" (буквально — народная администрация), куда входили члены Еврейского Агентства, Национального совета (Ваад Леуми) и некоторых малых партий и групп, и которая позднее стала временным правительством Израиля, стали просить Бен-Гуриона в последний раз взвесить "за" и "против". Они хотели знать, в какой мере Хагана подготовлена к решающему часу. Бен-Гурион вызвал Игаэля Ядина — начальника оперативного отдела Хаганы и Исраэля Галили, фактического главнокомандующего. Они ответили одинаково, одинаково жестко. Только в двух вещах можно быть уверенными, сказали они: британцы уйдут и арабы вторгнутся. И тогда? Оба замолчали. Через минуту Ядин сказал: "В лучшем случае, шансы наши — пятьдесят на пятьдесят. Пятьдесят, что победим, пятьдесят — что потерпим поражение".

На этой оптимистической ноте и было принято окончательное решение. 14 мая 1948 года (пятого ияра 5708 года по еврейскому календарю) будет провозглашено еврейское государство с населением в 650 000 человек; шанс этого государства пережить день своего рождения зависел от способности этих 650 000 отразить нападение пяти регулярных арабских армий, активно поддерживаемых миллионом палестинских арабов.

По первоначальному плану я должна была в четверг вернуться в Иерусалим и там остаться. Нечего и говорить, что мне очень хотелось остаться в Тель-Авиве, хотя бы на церемонию провозглашения государства, время и место которой держалось в тайне от всех, кроме 200 приглашенных, и должно было быть объявлено лишь за час. Всю среду я, несмотря ни на что, надеялась, что Бен-Гурион уступит, но он был непоколебим. "Ты должна ехать в Иерусалим", — сказал он. И в четверг 13 мая я опять сидела в "пайпер кабе". Пилоту был дан приказ отвезти меня в Иерусалим и немедленно возвратиться с Ицхаком Гринбаумом, которому предстояло стать министром внутренних дел времен-

ного правительства. Но как только мы, перевалив за Прибрежную равнину, оказались над Иудейскими холмами, мотор забарахлил. Я сидела рядом с пилотом (крошечные "примусы", как мы их ласково называли, имели только два сиденья) и видела, что даже он очень беспокоится. По звуку казалось, что мотор вот-вот вообще оторвется, почему меня и не удивило, когда пилот сказал: "Прости, пожалуйста, но я, кажется, не смогу перелететь холмы. Надо возвращаться". Он развернул самолет; мотор продолжал угрожающе гудеть, я заметила, что пилот оглядывает окрестности под нами. Я не сказала ни слова, машина чуть-чуть поднялась, пилот спросил: "Ты понимаешь, что происходит?"

"Понимаю", — ответила я.

"Я искал арабскую деревню, где мы могли бы приземлиться". (Помните, что это происходило 13 мая.) "Но, пожалуй, — сказал он, — я смогу приземлиться в Бен-Шемене". Звук мотора улучшился. "Нет, — сказал пилот, — пожалуй, мы сможем вернуться в Тель-Авив".

Таким образом мне удалось присутствовать на церемонии, а бедному Ицхаку Гринбауму пришлось остаться в Иерусалиме, и он сумел подписать Декларацию Независимости только после первого прекращения огня.

Утром 14 мая я участвовала в собрании Ваад Леуми, где решалось, какое имя мы дадим нашему государству, и окончательно формулировалась Декларация. Вопрос об имени оказался менее дискуссионным, чем формулировка Декларации, ибо в последнюю минуту возник спор: упоминать ли в ней Бога. Собственно говоря, выход был найден накануне. Небольшой комитет, которому было поручено составить последнюю версию Декларации, получил текст, в котором самая последняя фраза начиналась словами: "Уповая на Твердыню Израиля, мы скрепляем нашими подписями..." Бен-Гурион надеялся, что слова "Твердыня Израиля" своей недвусмысленностью, могут удовлетворить и евреев, не допускавших мысли, чтобы документ о создании еврейского государства мог обойтись

без упоминания о Боге, и евреев, которые наверняка будут упорно протестовать против малейшего намека на клерикализм.

Но принять этот компромисс оказалось не так-то легко. Представитель религиозных партий, рабби Фишман-Маймон, потребовал, чтобы ссылка на Бога была сделана безо всяких экивоков, и сказал, что одобрит выражение "Твердыня Израиля" только если будет прибавлено "и его Искупитель"; представитель левого крыла Рабочей партии Ахарон Цизлинг столь же решительно выступил с противоположных позиций. "Я не могу подписать документ, в какой бы то ни было форме упоминающий Бога, в которого я не верю", — сказал он. Бен-Гуриону понадобилось чуть ли не все утро, чтобы убедить обоих, что слова "Твердыня Израиля" имеют двойное значение. Для многих, может быть, для большинства евреев они означают "Бог", но могут рассматриваться и как символ, означающий "силу еврейского народа". В конце концов Маймон согласился, чтобы слово "Искупитель" не было включено в текст. Забавно то, что в первом английском переводе, опубликованном в этот день для заграницы, не было вообще никакого упоминания о "Твердыне Израиля"; военный цензор вычеркнул весь последний параграф из соображений безопасности, ибо в нем было указано время и место церемонии.

Может показаться странным, что за несколько часов до провозглашения государства, да еще под угрозой иностранного вторжения, будущий премьер-министр тратит время на такие споры, но надо иметь в виду, что эти споры отнюдь не были чисто терминологическими. Мы глубоко сознавали, что Декларация не только объявляет о конце двухтысячелетней еврейской бездомности, но и выражает основные принципы Государства Израиль. И потому каждое слово имеет огромное значение. Кстати, мой добрый друг Зеев Шареф, первый секретарь будущего правительства, заложивший основы государственности, нашел время проследить за тем, чтобы грамота, которую нам предстоя-

ло днем подписать, была сразу после церемонии отправлена в подвал Англо-Палестинского банка, и таким образом сохранена для потомства, на случай, если государство и все мы проживем не очень долго.

Около двух часов дня я вернулась к себе в гостиницу на набережной, вымыла голову и надела свое лучшее черное платье. Потом я посидела несколько минут — для того, чтобы перевести дух и впервые за несколько дней подумать о детях. Менахем в то время учился в Штатах, в Манхаттенском музыкальном училище. Я понимала, что теперь, когда война неизбежна, он вернется, и думала, когда и где мы опять увидимся. Сарра была в киббуце Ревивим — относительно не очень далеко; но мы были совершенно отрезаны друг от друга. Несколько месяцев назад банды палестинских арабов вместе с вооруженными египтянами, перешедшими границу, блокировали дорогу, соединявшую Негев со всей страной, и систематически взрывали или перерезали водопровод, снабжавший двадцать семь еврейских поселений, там находившихся. Хагана делала что могла, чтобы прорвать осаду. Она открыла грунтовую тропу, параллельную главной дороге, по которой прорывались конвои, доставлявшие пищу и воду тысяче южных поселенцев. Но кто знает, что будет с Ревивимом, да и с любым маленьким, плохо вооруженным и плохо оснащенным негевским поселением, когда начнется широкое египетское вторжение в Израиль, что почти наверняка произойдет через несколько часов? И Сарра и ее Зехария были в Ревивиме радистами, и до сих пор мне удавалось поддерживать связь с ними. Но уже несколько дней я ничего о них не слышала и очень беспокоилась. Именно от таких молодых людей, как они, от их духа и отваги зависело будущее Негева и, следовательно, Израиля, и я содрогалась при мысли о том, что им придется противостоять вторгнувшимся частям регулярной египетской армии.

Я так углубилась в свои мысли о детях, что телефонный звонок заставил меня вздрогнуть: оказалось, меня ждет машина, чтобы отвезти в музей. Решено бы-

ло провести церемонию провозглашения государства в тель-авивском музее на бульваре Ротшильда, не потому, что это было особенно импозантное здание — таким оно не было! — а потому, что оно было маленькое и поэтому его легко было охранять. Когда-то этот дом, один из первых домов Тель-Авива, принадлежал его первому мэру, Дизенгофу, и он завещал его гражданам города с тем, чтобы они устроили там художественный музей. Огромная сумма — двести долларов! — была отпущена на его украшение к этому дню; полы были выскоблены, картины на стенах, изображавшие наготу, целомудренно задрапированы, окна затемнены на случай воздушной тревоги, а над столом, за которым должно было разместиться тридцать человек — члены временного правительства — висел большой портрет Теодора Гершля. Однако, хотя предполагалось, что только 200 человек приглашенных знают, когда и где будет происходить церемония, у музея, когда я подъехала, уже собралась большая толпа.

Через несколько минут, ровно в четыре часа, началось торжественное заседание. Бен-Гурион, в темном костюме и при галстукке, встал и постучал председательским молотком. По плану этим подавался знак оркестру, упрятанному на галерею второго этажа, сыграть "Ха-Тиква". Что-то не сработало, и музыка так и не раздалась. Но мы все поднялись со своих мест и спели наш национальный гимн. Тогда Бен-Гурион откашлялся и негромко сказал: "Сейчас я прочту Декларацию Независимости". Чтение заняло всего четверть часа. Он читал медленно, очень внятно, и помню, как изменился и слегка усилился его голос, когда он дошел до одиннадцатого параграфа:

"На этом основании мы, члены Народного Совета, представители еврейского населения Эрец-Исраэль и сионистского движения, собрались в день истечения британского мандата на Эрец-Исраэль и в силу нашего естественного и исторического права и на основании решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций настоящим провозглашаем создание

еврейского государства в Эрец-Исраэль — Государства Израиль”.

Государство Израиль! Глаза мои наполнились слезами, руки дрожали. Мы добились. Мы сделали еврейское государство реальностью, — и я, Голда Мабович-Меерсон дожила до этого дня. Что бы ни случилось, какую бы цену ни пришлось за это платить, мы воссоздали Еврейскую родину. Долгое изгнание кончилось. Отныне мы будем жить в стране своих отцов не потому, что нас соглашаются терпеть; теперь мы — такая же нация, как другие, и, впервые за двадцать веков, мы — хозяйева своей судьбы. Мечта осуществилась — слишком поздно для спасения погибших при Катастрофе, но не слишком поздно для грядущих поколений. Пятьдесят лет назад, после Первого сионистского конгресса в Базеле, Теодор Герцль записал в дневнике: ”В Базеле я основал еврейское государство. Если бы я сказал это сегодня — это было бы встречено общим смехом. Может быть, через пять лет — и без всякого сомнения, через пятьдесят — это увидят все”. Так оно и произошло.

Пока Бен-Гурион читал, я опять думала о своих детях, и о детях, которые у них родятся — как непохожа их жизнь будет на мою, и как теперь изменится моя собственная жизнь; я думала о своих коллегах в осажденном Иерусалиме, которые сейчас, собравшись в помещении Еврейского Агентства, слушают торжественное заседание по радио, а я, по чистой случайности, нахожусь в музее. И я почувствовала, что большей привилегии, чем у меня в этот день, не было ни у одного еврея на земле.

Вдруг, словно по сигналу, мы все поднялись со своих мест, плача и аплодируя: Бен-Гурион сорвавшимся (впервые за все время) голосом прочитал: ”Государство Израиль будет открыто для репатриации и объединения в нем всех рассеянных по свету евреев”. В этих словах билось самое сердце Декларации, в них была выражена и причина, и смысл создания государства. Я плакала в голос, услышав, как эти слова прозвучали

в жарком, переполненном зале. Но Бен-Гурион опять постучал молотком, призывая к порядку, и продолжал:

”Призываем сынов арабского народа, проживающих в Государстве Израиль — даже в эти дни кровавой агрессии, развязанной против нас много месяцев тому назад — блюсти мир и участвовать в строительстве Государства на основе полного гражданского равноправия и соответствующего представительства во всех его учреждениях, временных и постоянных”.

И далее:

”Протягиваем руку мира и предлагаем добрососедские отношения всем соседним государствам и их народам и призываем их к сотрудничеству с еврейским народом, обретшим независимость в своей стране. Государство Израиль готово внести свою лепту в общее дело развития всего Ближнего Востока”.

Когда он прочел все 979 ивритских слов, из которых состояла Декларация, он попросил всех встать и ”принять акт, устанавливающий создание еврейского государства”, так что все мы поднялись еще раз. И тогда произошло нечто очень трогательное и непредвиденное. Рабби Фишман-Маймон встав, дрожащим голосом произнес традиционную еврейскую молитву-благодарение: ”Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь вселенной, сохранивший нас в живых и давший нам все претерпеть и дожить до этого дня. Аминь”. Часто мне приходилось слышать эту молитву, но никогда она не звучала для меня так, как звучала в тот день.

Но перед тем, как все мы, в алфавитном порядке, стали подходить и подписывать Декларацию, надо было покончить еще с одним делом, требовавшим нашего внимания: Бен-Гурион прочел первые декреты нового государства. ”Белая книга” объявлялась недействительной и отменялась, остальные же распоряжения и правила мандатного правительства, во избежание законодательного вакуума, подтверждались и объявлялись временно действующими. После этого началась

церемония подписания Декларации. Когда пришла моя очередь, я заметила Аду Голомб, стоявшую неподалеку. Мне хотелось подойти к ней, обнять, сказать, что я знаю, что вместо меня здесь должны были бы быть Элияху и Дов, но я не могла задерживать движение очереди и потому прямо подошла к столу, за которым сидели Бен-Гурион и Шарет; между ними лежала Декларация. Я плакала открыто, даже не утирая слез. Шарет подвинул ко мне Декларацию, а Давид Пинкас, член религиозной партии Мизрахи, стал меня успокаивать. "Почему ты так плачешь, Голда?" — спросил он.

"Потому что сердце мое разрывается при мысли о тех, кто должен был бы тут быть и кого здесь нет", — ответила я, не переставая плакать.

14 мая Декларацию Независимости подписали только двадцать пять членов Народного Совета. Одиннадцать были в Иерусалиме и один — в Штатах. Последним в тот день подписался Моше Шарет. В сравнении со мной он казался совершенно спокойным и ровным, словно исполнял свои обычные обязанности. Потом, когда мы говорили об этом дне, он сказал, что ему почудилось: он стоит на скале, а вокруг бушует буря, и удержаться не за что — только и было у него, что твердое решение не быть сброшенным в бушующее море. Но ничего этого нельзя было угадать по его лицу.

Палестинский филармонический оркестр сыграл "Ха-Тиква". Бен-Гурион в третий раз постучал своим молотком. "Государство Израиль создано. Заседание окончено". Мы пожимали друг другу руки, обнимались. Церемония окончилась. Израиль стал реальностью.

Как и следовало ожидать, вечер не принес нам успокоения. Я сидела у себя в гостинице и беседовала с друзьями. Открыли бутылку вина и выпили за наше государство. Некоторые из гостей и молодые солдаты Хаганы, охранявшие их, стали петь и плясать, с улицы тоже доносились песни и взрывы смеха. Но мы знали, что ровно в полночь мандат окончится, британский верховный комиссар отплывет на корабле, послед-

ние британские солдаты тоже покинут Палестину, и мы не сомневались, что арабские армии перейдут границы государства, которое мы только что основали. Да, мы теперь независимы, но через несколько часов у нас начнется война. Я не только не была весела — я испытывала страх, и не без оснований. Но одно дело испытывать страх, а другое — не иметь веры, а я была уверена, что хотя еврейское население нового государства и составляет всего 650 тысяч, мы уже росли в него, и никто никогда не сможет опять нас рассеять или переместить.

Но, кажется, я только на следующий день осознала, чем было чревато торжественное заседание в тель-авивском музее. Три как бы не зависевших друг от друга, но в действительности тесно связанных события с предельной ясностью дали мне понять, что все бесповоротно изменилось и для меня, и для еврейского народа, и для Ближнего Востока. Начать с того, что в субботу перед рассветом я увидела в окно фактическое начало Войны за Независимость: четыре египетских "Спитфайра" прожужжали над городом, направляясь бомбить тель-авивскую электростанцию и аэропорт — это был самый первый воздушный налет. Затем, несколько позже, я увидела, как в тель-авивский порт свободно и гордо вошел корабль с еврейскими репатриантами — уже не "нелегальными". Больше никто не охотился за ними, не гнал их, не наказывал за то, что они приехали домой. Постыдная эра "сертификатов" и счета человеческого поголовья окончилась, и когда я, не прячась от солнца, смотрела на этот корабль (старое греческое судно "СС Тети"), я почувствовала, что никакая цена за это не может быть слишком высока. Первый легальный иммигрант, высадившийся на землю государства Израиль, был усталый, бедно одетый старый человек по имени Сэмюэль Бранд, узник Бухенвальда. В руке он держал скомканный клочок бумаги, на котором стояло: "Дано право поселиться в Израиле". Но бумага была подписана "Отделом иммиграции" государства Израиль — и это была первая выданная нами виза.

И третье событие — прекрасная минута нашего формального вступления в семью наций. 14 мая, через несколько минут после полуночи, мой телефон зазвонил. Он звонил весь вечер; подбегая, я готова была к дурным известиям. Ликующий голос прокричал: "Голда? Ты слушаешь? Трумэн признал нас!" Не помню, что я ответила, что я сделала, но хорошо помню свои чувства. То, что случилось в минуту нашей наибольшей уязвимости, накануне вторжения, показалось мне чудом; я почувствовала облегчение, сердце мое переполнилось радостью. Весь Израиль испытывал эти же чувства, но мне кажется, что для меня то, что сделал президент Трумэн, значило больше, чем для моих коллег, потому что я была "американка" среди них, я больше всех знала о Соединенных Штатах, об их истории, их людях — ведь только я выросла в этой великой демократической стране. И хотя быстрота признания изумила меня не меньше, чем всех прочих, великодушные и добрые побуждения, стоявшие за этим действием, ничуть меня не изумили. Теперь я думаю, что, как и большинство чудес, это чудо было вызвано двумя очень простыми вещами: во-первых, Гарри Трумэн понимал и уважал наше стремление к независимости, потому что такой человек, как он, при других обстоятельствах сам мог бы стать одним из нас; во-вторых, Хаим Вейцман, которого он принимал в Вашингтоне, так объяснил ему ситуацию и так защищал перед ним наше дело, как никто еще в Белом доме этого не делал — и произвел на него большое впечатление. То, что совершил Вейцман — бесценно. Признание Америки стало для нас величайшим событием этой ночи.

Признание Советского Союза, последовавшее за американским, имело другие корни. Теперь я не сомневаюсь, что для Советов основным было изгнание Англии с Ближнего Востока. Но осенью 1947 года, когда происходили дебаты в Объединенных нациях, мне казалось, что советский блок поддерживает нас еще и потому, что русские сами оплатили свою победу страшной ценой и потому, глубоко сочувствуя евреям, так

тяжко пострадавшим от нацистов, понимают, что они заслужили свое государство. Как бы радикально ни изменилось советское отношение к нам за последующие двадцать пять лет, я не могу забыть картину, которая представлялась мне тогда. Кто знает, устояли бы мы, если бы не оружие и боеприпасы, которые мы смогли закупить в Чехословакии и транспортировать через Югославию и другие балканские страны в те черные дни начала войны, пока положение не переменялось в июне 1948 года? В первые шесть недель войны мы очень полагались на снаряды, пулеметы и пули, которые Хагане удалось закупить в Восточной Европе тогда как даже Америка объявила эмбарго на отправку оружия на Ближний Восток, хотя, разумеется, мы полагались не только на это. Нельзя зачеркивать прошлое оттого, что настоящее на него непохоже, и факт остается фактом: несмотря на то, что Советский Союз впоследствии так яростно обратился против нас, советское признание Израиля 18 мая имело для нас огромное значение. Это значило, что впервые после Второй мировой войны две величайшие державы пришли к согласию в вопросе о поддержке еврейского государства, и мы, хоть и находились в смертельной опасности, по крайней мере знали, что мы не одни. Из этого сознания — да и из суровой необходимости — мы почерпнули ту, если не материальную, то нравственную силу, которая и привела нас к победе.

Позвольте мне добавить, раз уж я об этом говорю — что второй страной, признавшей Израиль в день его рождения была маленькая Гватемала, чей представитель в Объединенных нациях, Хорхе Гарсиа Гранадос, был одним из активнейших членов Специальной комиссии по Палестине.

Итак, наше государство уже приняло как факт. Оставался один вопрос — который, как это ни невероятно, остается в силе и теперь — как мы сможем выжить. Не "сможем ли мы", но "как". Утром 15 мая Израиль был атакован с трех сторон: Египтом с юга, Сирией и Ливаном — с севера и северо-востока, Иорда-

нией и Ираком — с востока. По газетам складывалось представление, что арабская похвальба уничтожить Израиль за десять дней имеет, возможно, некоторое основание.

Самым серьезным было наступление Египта, хотя в смысле какой бы то ни было выгоды оно сулило ему меньше, чем остальным. У Абдаллы было объяснение, хоть и дурное, и он мог его сформулировать: он хотел всю страну и, в особенности, Иерусалим. Причины для войны были и у Сирии с Ливаном: они рассчитывали разделить между собой Галилею. Ирак желал принять участие в кровопускании и, в качестве дополнительной выгоды, приобрести выход к Средиземному морю, если будет необходимо — через Иорданию. Но у Египта не было никаких военных целей — только разграбить и разрушить все созданное евреями. Вообще, меня всегда поражало, что арабы так стремились к войне против нас. Почти с самого начала, с первых сионистских поселений, и до сегодняшнего дня их сжигает ненависть к нам.

С другой стороны — чем мы когда-либо угрожали арабским государствам? Правда, мы не становились в очередь, чтобы поскорее возвращать территории, выигранные в затеянных ими войнах, но арабская агрессия затевалась вовсе не ради территорий, и уж конечно не потребность в территориях толкнула Египет на север в 1948 году, чтобы разрушить Тель-Авив и еврейский Иерусалим. Тогда что же? Иррациональное всепобеждающее стремление физически нас уничтожить? Страх, что мы принесем прогресс на Ближний Восток? Отвращение к западной цивилизации? Кто знает. Что бы это ни было, оно не перестает существовать — но и мы тоже — и решение, вероятно, нескоро еще будет найдено, хотя я не сомневаюсь, что придет время, когда арабские государства нас признают и примут. Коротко говоря, мир зависит — и всегда зависел — лишь от одного условия: арабские лидеры должны согласиться с нашим присутствием.

Но в 1948 году было ясно, что арабские государ-

ства, как всегда увлекаемые игрой воображения, в своих мечтах за несколько дней проносятся как буря по территории, ставшей ныне Израилем. Прежде всего, войну начали они, что давало им важные тактические преимущества. Во-вторых, у них был легкий, чтобы не сказать — незатруднительный, доступ в Палестину, с ее арабским населением, которое долгие годы натравливалось на евреев. В-третьих, у арабов не было проблем передвижения из одной части страны в другую. В-четвертых, арабы контролировали почти все высотные районы Палестины, откуда было нетрудно атаковать наши поселения, расположенные в низинах. Наконец, у арабов было абсолютное преимущество в людях и вооружении, причем они разными путями получали прямую и косвенную помощь от англичан.

А что было у нас? Всего понемножку — но и это будет преувеличением. Несколько тысяч винтовок, несколько сот пулеметов, еще кое-какое огнестрельное оружие, но на 14 мая 1948 года — ни одной пушки, ни одного танка, хотя, правда, целых девять самолетов (но только один из них двухмоторный). Благодаря изумительному предвидению Бен-Гуриона, за границей было закуплено оборудование для производства вооружения, но до ухода англичан его нельзя было ввезти в страну, а его еще предстояло собрать и пустить в ход. Судя по статистике, с кадрами офицеров и солдат дело тоже обстояло неблестяще. 45 000 мужчин, женщин и подростков в Хагане, несколько тысяч членов в подпольных диссидентских организациях и несколько сот вновь прибывших, прошедших какое-то подобие военного обучения (с деревянными винтовками и игрушечными пулями) в германских лагерях для перемещенных лиц, в кипрских лагерях и в стране, после объявления независимости; еще несколько тысяч еврейских и нееврейских добровольцев из-за границы. Вот и все. Но мы не могли позволить себе роскошь пессимизма, поэтому мы строили совершенно другие расчеты, базировавшиеся на том, что у всех нас — у всех 650 000 — была такая сильная воля к жизни, которая даже и не

могла быть понята за пределами Израиля; если мы не хотели, чтобы нас столкнули в море, нам оставалось только победить. И поэтому мы победили. Не легко, не быстро, и не малой ценой. С того дня, как в Объединенных нациях была принята резолюция о разделе Палестины (29 ноября 1947 года) и до подписания первого перемирия между Израилем и Египтом (24 февраля 1949 года), было убито 6000 молодых израильтян — 1% всего населения, и, хоть мы еще не могли этого знать, даже ценой всех этих жизней мы не купили мира.

Трудно выразить, как тяжело было мне покидать страну в момент, когда только что было провозглашено государство. Меньше всего на свете хотелось мне тогда ехать за границу. Но 16 мая пришла телеграмма от Генри Монтора, вице-президента организации Юнайтед Джуиш Аппил (Объединенный еврейский призыв). Американское еврейство, говорилось там, глубоко затронуто тем, что произошло. Люди бесконечно счастливы и горды. Если я приеду сейчас, даже на небольшой тур, то, по его мнению, мы сможем собрать еще 50 миллионов долларов. Мне ли было не знать, что значат эти деньги для Израиля, как отчаянно мы нуждаемся в оружии, которое на эти деньги можно будет купить, как дорого будет стоить перевозка и устройство 30000 евреев, запертых на Кипре и так долго ожидавших отправки в Израиль! При одной мысли — оторваться от Израиля сейчас — у меня падало сердце, но выбора не было. Обсудив все с Бен-Гурионом, я тотчас телеграфировала, что вылечу первым же самолетом. К счастью, готовиться к поездке не приходилось. Вся моя незатейливая одежда была в Иерусалиме, недоступном, как луна, так что багаж мой состоял из зубной щетки, щетки для волос и чистой блузки; правда, в Нью-Йорке я обнаружила, что покрывало, которое я носила в Аммане, все еще лежало у меня в сумке. Мне удалось немного поговорить с Саррой и сообщить ей, что я вернусь самое большее через месяц — а также получить наскоро изготовленный пропуск (лессе-пассэ),

первый выездной документ, выданный государством Израиль своему гражданину. После этого на первом же самолете я улетела.

В Штатах меня приветствовали так, как если бы я была живым воплощением Израиля. Снова и снова я рассказывала, как было провозглашено государство, как началась война, как происходит осада Иерусалима — и снова, и снова заверяла евреев Америки, что с их помощью Израиль выстоит. Я выступала в разных городах Америки, на завтраках, обедах и чаепитиях Объединенного еврейского призыва, на встречах в частных домах. Когда меня смаривала усталость — а это бывало нередко — мне стоило вспомнить, что я выступаю как посланец еврейского государства, и усталость моя испарялась бесследно. Понадобились недели, чтобы я привыкла к звуку слова "Израиль" и к тому, что теперь у меня новое подданство. Но цель моей поездки была отнюдь не сентиментальная. Я приехала, чтобы собрать деньги, как можно больше, как можно скорее, и говорила об этом в мае так же недвусмысленно, как несколько месяцев назад, в январе. "Государство Израиль не может прожить на аплодисменты, — сказала я евреям Америки. — Войну не выиграешь речами, декларациями и даже слезами радости. И главное — это время, а то аплодировать будет нечему".

"Мы не можем обойтись без вашей помощи, — повторяла я в десятках публичных выступлений и в частных разговорах. — Мы просим вас разделить нашу ответственность, и все, что входит в это понятие — трудности, проблемы, беды и радости. Ведь то, что происходит в еврейском мире сейчас, так серьезно, так жизненно важно, что и вы можете изменить свой образ жизни — на год, на два, на три — пока мы все вместе не поставим Израиль на ноги. Решайтесь же и дайте мне ответ".

Ответ был дан — невиданно щедрый и скорый, от всего сердца, от всей души. Считалось, что тут не может быть "слишком много" или "слишком хорошо". И, ответив таким образом, они, как я и надеялась,

подтвердили, что они наши партнеры. И хотя в это время еще не было отдельного счета для Израиля, и хотя Израилю досталось менее 50% собранных ОЕП в 1948 году 150 миллионов, — остальное было передано Джойнту для помощи евреям в Европе — эти 50% бесспорно помогли нам выиграть войну. А кроме того мы узнали, что американское еврейство вовлечено в дела Израиля настолько, что мы вправе на него рассчитывать в дальнейшем.

Во время своей поездки я познакомилась с людьми, позднее ставшими "пропагандистами" Израиля; до 1948 года они не имели особых связей с сионизмом, но теперь Израилю предстояло стать делом их жизни. Когда в 1950 году мы основали организацию заема Израиля, они были моими ближайшими помощниками. Раньше я приезжала в Соединенные Штаты как посланец Гистадрута и почти все время проводила среди сионистов — членов Рабочей партии. Теперь же я познакомилась с другими американскими евреями — богатыми, очень деловитыми и полностью преданными делу. Прежде всего назову самого Генри Монтора; резкий, одаренный, одержимый Израилем, он стал чем-то вроде надсмотрщика, беспощадно подгонявшим и себя, и других в попытках сбора новых и новых средств. Но были и жесткие бизнесмены, опытные капиталисты, как Билл Розенвальд, Сэм Ротберг, Лу Бойер, Хэролд Голденберг. Это лишь немногие из тех, с кем я сумела поговорить во время своего стремительного тура и обсудить возможности продажи облигаций займа для Израиля, помимо призывов к филантропии.

Но все время я стремилась домой, хоть и знала, что только что созданное министерство иностранных дел имеет на меня другие планы. За день до моего отъезда мы встретились с Шаретом в гостинице, где я жила; он говорил, что трудно набрать людей для посольств и консульств Израиля в странах, которые уже его признали или признают в ближайшие недели.

— У меня никого нет для Москвы, — говорил он, очень озабоченный.

— Ну, слава Богу, этого ты мне предложить не можешь! — сказала я. — Я-то русского языка почти совсем не знаю.

— Собственно говоря, это не имеет значения, — ответил он.

Но он не развивал эту тему, а я постаралась принять это все как шутку. И, хоть иногда вспоминала наш разговор в самолетах между американскими городами, но искренно надеялась, что Шарет о нем забыл.

Но однажды из Тель-Авива пришла телеграмма. Я сперва взглянула на подпись — не о Сарре ли это или о Менахеме, уже участвующем в боях со своей бригадой. Но увидев подпись Моше, я поняла, что речь идет о Москве, и мне пришлось взять себя в руки, чтобы прочесть текст телеграммы. Государству не было и месяца. Война не кончилась. Дети не были в безопасности. В Израиле у меня была семья, близкие друзья — мне казалось очень несправедливым, что меня опять просят срочно собраться и отправиться к такому далекому и незнакомому месту назначения. "Почему всегда я?" — пожалела я себя. Многие могли справиться с таким постом не хуже, чем я, и даже лучше. Подумать только — Россия, откуда я уехала маленькой девочкой, которая не оставила у меня ни одного приятного воспоминания! В Америке я занималась реальным, конкретным и практическим делом, а что я знаю о дипломатии? Меньше, чем любой из моих товарищей. Но я понимала, что Шарет заручился согласием Бен-Гуриона, а уж Бен-Гуриона не смягчишь никакими личными просьбами. К тому же это был вопрос дисциплины. Кто я такая, чтобы ослушаться или скромничать, когда ежедневно приходят сообщения о новых потерях? Долг есть долг, и справедливость тут ни при чем. Мне хочется жить в Израиле — ну и что? Другим людям хотелось, чтобы их дети были целыми и невредимыми. И я, после короткого обмена телеграммами и телефонными звонками, ответила Шарету согласием, хоть и без особого энтузиазма. Себе же я обещала: "Когда вернусь в Израиль, постараюсь убедить Моше и Бен-

Гуриона, что они сделали ошибку". Но в конце первой недели июня сообщение о моем назначении послом в Москву было опубликовано.

Я взяла выходной день, чтобы повидать старых друзей в Нью-Йорке и проститься с новыми. Я хотела перед отъездом посетить Фанни и Джейкоба Гудмэнов. Ни я, ни дети никогда не теряли контакта с ними; я надеялась, что часок-другой с ними в разговорах о Сарре с Зехарией и Шейниных детях, которых они так давно не видели, поднимет мое настроение. Но я так до них и не добралась. По дороге в Бруклин на мое такси налетела другая машина, и я пришла в себя с переломанной ногой, уже положенной в гипс. На ближайшие несколько недель моим адресом оказался не Тель-Авив и не Москва, а Нью-Йоркский хирургический госпиталь. Вспоминая свое тогдашнее настроение, я думаю, что ничто, даже начавшийся у меня тромбофлебит, не удержало бы меня в госпитале, не подоспей сообщение о том, что 11 июня сражения в Израиле временно закончились.

К 11 июня продвижение арабов было остановлено. Попытка египтян взять Тель-Авив и Иерусалим провалилась, несмотря на то, что иорданцы все еще воевали к востоку и западу от Иерусалима, и Еврейский квартал Старого города был захвачен Арабским легионом Абдаллы. Сирийцы, хоть их продвижение на севере и было остановлено, все еще удерживали предмостное укрепление на реке Иордан, а иракские войска по-прежнему стояли у самой узкой части страны в Самарии. Объединенные нации уже несколько недель старались добиться перемирия, но пока у арабов оставалась надежда сломить Израиль, они не были в этом заинтересованы. Однако, едва только им, как и нам, стало ясно, что этого не произойдет, они согласились на прекращение огня. Это было первое перемирие, длившееся двадцать восемь дней, давшее нам передышку, возможность перегруппироваться и выработать план наступательных операций, в июле закончившихся ликвидацией угрозы Тель-Авиву и прибрежной полосе,

снятием осады Иерусалима и разгромом всех крупнейших арабских баз в Галилее.

Казалось бы, несмотря на боли, я могла бы отдохнуть в госпитале, — физически и морально, — но я не имела ни минуты покоя. Прежде всего — из-за телевизионных камер и журналистов. В 1948 году женщина-посол в Москве была для них в новинку, но женщина-посол в Москве, да еще представлявшая крошечное воюющее государство — Израиль, да еще неподвижно лежащая в Нью-Йоркском госпитале — это уже была находка. Вероятно, я могла бы отказаться давать интервью, и сегодня, в подобных обстоятельствах, я бы так и сделала. Но тогда я думала, что чем больше "паблисити", тем лучше для Израиля, и потому не считала себя вправе отвергать кого бы то ни было из представителей прессы, хотя моих близких, особенно Клару, просто пугали толпы, набивавшиеся в мою палату.

Но было нечто и похуже — давление, которое на меня оказывали, чтобы я поехала в Москву. Израиль бомбил меня телеграммами: "Когда сможешь уехать из Нью-Йорка?" "Когда сможешь заступить на свой пост?" "Как себя чувствуешь?" В Израиле носились слухи, что у меня "дипломатическая" болезнь и все дело в том, что я не хочу ехать в Россию. И, словно мало было этого противного шепотка, были признаки того, что советское правительство задето моим промедлением, которое есть не что иное, как тактический прием, чтобы задержать обмен послами и, таким образом, американский посол приедет в Израиль первый и станет главой дипломатического корпуса. Несмотря на состояние здоровья, я должна была отнестись к этому со всей серьезностью. И я начала мучить докторов, чтобы они разрешили мне выписаться из госпиталя. Надо ли говорить, что этого делать не следовало. Надо было оставаться в больнице до полной поправки. Оба министерства иностранных дел, и наше, и советское, обошлись бы еще несколько недель без меня, а я бы избежала всяких хлопот со здоровьем и еще одной операции.

Но недостаток всякого служебного положения в том и заключается, что человек утрачивает меру вещей, и я была уверена, что если в ближайшее время не явлюсь в Москву, произойдет какой-нибудь ужасный кризис.

Прибыв в Израиль, я сделала еще одну попытку переубедить Шарета, но я сама уже не надеялась на успех. К тому же мне рассказали историю, поднявшую мое настроение: Эхуд Авриэль, член Хаганы, много сделавший для доставки нам оружия из Чехословакии и позже ставший первым послом Израиля в Праге, был приглашен там на беседу с советским послом. В разговоре посол сказал Авриэлю: "Вы, вероятно, ищите человека для посылки в Москву. Не думайте, что он должен свободно говорить по-русски или быть экспертом по марксизму-ленинизму. Ни то ни другое не обязательно". Через некоторое время, как бы между прочим, он спросил: "Кстати, что с миссис Меерсон? Она остается в Израиле, или у нее другие планы?" Из этого мои друзья, и Шарет в том числе, заключили, что русские по-своему запросили меня — и я стала относиться к своему назначению по-другому.

Среди немногих приятных минут, пережитых мною в госпитале, была та, когда я получила из Тель-Авива телеграмму: "Не возражаешь ли против назначения Сарры и Зехарии в московское посольство радистами?" Я была растрогана и преисполнена благодарности. Иметь Сарру и Зехарию в России, рядом — для того чуть ли не стоило покинуть Израиль. Приехав в Тель-Авив, я первым делом спросила Шейну, можно ли обвенчать Сарру и Зехарию в маленьком доме, который они с Шамаем купили много лет назад. Мы решили, что это будет чисто семейное торжество с немногими приглашенными. Отец мой умер в 1946 году — еще один из самых дорогих мне людей, не дождавшийся создания государства, — а бедная мама уже несколько лет как стала совершенно беспомощной — ничего не помнила, плохо видела и так потускнела и изменилась, что почти и следов не осталось той насмешливой, энергичной, задорной женщины, которой она была. Но

Моррис был тут, такой же милый как всегда, и весь лучащийся от гордости, и тут же были родители Зехарии, тоже сияющие. Отец явился в Палестину из Йемена, когда страной еще правили турки. Он был очень беден, очень религиозен и не получил никакого формального образования — его учили только Торе. Но он вырастил прекрасную и любящую семью — хотя сам Зехария к тому времени и отошел от йеменитских обычаев и традиций.

Я опять поселилась в гостинице на набережной. Сарра, приехавшая в Тель-Авив из Ревивима, поселилась на несколько дней у меня, а Зехария, который тяжело болел и несколько недель лежал в больнице под Тель-Авивом, был, наконец, оттуда выписан. Из нашей семьи в саду Шейны, где происходила свадьба, не было только Менахема и Клары. Конечно, я вспоминала собственную свадьбу и думала, как непохожа эта была на ту, да и начинали мы с Моррисом нашу совместную жизнь в совершенно иных условиях. Не стоило думать теперь, кто был виноват и почему наш брак не удался, но я предчувствовала (и в этом не ошиблась), что Сарра и Зехария, хоть и стоят под брачным балдахином в том самом возрасте, в котором стояли когда-то мы, были зреее и больше подходили друг к другу, и то, что не удалось нам с Моррисом, удастся им.

Но в предотъездной суматохе, между партийными собраниями, последними деловыми указаниями и дорожными сборами я сосредоточенно думала: какого типа должно быть наше представительство в Советском Союзе? В каком виде мы хотим показаться за границей? Какое представление о себе хотим внушить миру и, в частности, Советскому Союзу? Что за государство мы создаем, и что нам сделать, чтобы отразить его качества? Чем больше я об этом думала, тем меньше хотела, чтобы наше правительство просто копировало другие. Израиль был мал, беден и все еще находился в состоянии войны. Правительство там все еще было временным (первые выборы в Кнесет состоялись только в январе 1949 года), но большинство в нем, ра-

зумеется, представляло рабочее движение. Я была убеждена, что мы должны показать миру свое лицо без всяких прикрас. Мы создали халуцианское государство в осажденной стране, лишенной природных и иных богатств; в это государство уже устремились сотни тысяч беженцев — у которых тоже ничего не было — в надежде построить для себя новую жизнь. И если мы хотим, чтобы нас понимали и уважали другие государства, мы и за границей должны оставаться такими же как дома. Роскошные приемы, великолепные квартиры, всякого рода потребительство — это не для нас. Мы можем проявлять лишь строгость, воздержанность, скромность и понимание нашего значения и задач — все остальное будет фальшью.

Какая-то смутная мысль была у меня все время, и наконец мне удалось ее сформулировать. Наше посольство в Москве будет управляться самым типичным израильским способом: как киббуц. Мы будем вместе работать, вместе есть, получать равное количество денег на карманные расходы и нести по очереди дежурства. Как в Мерхавии или в Ревивиме, люди будут делать ту работу, которой они обучены, и для которой, по мнению нашего министерства иностранных дел, они подходили, но дух и атмосфера нашего посольства будут те же, что и в коллективном поселении; я верила, что помимо всего прочего, русским это должно было особенно понравиться (хоть их собственный коллективизм не вызывал особых восторгов ни тогда, ни потом). Всего нас должно было быть двадцать шесть человек, включая Сарру, Зехарию, меня и советника посольства Мордехая Намира, вдовца с пятнадцатилетней дочерью, по имени Яэль. (Потом Намир стал послом Израиля в СССР, затем он был министром труда, а позже, в течение десяти лет — мэром Тель-Авива.) В личные помощницы для себя я выбрала Эйгу Шапиро, которая не только говорила по-русски, но и знала куда больше меня об изящной стороне жизни и которой смело можно было поручить решение страшного для

меня вопроса — как обставить помещение и как одеть персонал посольства.

Еще до приезда в Тель-Авив я написала Эйге письмо с просьбой поехать со мной, если я в самом деле отправлюсь в Москву, и, к большой моей радости, она согласилась немедленно. Передо мной лежит записка, которую я от нее получила в конце июня в Нью-Йорке и, по-моему, из нее видно, что надо было предусматривать, посылая на высший дипломатический пост женщину, особенно такую, как я, не сомневавшуюся, что в России она сможет жить, как дома. Она писала:

”Я поговорила с Эхудом. Он говорит, что мы должны быть очень *”comme il faut”*. Так что, Голда, пожалуйста — как насчет мехового пальто для вас? Там, куда вы едете, очень холодно, и зимой там очень многие носят шубы. Норку покупать необязательно, но хорошая персидская цигейка очень пригодится... Вам понадобится и несколько вечерних платьев, и еще купите себе всякие шерстяные вещи — ночные рубашки, чулки, белье. И еще, пожалуйста, купите пару хороших зимних ботинок”.

Конечно, вопрос туалетов не слишком меня занимал, но тут я пожалела немножко, что у нас нет национального костюма — это бы, по крайней мере, разрешило для меня хоть одну проблему, как для миссис Пандит, которая тоже была дипломатом в Москве, и, разумеется, на всех официальных приемах появлялась в сари. В конце концов мы с Эйгой согласились, что на вручении верительных грамот я буду в длинном черном платье, которое мне сшили в Тель-Авиве, и, если надо, надену на голову маленькую черную бархатную шляпу-тюрбан. Обстановку для посольства Эйги решила покупать в скандинавских странах, как только мы найдем постоянное помещение. В ожидании этого мы устроили свой *”киббуц”* в гостинице. Кроме всего, надо было найти и привезти в Россию кого-нибудь, в совершенстве владеющего французским языком, поскольку было принято решение, что дипломатическим языком Израиля станет французский. Эйга позна-

комила меня с умной, забавной, тоненькой как былин-ка Лу Каддар; она родилась в Париже, ее французский был безупречен, она прожила в Иерусалиме все время осады и была тяжело ранена. Она понравилась мне с первого взгляда — и это было очень хорошо, потому что на долгие годы она стала моим ближайшим другом, незаменимой помощницей и почти постоянной спутницей в поездках. Как бы то ни было, она согласилась отправиться с нами в Россию.

Я пробыла в Израиле в то лето достаточно долго, чтобы приветствовать первого посла Соединенных Штатов, восхитительно-искреннего и теплого человека — Джеймса Дж.Макдональда, с которым уже была знакома прежде, и русского посла — Павла Ершова. Государство было новое, подходящих зданий не хватало, и, типичная черта этого времени — американское и советское посольство расположились в Тель-Авиве в одном и том же отеле, недалеко от меня; я так и не привыкла к виду обоих этих флагов — со звездами и полосами, и с серпом и молотом, — развевавшихся с разных сторон одной и той же крыши. За первые недели этого "сосуществования" произошло немало инцидентов. Например, во время гала-представления в Израильской Национальной опере оркестр сыграл сначала "Ха-Тиква", потом, в честь Макдональда — "Звездно-полосатый флаг", но "Интернационала" так и не сыграл, хотя советник Ершова тут присутствовал — во всяком случае до той минуты, когда он и сопровождавшие его довольно шумно удалились.

В министерстве иностранных дел все трепетали, пока Ершов лично не дал согласие принять наше объяснение, что если бы он сам присутствовал, то, конечно, был бы исполнен советский гимн. Сегодня эти мелкие несчастья кажутся смехотворными, но тогда мы относились к ним очень серьезно. Все казалось нам важным, а Шарет, от природы щепетильно-точный, считал — как, кстати, и русские — что протокол имеет огромное значение, хоть я никогда не могла понять, почему.

Второе перемирие началось 19 июля, открыв собой длинную и трудную череду переговоров по поводу Игева, который, по рекомендации посредника ООН, шведского графа Фольке Бернадота, следовало передать арабам. Учитывая, что он был судьей в этом вопросе, надо признать, что он проявил крайнюю необъективность, и его очень невзлюбили, особенно же когда к нанесенной обиде он прибавил еще и оскорбление, выступив за отрыв Иерусалима от еврейского государства и передачу израильских портов и аэродромов под наблюдение ООН. Конечно же эти рекомендации были неприемлемы и доказывали только, что Бернадот так никогда и не понял, ради чего было создано еврейское государство. Но тупость — еще не преступление, и я буквально пришла в ужас 17 сентября, всего через две недели после приезда в Москву, узнав, что Бернадота застрелили на тихой улице Иерусалима. И, хоть напавшие на него люди так и не были найдены, мы знали: все решат, что это сделали евреи. Мне казалось, что наступил конец света. Чего бы я только ни дала за то, чтобы полететь домой и быть там во время неминуемого кризиса! Но в это время я уже была глубоко влечена в совершенно новый и не дававший спуска образ жизни.

ה'ס"ח/מנחל ח.ת.ר.

ה'ס"ח/מנחל ח.ת.ר.

ה'ס"ח/מנחל ח.ת.ר.

70/20/

